

ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКИЕ О ВЕНЕЦИИ



АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА

ЗНАМЕНИТЫЕ
РУССКИЕ
О
ВЕНЕЦИИ

ТОЛБУЗИН • РАЛЕВЫ • ЧЕМОДАНОВ • КУРАКИН
ТОЛСТОЙ • ШЕРЕТЕВ • ФОНВИЗИН • ВОРОН-
ЦОВЫ • КРИДЕНЕРЫ • ПОГОДИН • АННЕНКОВ
УВАРОВ • ВЯЗЕМСКИЙ • ЧАЙКОВСКИЙ • ЧЕХОВ
ДОСТОЕВСКИЙ • ГЕРЦЕН • ВРУБЕЛЬ • СУРИКОВ
ВАСНЕЦОВЫ • АННЕНСКИЙ • ЯКОВЛЕВ • БЕНУА
ПЕРЦОВ • ВОЛОШИН • МАНДЕЛЬШТАМ • БЛОК
БРЮСОВ • РОЗАНОВ • СТРАВИНСКИЙ • АХМАТ-
ВА • ГЛАГОЛЬ • ПАСТЕРНАК • ОСОРГИН • ЗАЙЦЕВ
МУРАТОВ • ХОДАСЕВИЧ • ДЯГИЛЕВ • ГУМИЛЕВ
ВЕЙДЛЕ • ЭЙДЕЛЬМАН • БРОДСКИЙ • ВАЙЛЬ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛЬГИ МОРОЗОВОЙ

УДК 821.111.3

ББК 63.3(2)я48-7+63.3(4 Ита)-7

К21

Художник ДМИТРИЙ ЧЕРНОГАЕВ

К21 Кара-Мурза Алексей Алексеевич

Знаменитые русские о Венеции. — М.: Издательство Ольги Морозовой, 2018. — 576 с.

О Венеции говорят, что этот город не имеет настоящего и состоит из воспоминаний. Впечатлениям и воспоминаниям о городе, который Томас Манн называл “подозрительной красавицей”, а Анна Ахматова “золотой голубятней”, посвящена книга доктора филологии и автора монографий по истории русской общественной мысли Алексея Кара-Мурзы. В его новом исследовании собраны уникальные материалы о пребывании в Венеции известных литераторов, художников и общественных деятелей: Петра Чайковского, Михаила Врубеля, Александра Блока, Бориса Пастернака, Сергея Дягилева, Игоря Стравинского, Иосифа Бродского. Русские деятели культуры расставляют неожиданные акценты в понимании тонущей красоты Венеции, соединяя поэзию и звуки, архитектуру и живопись. Герои каждого эссе показывают город в совершенно разных ракурсах и заставляют нас заглянуть в душу отраженного в воде города.

УДК 821.111.3

ББК 63.3(2)я48-7+63.3(4 Ита)-7

ISBN 978-5-98695-087-7

Памяти венецианского друга
Витторио Страда

© Издательство Ольги Морозовой, 2018

© А. Кара-Мурза, 2018

© Д. Черногаев, оформление, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Русская Венеция. Сказка о сохраненном времени 11

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКИЕ В ВЕНЕЦИИ

Семен Иванович Толбузин	39
Дмитрий и Мануил Ралевы	57
Иван Иванович Чемоданов	69
Борис Иванович Куракин	82
Петр Андреевич Толстой	94
Борис Петрович Шереметев	117
Денис Иванович Фонвизин	131
Семен и Екатерина Воронцовы	138
Алексей и Варвара-Юлия Криденеры	145
Михаил Петрович Погодин	151
Павел Васильевич Анненков	157
Сергей Семенович Уваров	161
Петр Андреевич Вяземский	165
Александр Иванович Герцен	186
Владимир Дмитриевич Яковлев	192

Федор Михайлович Достоевский	202
Петр Ильич Чайковский	206
Михаил Александрович Врубель	217
Василий Иванович Суриков	229
Виктор и Аполлинарий Васнецовы	234
Иннокентий Федорович Анненский	237
Антон Павлович Чехов	241
Альберт и Александр Бенуа	251
Петр Петрович Перцов	256
Максимилиан Александрович Волошин	260
Сергей Сергеевич Глаголь	264
Василий Васильевич Розанов	266
Валерий Яковлевич Брюсов	272
Александр Александрович Блок	279
Осип Эмильевич Мандельштам	288
Анна Ахматова и Николай Гумилев	291
Борис Леонидович Пастернак	295
Михаил Андреевич Осоргин	300
Борис Константинович Зайцев	311
Павел Павлович Муратов	315
Владислав Фелицианович Ходасевич	324
Сергей Павлович Дягилев	329
Игорь Федорович Стравинский	339
Владимир Васильевич Вейдле	342
Натан Яковлевич Эйдельман	369
Иосиф Александрович Бродский	373
Петр Львович Вайль	401

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РУССКИЕ О ВЕНЕЦИИ

415

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ВЕНЕЦИЕЙ

442

ОБЩИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕНЕЦИИ

461

ПЛОЩАДЬ САН-МАРКО, СОБОР САН-МАРКО

483

КОЛОКОЛЬНЯ САН-МАРКО

490

ДВОРЕЦ ДОЖЕЙ, ТЮРЬМА, МОСТ ВЗДОХОВ

503

ГОРОД НА ВОДЕ: ЛАГУНА, КАНАЛЫ

514

ВЕНЕЦИАНЦЫ И ВЕНЕЦИАНКИ

526

ИНОСТРАНЦЫ В ВЕНЕЦИИ

532

ПРАЗДНИКИ И КАРНАВАЛЫ

543

ВЕНЕЦИЯ ВЕЧЕРОМ И НОЧЬЮ

553

СУДЬБА ВЕНЕЦИИ

Об авторе 575

РУССКАЯ ВЕНЕЦИЯ. СКАЗКА О СОХРАНЕННОМ ВРЕМЕНИ

*Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?*

11

О. МАНДЕЛЬШТАМ. «Венецейской жизни...»

*Венеция — постоянная вдохновительница
наших успокоений.*

НАДПИСЬ НА НАДГРОБИИ С. ДЯГИЛЕВА
НА ВЕНЕЦИАНСКОМ КЛАДБИЩЕ САН-МИКЕЛЕ

I

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ВЕКА РУССКИЙ ИСКУССТВОВЕД, ЗНАТОК ВЕНЕЦИИ ПЕТР ПЕТРОВИЧ ПЕРЦОВ НАПИСАЛ, ЧТО, ПО-ВИДИМОМУ, ПРАВ БЫЛ ПЛАТОН, КОГДА ГОВОРИЛ О “ВРОЖДЕННЫХ ИДЕЯХ” — О ТОМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЗНАЕТ И ОЩУЩАЕТ КАК-ТО “САМ СОБОЙ”, ХОТЯ УЗНАНО ЭТО НЕ ИМ, А ЕГО ОТЦОМ, ДЕДОМ, ВООБЩЕ ПРЕДКАМИ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ... К ЧИСЛУ ТАКИХ “ВРОЖДЕННЫХ ИДЕЙ” ПЕРЦОВ ОТНОСИЛ И ВЕНЕЦИЮ: “*Каждый из нас, не бывая в Венеции, знает Венецию. Это — улицы-каналы, лодки-экипажи,*

старые дворцы, обветшавшая роскошь, черные плащи гондольеров, черные кружева красавиц...

“Врожденные идеи” реализуют способность человечества откладывать, запечатлевать в “коллективном бессознательном” то, что род в целом согласен удержать в качестве общезначимого опыта. Но, имея столь ответственное предназначение, “врожденные идеи” сохраняются в духовном опыте человечества только при условии их постоянного подтверждения и материализации. Пушкин не знал реальной Венеции, когда писал свои “Адриатические волны...” или “Старый дож плывет в гондоле...”. Но он не просто мечтал о Венеции — он выучил итальянский и много читал о ней...

В шестнадцать лет юный Федор Достоевский, по его собственным словам, *“беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни...”*; долгие годы мечтал он поехать в Венецию и увидел ее, наконец, в 1869 г.

И Иосиф Бродский знал Венецию задолго до того, как побывал в ней. В своем эссе “Набережная неисцелимых” он перечислял те формы, в которых для него задолго до очной встречи с Венецией пребывала ее “идея”: маленькая медная гондола, где мама держала нитки, а потом лекарства; авантюрный венецианский роман в переводе М. Кузмина; подаренный девушкой на день рождения заветный бабушкин складной альбом с картинками Венеции; растрепанный номер журнала “Лайф” с фотографией площади Сан-Марко зимой; квадратик дешевого гобелена с вышитым Palazzo Ducale, прикрывший

валик на диване; полуофициальный просмотр контрабандной, а потому черно-белой, копии “Смерти в Венеции” Висконти с Дирком Богардом в роли Ашенбаха...

“Идея Венеции” не исчезает и после встречи с живой, реальной Венецией. Более того, очное знакомство помогает, обогатив, укрепить саму идею: спустя годы и годы Пастернак, Мандельштам, Кузмин, Ходасевич не только описывают реальный город — они воспроизводят и развивают свои “идеи Венеции”.

Случай с Виктором Некрасовым, хорошим русским писателем-фронтовиком, — это описание классического круга превращений его личной “идеи”: *“Венеция, Пьяццале... Я сижу на каменных ступенях набережной, в нескольких шагах от колонны Льва св. Марка и курю... В детстве у меня была книга «Таинственная гондола». Кто ее автор, не помню, содержания тоже не помню. Помню, что издание было Гранстрема, обложка красная, тисненая золотом, и что на первой цветной картинке было изображено венчание дожа с морем — громадный величественный корабль «Буцентавр», и на носу его в забавном колпачке маленькая фигурка дожа, бросающего перстень в воды Адриатики. Тогда — мне было восемь или девять — я написал свой первый рассказ. До конца я его не довел... Помню только, что принимали там участие и дож, и «Буцентавр» и что начинался он на Пьяццале у колонны Льва св. Марка... И вот сейчас, почти через сорок лет, я вернулся к тому же месту. Итак, Пьяццале, Лев св. Марка и я, сидящий и курящий на ступенях набережной...”*



Встреча В. Некрасова с Венецией произошла в конце 50-х — некоторое время спустя автор “В окопах Сталинграда” эмигрировал из СССР. То, что большевизм третировал как “низкопоклонство перед Западом” (это клеймо сопровождало Ахматову, Пастернака, Эйдельмана, Бродского), — не было ли это естественным для русских ощущением невозможности отлучения от родовой памяти человечества, непереносимости запрета на подтверждение общеевропейской “врожденной идеи”? Может быть, действительно “мы рождены, чтоб сказку сделать былью”?..

Я тоже знаю Венецию из некоего предшествующего опыта... В семейной библиотеке хранится редкое издание — Ph. Monnier “Venise au XVIII siècle” (“Венеция в XVIII веке”). Книга испещрена пометками бабушки, свободно владевшей несколькими языками, переводившей на русский язык Оскара Уайльда, Эрнеста Ренана, Ж.-К.Гюйсманса. Возможно, она примеривалась и к переводу книги о Венеции — в те годы в Совдепии многие спасались чтением, переводом, сочинительством... Можно представить себе, как в годы войн, революций, неустроенности и голода могли восприниматься строки Ф. Монье о Венеции, венецианцах, их праздниках: *“После трудной недели настало наконец воскресенье и начался праздник. Ее население — это праздничная и праздная толпа... Благословенный час театров и концертов — это час их праздника. И все, окружающее их в этот час, — это убранство праздника. Жизнь покинула*

огромные давящие дворцы, она стала общей и уличной и весело разлилась ярмаркой по всему городу. Она нашла себе постоянное место на Пьяцце, на Пьяцетте, под аркадами, перед лавками, вдоль Большого Канала, в кафе, в казино... Ночей нет или, по крайней мере, есть только бессонные ночи. В Венеции семь театров, двести постоянно открытых кафе, бесчисленное множество казино... Днем перед кафе пятьсот посетителей сидят за столиками, и говор их смешивается со звоном ложечек, которыми мешают шербет. Под аркадами Прокураций проходят плащи из серого шелка, из голубого шелка, из красного шелка, из черного шелка, пурпурные рясы, халаты с разводами, золотые ризы, муфты из леопарда, венера из бумаги, тюрбаны, султаны и маленькие женские треуголки, вызывающе сдвинутые на ухо...”

Присяжный поверенный, известный московский библиофил, художественный критик и знаток театра Сергей Георгиевич Кара-Мурза (мой дед) и его жена (моя бабушка) Мария Алексеевна, урожденная Головкина, бывали в Венеции по меньшей мере однажды, весной 1913 г. В обычных тогда газетных анонсах о прибытии в европейские отели новых путешественников, помимо их имен, встречаем самые разные имена из тогдашней Российской империи — из Москвы, Петербурга, Киева, Минска, Одессы... Сотни и сотни имен, в большинстве своем ничем особо в истории не отмеченных, но именно из этих людей понемногу нарастал в России слой так называемых “русских европейцев”. Об этой традиции

русских путешествий в Европу — в первую очередь в Италию — русский поэт и искусствовед Владимир Вейдле писал ни больше ни меньше как о “залоге европейского бытия России”. Верный своей культурно-исторической концепции, В. Вейдле считал русский большевизм следствием отчуждения России от Европы: *“Как только произошло пусть лишь частичное отчуждение от Запада, как только затуманилось для нас лицо Европы, тотчас постигла нас странная сонливость и повсюду стали замечаться уныние, застой, убыль духовных сил... Россия отходила от Запада... Самобытность она этим не приобретала. Наоборот, чем дальше отходила, тем становилась меньше похожей на себя...”* А блестящий русский философ и культуролог Георгий Федотов (кстати, по образованию историк-итальянист) один раз выразился еще более лаконично, зло и точно: не пожелали, поленились почаще припадать к истокам европейской культуры — хлебайте теперь упрощенного Маркса...

Мои дед и бабушка были близко знакомы со многими главными персонажами этой книги — Валерием Брюсовым, Александром Блоком, Борисом Зайцевым, Александром Бенуа, Максом Волошиным, Сергеем Глаголем (Голоушевым), Владиславом Ходасевичем. В предреволюционные годы в их большой квартире №65 в известном доме “Россия” в Юшковом переулке, рядом с Мясницкой и Сретенским бульваром, собирались по вторникам “литературные журфиксы”, где бывали также Кузмин, Есенин, Маяковский, Эренбург, Сарьян, Гиляровский, граф

А. Н. Толстой... Дед и бабушка были людьми “старой России”, хотя после революции предпочли остаться в “России молодой”. В 20-е годы дед председательствовал в Российском обществе друзей книги, заседания которого проходили в полуразгромленных помещениях закрытого большевиками московского Английского клуба. Думал ли он тогда, что спустя десятилетия его внук, как избранный старшина возрожденного Английского клуба, будет сам председательствовать на дискуссиях в том же самом особняке на Тверской? Вряд ли он мог даже помыслить об этом, но не убеждение ли в том, что Россия не погибнет, что Россия жива, пока жива русская книга, делало возможным жить, мыслить, работать...

Письма деда и бабушки из Италии в семейном архиве не сохранились. Сотни и сотни иных писем друг другу (из Крыма, Прибалтики, Подмосковья), но когда в Венеции они вместе — кому и зачем писать? И моя досада, как историка, на отсутствие более отчетливых семейных венецианских “следов” — наверное, лишь обратная сторона их человеческого счастья. Тихое, неафишируемое венецианское счастье многих и многих — но в истории чаще сохраняются проявления противоположного рода: дошедшие до нас венецианские письма А. Блока или И. Анненского — свидетельства их глубокого семейного и личного неблагополучия...

Несколько дней провели в Венеции в августе 1869 г. Федор Михайлович и Анна Григорьевна Достоевские. От пережитого восторга они потом даже путались в мему-

арах: Федор Михайлович говорил о двух днях, а Анна Григорьевна — о четырех днях в Венеции. Но какая разница, если Венеция “пролетела как один день”, была “сплошным восторгом” и практически все время Достоевские провели на пьяцца Сан-Марко?! И если бы Анна Григорьевна по рассеянности не забыла в Соборе свой любимый швейцарский веер (“Боже, как она плакала!” — вспоминал в одном из писем Федор Михайлович), мы вообще бы не узнали о подробностях их венецианских впечатлений...

II

Немногие реальные города мира удастаиваются права быть принятыми в сказочно-мифологический первоопыт формально иной национальной культуры, не нарушив, не повредив, а, напротив, усилив ее органику. Венеция для русских — из этого небольшого ряда. “Идея Венеции” — это нечто в одном ряду с Изумрудным или Солнечным городом, цирком Карабаса-Барабаса, царством Снежной королевы. Недаром в декорациях Михаила Врубеля к еще дореволюционной постановке “Сказки о царе Салтане” зрители без особого труда и удивления угадывали контуры венецианского Дворца Дожей...

Лев Толстой, весьма чуткий к органике национально-го воспитания, даже написал рассказ “Венеция” для издаваемой им русской “Азбуки”. А поэтесса Н. Лопухина

(литературный псевдоним историка-итальяниста Н. Комоловой) пошла еще дальше, сочинив уже в наши дни легкую, как дыхание, “Венецианскую колыбельную”:

*Спи, усни,
Тебе приснится
Италийский сон:
Утра майского денница,
Синий небосклон.
Радугой повита яркой
Россыть алых крыш,
И на площади Сан-Марко
Кормит птиц малыш...*

Но столь же воздушно-легким, как детская колыбельная, является признание в вечной любви к Венеции семидесятилетнего (!) Владимира Вейдле (1965):

*Золотисто здесь стало и розово:
Ветерок. Он под осень бывает.
Ветерок, ветерок, от которого
Сердце ослабеваает.*

*Да и биться зачем ему? Незачем.
Заслужило оно благодать
Под крыльцом у цирюльника Чезаре
Розовым камнем спать.*

О какой-то провиденциальной связи с Венецией (Италия как “родина русской души” — наша традици-



онная тема со времен Гоголя) писали многие и многие русские — от Вяземского до Бродского. Вспомним хотя бы знаменитые строки Александра Блока (1909):

*Быть может, венецейской девы
Канцоной нежной слух пленя,
Отец грядущий сквозь напевы
Уже предчувствует меня?*

*И неужель в грядущем веке
Младенцу мне — велит судьба
Впервые дрогнувшие веки
Открыть у львиного столба?*

И эта русская традиция не прерывается и не умирает. Среди последних примеров — венецианские эссе Петра Вайля: *“Навязчивая картинка снова и снова возникает в последние годы — раздумывая о возможных метаморфозах жизни, представляешь себя почему-то на Ривальто: в резиновых сапогах и вязаной шапочке грузишь совковой лопатой лед на рыбные прилавки. Невысокого полета видение, но, может, это память о прежнем воплощении...”*

Самая знаменитая набережная Венеции — Riva degli Schiavoni, помимо традиционного перевода — “Берег славян”, часто, особенно во франкофонной культуре, переводится как “Берег рабов” или “Невольничий берег” (от французского “esclave” — раб, невольник). Впрочем, одно толкование не противоречит другому: в средневе-

ковье рабы в Венеции часто имели славянские корни. Однако для русских XIX-XX столетий этот филологический дуализм венецианской Riva — и “славянской”, и “невольничьей” одновременно — получил новый, особый смысл. Какая-то русская привязанность к Венеции, “славянская неволя”... Что-то подобное, несомненно, имел в виду и Иосиф Бродский, когда назвал свое замечательное эссе о Венеции “Fondamenta degli Incurabili” (“Набережная неизлечимых”).

Поэтому за смесью неприязни и иронии по отношению к иностранцам у Вяземского, Сурикова, Вейдле, даже у такого космополита, как Бродский, без труда просматривается не столько ксенофобия, сколько естественная и в чем-то даже трогательная национальная ревность. Борис Пастернак прямо и честно написал об этом: *“Когда перед посадкой в гондолу, нанятую на вокзал, англичане в последний раз задерживаются на пьедестале в позах, которые были бы естественны при прощании с живым лицом, площадь ревнуешь к ним тем острее, что, как известно, ни одна из европейских культур не подходила к Италии так близко, как английская”*.

III

Для многих знаменитых русских путешественников Венеция — это не только чудо-город, но и город-проблема. Одна из особых тем — тема венецианской государ-

ственности, ее величия и ее деспотизма. Многие афористические определения Венеции бьют в одну и ту же точку: *“Дворец, опирающийся на темницу! — вот формула старинной венецианской политики”* (Владимир Яковлев); *“Там умирали тихомолком, но жили шумно”* (Сергей Уваров); *“Времена наибольшего великолепия совпадают с наибольшим развитием тягостей венецианской государственности”* (Павел Муратов).

Ключевая тема русских размышлений о Венеции — цена государственного величия. И тут встречаются поразительные переключки. Вот тот же Уваров (1843 г.): *“Когда же издалека валил флот Левантский, нагруженный сокровищами мира, тогда забывались жертвы глухой, непреклонной тирании: целая Венеция увешивалась флагами при воплях народа, упоенного радостью и располагавшего, по воле, всю роскошью, всеми богатствами земли...”* А вот Борис Пастернак, в “Охранной грамоте” (1929) рассуждавший о Венеции, увиденной им в 1912 г.: *“Флот был невымышленной явью Венеции, прозаической подоплекой ее сказочности. В виде парадокса можно сказать, что ее покачивающийся тоннаж составлял твердую почву города, его земельный фонд и торговое и тюремное подземелье. В силках снастей скучал пленный воздух. Флот томил и угнетал. Но, как в паре сообщающихся сосудов, с берега вровень его давлению поднималось нечто ответно-искупительное...”*

Удивительно, что в культуре русской вся эта проблематика с годами нисколько не теряет в актуальности.

сти. Может ли государственное величие и державность быть оправданием тягот и унижений “маленького человека”? — звучит куда как актуально. По сути это традиционная русская проблема, идущая от пушкинского “Медного всадника”. Но ведь, к слову сказать (я уже не раз писал об этом в других своих книгах), “Медный всадник” есть гениальная русская вариация на классическую — итальянскую по происхождению — тему всепобеждающего Государя-Кентавра у Никколо Макиавелли.

Русские культурно-исторические рассуждения о соотношении “Дворца” и “Тюрьмы” находят в Венеции визуально-архитектурное подтверждение: Дворец Дожей соединен с темницей Мостом Вздохов, где узник после приговора последний раз бросал взгляд на прекрасный город и солнечную лагуну — на тему этого материализованного парадокса созданы блестящие философские эссе Розановым, Уваровым, Перцовым, Бродским.

Но в русской литературе получила развитие еще одна тема — интеллектуально более сложная, но зато уже стопроцентно “венецианская”. Это тема всеобщей карнавализации и оборотничества человеческих отношений, тема взаимопревращений праздника и трагедии. Русским не давало покоя это парадоксальное сочетание и переплетение в венецианской политике двух элементов — разрешения гражданам носить маску и оставаться неузнанными и — одновременно — государственного поощрения всеобщего доноительства. И интерес к этому парадоксу не был интеллектуальным

умничаньем сторонних наблюдателей. Ибо два этих элемента — венецианская маска и щель для доносов в форме львиной пасти — во многом действительно задавали внутреннюю энергетику венецианской жизни.

28

Итак, государственная система Венеции была для русских и предостережением, и искушением. *“Все мы, русские, любим по краям и пропастям блуждать”* — так еще в XVII в. то ли жаловался, то ли хвалился наш первый славянофил, сербский ученый монах Крижанич. Позднее ту же мысль переформулировал русский философ Федор Степун: *“Есть в русских душах какая-то особая черта, своеобразная жажда больших событий — все равно, добрых ли, злых ли, лишь бы выводящих за пределы будничной скуки”...*

Николай Бердяев в работе “Духи русской революции” описал большевизм как “маскарад”, “всеобщую хлестаковщину”, “круговорот харь” — русских традиционных масок. А оценка большевистской революции тем же Федором Степуном вообще во многом воспроизводит стилистику Филиппа Монье в описании им венецианских карнавально-маскарадных неистовств: *“Начинается реализация всех несбыточностей жизни, отречение от реальностей, погоня за химерами. Все начинают жить ультрафиолетовыми лучами своего жизненного спектра... Развертывается страшный революционный маскарад. Журналисты становятся красными генералами, поэты — военморами, священники — конференсье в революционных кабаре... В этой демонической игре, в этом*

страшном революционном метафизическом актерстве разлагается лицо человека; в смраде этого разложения начинают кружиться невероятные, несусветные личины. С этой стихией связано неудержимое влечение революционных толп к праздникам и зрелищам, как и вся своеобразная театрализация революционных эпох...”

Может быть, об этом и слова Осипа Манделштама, захваченного революционным вихрем — круговоротом тотального оборотничества, маскировки, доносов и разоблачений:

*Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?*

29

IV

Оказывается, что для очень многих русских Венеция — не только “колдовской”, но еще и “заколдованный” город. Попасть туда ох как непросто! — впору говорить даже о некоей “мистике непопадания” в Венецию. Судите сами: Виктор Васнецов сел в Вене не на тот поезд и попросту уехал в другую сторону. Михаил Врубель в той же Вене в ожидании вечернего поезда на Венецию загулял в ресторане и вообще забыл про поезд... Никогда не мог доехать до Венеции и скитавшийся по Европе Александр Герцен. Революционные события в Европе всякий раз заставляли его откладывать встречу с этим городом,



и лишь все та же “революционная целесообразность” (а именно возможность встретиться с Гарибальди) то ли позволит, то ли принудит Герцена единожды, в 1867 г., все-таки побывать в Венеции... Достоевский долго обещал жене “показать Венецию”, которую хорошо знал, но никогда не видел. И вот наконец они в Италии, в нескольких часах пути, но деньги за окончанный и отосланный в “Русский вестник” роман все не идут и не идут, и Достоевские застревают на все лето в раскаленной от жары Флоренции. Понятно, что после этого увиденная таки Венеция показалась им воплощенным раем.

Известно, что Петр Великий был решительно настроен посетить Венецию во время своего первого заграничного путешествия (в первую очередь ради осмотра знаменитейшей в Европе верфи — Арсенала). Находясь летом 1698 г. в Вене, Петр заранее известил правительство дожа о своем предполагаемом приезде в Венецию, где он планировал пробыть около двух недель вместе с Меншиковым и несколькими сопровождающими. Правительство “Светлейшей Республики” приняло все меры для достойной встречи молодого царя “москвитов”: гостю предполагалось отвести палаццо Фоскари на Большом канале и, кроме того, летнюю виллу “Парадизо” на территории Арсенала. Программа в Венеции, в соответствии с известными интересами Петра, включала осмотр строящихся судов и присутствие при литье пушек. Планировались также различные праздники и увеселения: кулачные бои, состязания гондол, опера, маска-

рад, а также официальный бал в зале Большого Совета во Дворце Дожей. Узнав обо всех этих приготовлениях, Петр уведомил венецианского посла в Вене, что предпочел бы посетить Венецию инкогнито — по паспорту на имя “волонтера Меншикова” (этот паспорт для “signore Alessandro Minshicof” сохранился среди документов посольства). Разочарованное правительство дожа отменило все приготовления; пять москвитов, выехавших в Венецию для подготовки к визиту, были выселены из палаццо Фоскари и переселены в обычные гостиницы, где им пришлось самим оплачивать свое пребывание.

Однако незадолго до выезда в Венецию Петр получил в Вене известие о стрельцком бунте в Москве и, согласно официальной версии, спешно выехал в Россию... Еще одно, близкое к фатальному, “непопадание” в Венецию? Впрочем, найденные не так давно С. Андросовым в венецианских архивах документы намечают контуры принципиально иной версии событий, в которой разочарование сменяется надеждой.

Как известно, Петр путешествовал тогда по Европе как частное лицо в составе московского “Великого посольства” под руководством Франца Лефорта, Ф. Головина и дьяка П. Возницына. Тем не менее, даже путешествуя полуинкогнито, Петр не избегал встреч с августейшими особами: в июне-июле 1698 г. он провел в Вене серию бесед с императором Леопольдом I и канцлером графом Кинским, обсуждая возможности русско-австрийского союза против Турции. 15 июля Петр

официально простился с австрийским императором, однако, согласно некоторым австрийским источникам (на которых и была основана “старая версия”), оставался в Вене до 28 июля, когда Петра якобы видели на одном из пиров “прислуживавшим за столом” главе русского посольства Лефорту. Эта версия и раньше вызывала сомнения: хотя царь и считался частной персоной, он вряд ли мог участвовать в пиршестве в роли слуги. Скорее всего, австрийский хронист ошибся, спутав царя с кем-то из его сопровождающих, а может быть, именно на эту ошибку и рассчитывал Петр, которого тогда в Вене уже не было. Ибо, выполнив в Вене все дипломатические формальности и расставшись с австрийским императором, он был уже на пути в Венецию.

29 июля 1698 г. некто Фериго Марина, глава администрации городка Местре (последнего на материке перед Венецией), докладывал в канцелярию дожа о том, что накануне, около полуночи, “группа из восьми москвитов, прибывших из Тревизо”, договаривалась с местными лодочниками о переправе в Венецию... Еще более интересны документы венецианской тайной полиции, имевшей осведомителей в квартале православных греков. Один из агентов в те дни докладывал о странном оживлении в доме одного богатого грека, где жили тогда “московские князья Пьетро Голицини, Джуро Джуро, Грегорио и генерал Базилио Петроиц Серемет” (в них легко узнаются приехавшие в Венецию еще в 1697 г. П. А. Голицын, Ю. Ю. и Г. Ф. Трубецкие и В. П. Шереметев). В сле-

дующем донесении агента говорилось: “Царь приехал в пятницу вечером и прошел в дом господина Дзордзи, грека в приходе Сан-Джованни Нуово, вышел из дома с одним товарищем, оба одетые по-славянски...” Следующий документ — донесение от руководителя тайной полиции прокураторам Венеции: “Конфидент вернулся ко мне и меня уверяет, клянясь своей жизнью (*sopra la sua vita*), что Царь в Венеции, в доме, о котором уже сообщалось Вашим Благородиям, и этим вечером отправляется в Конельяно...” Новое донесение датировано 30 июля: “Царь, одетый по-славянски, сегодня долго разговаривал со своим генералом, а потом в сопровождении своего переводчика все трое пошли к церкви Санта Мария Формоза, все время оборачиваясь назад, чтобы видеть, если кто-нибудь был сзади. Это я имею от конфидента и это сообщаю смиренно Вашим Благородиям”.

Доверяя профессионализму венецианской тайной полиции (безусловно, лучшей в Европе), можно предположить, что “царь москвитов” Петр Алексеевич Романов действительно приехал в Венецию в ночь с 28 на 29 июля 1698 г. и отбыл из нее утром 30 июля, то есть провел в Венеции одни сутки (через несколько дней он догнал “Великое посольство” в Кракове). Но тогда получается, что метафора “Северная Венеция”, как через некоторое время назовут новую российскую столицу, — это не только образ, но и реальность и Санкт-Петербург родился под личным впечатлением каналов не только амстердамских, но и венецианских.

Косвенным доказательством того, что русский царь побывал-таки в Венеции, является тот факт, что в конце того же 1698 года Петр официально обратился к дожу Венеции с просьбой направить в Россию группу механиков и шлюзовых мастеров из венецианского Арсенала для строительства Адмиралтейства...

Симметрии ради следует напомнить, что Венеция, в свою очередь, построена на сотнях тысяч свай не только из левантийской и балканской, но и нашей — уральской лиственницы. Возможно, это и есть та самая “материальная основа” сохраняющейся в веках русской “идеи Венеции”?

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗНАМЕНИТЫЕ
РУССКИЕ
В ВЕНЕЦИИ

СЕМЕН
ИВАНОВИЧ
ТОЛБУЗИН

Семен Иванович Толбузин (даты рождения и смерти неизвестны) — боярин, в 1474–1475 гг. посол великого князя Московского Ивана III к венецианским дожам Николо Марчелло и Пьетро Мочениго.

Толбузины — древняя фамилия из рода князей Смоленских, восходящего к Рюрику. Утратили княжеский титул при переходе на службу к великим князьям Московским; служили боярами, воеводами, дипломатами, имели обширные вотчины, пожалованные за верную службу. Семен Толбузин — один из праправнуков основателя рода Ивана Федоровича Толбуги (или Толбузы). Дед его погиб в 1380 г. на Куликовом поле, воюя под знаменами Дмитрия Донского; отец был воеводой великого князя Московского и Владимирского Василия I Дмитриевича.

...В 1453 г. под ударами турецкого султана Мехмеда II пал Константинополь, столица уже обескровленной к тому времени Византийской империи. Последний император “ромеев” Константин XI был убит, защищая город; византийские земли вошли в состав Османской империи. Православным грекам были обещаны права самоуправляющейся общины внутри турецкого государства; во главе общины должен был стоять “патриарх Константинопольский”, ответственный перед султаном.

Центром православного мира постепенно становилось Московское государство во главе с великим князем Иваном III. Набиравшая силу Москва оказалась тогда в орбите особого внимания со стороны папского Рима и других христианских государств Европы (в том числе Венецианской республики дожей) в качестве потенциального союзника в борьбе с Турцией.

Главным идеологом вовлечения православной Московии в общий фронт борьбы христиан с “неверными” был кардинал-униат греческого происхождения Виссарион Никейский. Уже в июле 1453 г., менее чем через два месяца после падения Константинополя, он направил письмо венецианскому дожу Франческо Фоскари, в котором обрисовал угрозы, исходившие от экспансии турок в Средиземноморье. Призыв Виссариона не был поначалу услышан правительством Венеции, но нашел отклик у местных нобилей. Среди них был Джан-Баттиста делла Вольпе, молодой дворянин из Виченцы, который около 1455 г. отправился на Восток, прожил некоторое время

в Большой Орде, изучая возможность использовать войска хана против турецкого султана. Затем делла Вольпе объявился в Москве, где, приняв православие, поступил на службу к великому князю Василию II “Темному” монетным мастером под именем “Иван Фрязин”. К моменту воцарения Ивана III Фрязин-делла Вольпе был уже заметной фигурой в среде московской знати.

В 1463 г. под давлением кардинала Виссариона римский папа Пий II предложил Венеции объявить войну туркам. А когда османы захватили венецианскую крепость Аргос в Греции, Виссарион, в качестве личного посланника папы, отправился в Венецию, чтобы убедить правительство “встать на защиту веры”. В том же году Венеция, Венгрия и Албания создали военную коалицию против султана Мехмеда II.

В апреле 1467 г. в далекой Московии внезапно скончалась (согласно летописи — “от смертного зелия”) первая жена Ивана III, Мария Борисовна “Тверянка”. А уже в 1468 г. в гости к управляющему московским Монетным двором, Ивану Фрязину (Джан-Баттисте делла Вольпе), приехали старшие братья из Венеции — Карло делла Вольпе и Николо Джисларди с сыном Антонио. Братья представили хозяину дома своего спутника, грека Георгия, доверенное лицо кардинала Виссариона, и просили помочь ему в деликатном деле. Посланник кардинала должен был подготовить почву для переговоров о возможной женитьбе овдовевшего Ивана III на живущей в Риме греческой принцессе Зое Палеолог — дочери мо-

рейского деспота Фомы и племяннице последнего византийского императора Константина.

После захвата турками родного Пелопоннеса (Мореи) отец Зои, Фома Палеолог, бежал во владения Венецианской республики — на остров Корфу, а затем в Рим. Там после смерти родителей Зоя жила под опекой кардинала Виссариона, носящего титул “латинского патриарха Константинопольского”. В 1466 г. по его инициативе венецианская Синьория предложила кипрскому королю Жаку II де Лузиньяну кандидатуру принцессы Зои в качестве невесты, но тот отказался. В том же году папа Павел II, через того же Виссариона, дал согласие на брак Зои с богачом-униатом, неким “архонтом Каракиолом”. Молодые были торжественно обручены в Риме, но жених неожиданно скончался. Внезапная смерть в 1467 г. в Московии первой жены православного государя Ивана III открыла перед папской курией новые перспективы.

В феврале 1469 г. в Москву из Италии, уже официально, прибыл Юрий Траханиот, посол римского папы Павла II, венецианца по рождению Пьетро Барбо. Он привез великому князю некий “лист”, автором которого был кардинал Виссарион. В письме папа Павел II обещал Ивану III поддержку в случае, если тот посватается к византийской принцессе, нашедшей убежище в Риме. В послании принцесса Зоя именовалась “исконной православной христианкой”, руки которой якобы ранее безуспешно добивались французский король и герцог Миланский, но были отвергнуты по причине их “латинства”.

В Кремле предложение римского папы было обсуждено на семейном совете, куда были приглашены братья Ивана III, его ближние бояре и, конечно, мать — княгиня Мария Ярославна. Ей, вдове Василия II “Темного”, судя по всему, и принадлежало главное слово: престарелая княгиня-мать благосклонно восприняла предложенный Римом проект. Против выступил лишь митрополит Филипп, подозревавший в плане “латинян” новую попытку продвижения ранее отвергнутой Москвой церковной унии.

В качестве доверенного лица для предварительных сношений с Римом Иван III назначил Джан-Баттисту дела Вольпе (Ивана Фрязина), верного сторонника кардинала-униата Виссариона. Став посредником в заключении нового брака великого князя, Иван Фрязин одновременно через своего племянника Антонио Джисларди (Антон Фрязина) предложил Венецианскому правительству готовый план: поднять на турок войско Большой Орды в количестве до 200 тысяч вооруженных всадников. Когда весной 1471 г. Иван и Антон Фрязины, договорившись в Риме о свадьбе Ивана III с византийской принцессой, отправились в обратный путь в Москву, 67-й дож Венеции Кристофоро Моро включил в итальянскую делегацию личного посла — Джованни Батисту Тревизана, который должен был через Москву отправиться к хану Орды Ахмату с предложением анти-турецкого союза, большой суммой денег и богатыми подарками.



Иван Фрязин показывает Ивану III портрет Софьи Палеолог. С картины В. Муйжеля.

10 сентября 1471 г. посольство Ивана Фрязина вернулось в Москву, согласовав в Риме детали свадьбы Ивана III с Зоей Палеолог и представив великому князю искусно выполненный в Италии “портрет” невесты — первое светское изображение на Руси. Одновременно Иван Фрязин (он же — делла Вольпе) убедил венецианского посла Тревизана не разглашать пока истинную цель своего приезда, так как в этом случае его вряд ли пропустили бы к хану Ахмату, с которым Московия конфликтовала. Назвавшись “простым купцом из Венеции”, Тревизан должен был жить в Москве до тех пор, пока делла Вольпе не найдет случая тайно переправить его к татарам. Лишь незадолго до нового отъезда делла Воль-

пе в Рим Тревизан перебрался в Рязань, откуда собирался двинуться дальше, в Орду. Однако Иван III, узнав о странных передвижениях “венецианского купца”, велел задержать его и заключить в тюрьму до возвращения своего посольства и выяснения всех обстоятельств.

Вторично Иван Фрязин ездил из Москвы в Рим в начале 1472 г. 25 мая он был принят новым римским папой Сикстом IV; здесь же присутствовали и братья Зои Палеолог, Андрей и Мануил. Вскоре в Ватикане в торжественной обстановке состоялся обряд обручения. Зоя отдала Ивану Фрязину, представлявшему жениха, свой перстень и нательный крест, а взамен получила перстень и крест Ивана III.

Выехав из Рима с большой свитой в середине лета 1472 г., Зоя Палеолог проделала сложный путь в Москву: караван царевой невесты проследовал через Флоренцию, Сьену, Болонью, Виченцу, переправился через Альпы, и далее — через немецкие земли — достиг Любека, где погрузился на корабли, которые доставили его в Ревель, а оттуда в Дерпт. Принцесса была с почетом встречена на границах Руси, проехала Псков, Новгород и торжественно въехала в Москву. Здесь, приняв православие, она окончательно стала “Софьей Фоминичной”; 12 ноября 1472 г. Иван III обвенчался с ней в деревянном шатре, возведенном в еще недостроенном Успенском соборе. Вместо отказавшегося участвовать в церемонии митрополита Филиппа молодых благословил коломенский протопоп Осея.

Обман с миссией венецианца Тревизана, пытавшегося тайно пробраться через Московию в Орду, раскрылся. Великий князь послал в Венецию Антона Фрязина (Антонио Джисларди) с жалобой на посла Венеции, велел сказать 68-му дожу Николо Трону:

46 *“Кто шлет посла чрез мою землю тайно, обманом, не испросив дозволения, тот нарушает уставы чести...”*

Напряжение в дипломатических отношениях Москвы с Венецианской республикой, а затем и с папским Римом усилилось после того, как был арестован и сослан в Коломну и Иван Фрязин — главный устроитель брака Ивана III:

“Князь же великы... повеле поимати Фрязина да оковав послал на Коломну, а дом его повеле разграбити и жену и дети изымати...”

Есть, однако, основания полагать, что и арест Тревизана, и последующий арест делла Вольпе были лишь публичной демонстрацией Иваном III того, что он после женитьбы на прибывшей из Рима принцессе не подпал под влияние “латинян”: оба узника были вскоре тихо отпущены.

В декабре 1473 г. венецианский Сенат, через того же Антонио Джисларди, отправил Великому князю Московскому письмо с извинениями:

“Поистине, пишем мы с целью, чтобы ваше высочество знало всю правду — послали мы упомянутого нашего секретаря (Тревизана) не для того, чтобы вызвать что-нибудь затруднительное или опасное для вашего

государства, а потому, чтобы яснейший хан (Большой Орды) отвел и удалил от ваших границ и ближайшего с ним соприкосновения свои войска, стоящие по соседству с вашим государством, избавив вас от связанных с этим действий и тягот; чтобы он повел эти войска к берегам Дуная, для подавления турок, общего врага всех христиан, захватчика Восточной империи, которая — в случае, если в императорском доме не будет потомка мужского пола — принадлежала бы светлейшему вашему господству по праву вашего благополучнейшего супружества...”

Между тем “московское сидение” венецианцев Вольпе и Тревизана — пусть недолгое — требовало объяснений с Республикой дожей, и в Венецию было направлено специальное русское посольство, во главе которого Иван III решил на этот раз поставить не итальянца или грека, а доверенное лицо из московских бояр.

Посол Семен Иванович Толбузин отправился в Венецию в июле 1474 г., взяв с собою богатые подарки, в том числе особо ценимые в Европе “сорока” — связанные по сорок штук шкурки драгоценных соболей. Помимо дипломатических объяснений с новым, 69-м дожем Венеции, Николо Марчелло, московский посланник должен был представить правительству Светлейшей республики позицию Москвы, заинтересованной в координации действий христианских государей в борьбе с “неверными”.

К моменту приезда московского посольства в Венецию правительство Светлейшей Республики было

всецело занято “турецким вопросом”. Одним из фронтов противостояния был остров Кипр, где в 1473 г. при странных обстоятельствах умер король Жак II Лузиньян, пытавшийся заигрывать с османами. Еще в 1468 г. его удалось склонить к браку со знатной венецианкой Катериной Корнаро. Овдовевшая королева, ставленница Венеции, начала борьбу с турецким влиянием при дворе; в качестве дополнительного “аргумента” Венеция направила к берегам Кипра эскадру, возглавляемую Пьетро Мочениго. “Венецианская партия” на Кипре одержала полную победу; спустя недолгое время остров полностью перешел под власть Венеции.

Другим пунктом противостояния Республики дожей с Оттоманской Портой была союзная Венеции Албания, где турки несколько раз осаждали стратегически важный город-крепость Шкодер, в котором находился венецианский гарнизон. В мае 1474 г. Шкодер был в очередной раз осажден 80-тысячной турецкой армией, и только поддержка венецианской эскадры под управлением того же Пьетро Мочениго позволила снять осаду. (Спустя четыре года турки все-таки захватят Албанию, присоединив ее — вслед за Сербией, Болгарией, Византией и Боснией — к своим владениям.)

При этих обстоятельствах посольство из Московии — далекого, но набирающего силу христианского государства, способного стать союзником Республики дожей, встретило в Венеции самое благоприятное отношение.



69-й и 70-й дожи Венеции Николо Марчелло и Пьетро Мочениго.

1 декабря 1474 г., во время пребывания посольства Семена Толбузина в Венеции, скончался престарелый дож Николо Марчелло. Московский посол принял тогда участие в траурных церемониях: тело дожа было похоронено в церкви Богоматери Человеколюбивой, знаменитой хранимой там драгоценной святыней — подаренным в 1463 г. кардиналом Виссарионом (в бытность его папским легатом в Венеции) ковчегом с частью Животворящего Древа Креста Господня и Ризы Господней. (В 1818 г., после того, как церковь Santa-Maria della Carita вошла в комплекс художественной галереи Accademia, останки 69-го дожа Венеции были перенесены в собор Святых Иоанна и Павла.).



Церковь Богородицы Человеческой на Большом канале.

Семен Толбузин стал в декабре 1474 г. свидетелем сложнейшей процедуры избрания нового дожа Венеции, которую постарался описать — впервые в русской литературе — в своих путевых записях. Эта система выборов существовала в Светлейшей Республике уже более двухсот лет (и просуществует еще триста) и включала в себя с десяток перемежающихся голосований и жеребьевок.

...В назначенный день самый молодой член венецианской Синьории должен был с раннего утра молиться в соборе Сан-Марко. Потом, выйдя из церкви, он оставив первого встреченного им мальчика и брал его с собой во Дворец дождей, на заседание Большого совета. Мальчик, его называли *ballotino*, должен был вынимать

из урны листочки бумаги и тянуть жребий. После первого такого жребия из состава Большого совета выбиралось тридцать членов. Новый жребий должен был сократить это число до девяти, а девятке предстояло голосовать за сорок кандидатов — эта группа должна была, опять же по жребью, потом сократиться до двенадцати. Эта дюжина выбирала двадцать пять человек, и они, в свою очередь, снова сокращались до девяти. Новая девятка голосовала за сорок пять кандидатов — и из них, путем еще одной жеребьевки, *ballotino* выбирал одиннадцать человек. Эти одиннадцать голосовали за сорок одного, каждый из которых должен был собрать в свою пользу не менее девяти голосов. Эти-то венецианские нобили числом сорок один человек в конце концов и избирали дожа. Сначала “выборщики” посещали мессу, и каждый по отдельности произносил клятву, что будет вести себя честно и справедливо на благо Светлейшей республики. Затем их запирали в тайном помещении Дворца дождей, ограждая от всех контактов с миром. Круглые сутки их охранял специальный отряд венецианских моряков, пока работа не была завершена...

Эта изощренная процедура выборов первого лица Венеции была призвана учесть интересы всех сторон и не допустить на высшую должность ставленника какой-либо одной партии или клана. Когда дож был избран, он предстал перед народом со словами: “Это ваш дож, если это вас устраивает”. После этого он принимал присягу, в которой торжественно клялся действовать со-

гласно законам и на благо Венеции. Власть дожа строго ограничивалась различного рода предписаниями: он не имел права появляться на публике в одиночку, не мог иметь собственности за границей, не мог один вскрывать официальную корреспонденцию, не имел права в одиночку встречаться с иностранными государями или посланниками и т.п.

14 декабря 1474 г. новым дожем Венеции был избран успешный военачальник и флотоводец, герой антипиратских кампаний, семидесятилетний Пьетро Мочениго. Находящийся в Венеции московский посол Семен Толбузин был представлен новому дожу и получил подтверждение всех ранее достигнутых договоренностей. В Венеции ему предстояло выполнить еще одну задачу — найти в Италии искусных мастеров, способных помочь в строительстве в московском Кремле нового Успенского собора, который начали возводить в 1460-х гг. на месте обветшавшего храма, построенного еще в 1320-х гг. при Иване Калите. Новое строительство было тогда поручено московским мастерам, однако, когда до окончания работ оставалось совсем немного, собор неожиданно обрушился. Великий князь Иван III по совету супруги Софьи Фоминичны решил пригласить “италийского муроля” (архитектора). В документах посольства Семёна Толбузина, подписанных Иваном III, говорилось:

“А денег с Толбузиным князь велики послал своей казны 700 рублей, а рядиться с муролями повелел по 10 рублей на месяц найму...”

Есть основания полагать, что Софья Палеолог, приняв Толбузина перед отъездом боярина в Венецию, рассказала ему об искусном архитекторе и инженере Аристотеле Фиораванти, которого близко знал ее старый наставник кардинал Виссарион (в 1472 г. он умер в Равенне) в бытность его папским наместником в Болонье — родном городе Фиораванти. Этот “муроль” прославился на всю италийскую землю, когда с помощью механизмов собственного изобретения передвинул на пять саженей колокольню болонской церкви Санта-Мария Маджоре.

Московскому послу Семёну Толбузину удалось договориться с “муролем” отправиться работать в Москву за высокое жалованье в 10 рублей в месяц (средняя деревня в Московии стоила тогда 2-3 рубля). Отъезд Фиораванти в далекую Москву облегчался еще двумя обстоятельствами. В Венеции, где был заключен контракт, еще помнили неудачу мастера при “выпрямлении” башни при церкви Св. Михаила Архангела: она в итоге обрушилась на стоящий рядом монастырь Св. Стефана. А за год до прибытия посольства Толбузина, в Риме случилась еще одна неприятность: Фиораванти был арестован и обвинен в сбыте фальшивых монет, за что был лишен всех привилегий. Обвинение оказалось ложным, но репутация мастера была поставлена под сомнение...

Как бы там ни было, в начале 1475 г. 60-летний Аристотель Фиораванти с двумя подмастерьями отправился в далекую Московию. “Софийская летопись” свидетельствует, что посольство Толбузина вернулось в Москву

“на Велик день” (православную Пасху, которая в 1475 г. отмечалась 26 марта), и боярин представил Фиораванти Ивану III такими словами:

“Он не токмо на сие каменное дело, но и на иное всякое, и колоколы и пушки лити и всякое устроение и грады имати и бити их ... и иное все хитр вельми...”

54

Русский историк Николай Михайлович Карамзин в своей “Истории государства Российского” так писал об обстоятельствах приезда Фиораванти в Московию:

“Принятый в Венеции благосклонно от нового дожа, Марчелла, Толбузин нашел там зодчего, болонского уроженца, именем Фиораванти Аристотеля, которого Магомет II звал тогда в Царьград для строения султанских палат, но который захотел лучше ехать в Россию, с условием, чтобы ему давали ежемесячно по десяти рублей жалованья, или около двух фунтов серебра. Он уже славился своим искусством, построив в Венеции большую церковь и ворота, отменно красивые, так что правительство с трудом отпустило его, в угождение государю московскому. Прибыв в столицу нашу, сей художник осмотрел развалины новой кремлевской церкви... Он ездил в Владимир, видел там древнюю соборную церковь и дивился в ней произведению великого искусства; дал меру кирпича; указал, как надобно обжигать его, как растворять известь; нашел лучшую глину за Андроньевым монастырем; выкопал новые рвы и наконец заложил великолепный храм Успения, донныне стоящий пред нами как знаменитый памятник греко-италианской архитек-

туры XV века, чудесный для современников, достойный хвалы и самых новейших знатоков искусства своим твердым основанием, расположением, соразмерностью, величием...”

Добавим, что в строительстве собора была впервые на Руси применена “венецианская” технология: для укрепления фундамента в землю были предварительно забиты сотни деревянных свай. 12 августа 1479 г. новый Успенский собор был освящен митрополитом Геронтием.

55

В ответ на московское посольство, Венецианская республика послала на Восток еще одного своего посла — знатного венецианца Амброджо Контарини, который через Польшу, Киев и Грузию отправился в Персию с целью поставки противникам турок сделанного в Венеции новейшего оружия — главным образом, пушек и пищалей. В 1475 г. при дворе правителя Тебриза, Контарини оказался в одно время с Лодовико да Болонья, выполнявшим аналогичное поручение папы римского Сикста IV. На обратном пути из Персии Контарини четыре месяца пробыл в Москве (с сентября 1476 г. по январь 1477 г.), где был благосклонно принят великим князем Иваном III и его женой Софьей, а также встречался с давним венецианским знакомым — Аристотелем Фиораванти.

Большую роль сыграл Фиораванти и в перевооружении московского войска, организовав поблизости от Кремля пушечную мануфактуру: новые орудия начали здесь отливать из меди и бронзы.

А в середине 1480 г. ордынская конница снова выступила в поход на Москву, но, простояв на реке Угре в тщетном ожидании войск польско-литовского короля Казимира IV (знаменитое “стояние на Угре”), повернула назад на юг. Хан Большой Орды Ахмат был убит союзниками Ивана III. Зависимости Московского государства от Орды был положен конец.

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
И
МАНУИЛ ИВАНОВИЧ
РАЛЕВЫ

57

Дмитрий Иванович и Мануил Иванович Ралевы (даты рождения и смерти неизвестны) — сыновья перешедшего на русскую службу Иоанна Раля — православного грека из рода византийских императоров Палеологов; послы великого князя Московского Ивана III к 74-му дожу Венеции Агостино Барбариго (правил в 1486–1501 гг.).

В начале 1488 г. Дмитрий и Мануил Ралевы отправились в Рим, Венецию и Милан с известием о взятии Казани русскими войсками. В Венецию они прибыли в сентябре 1488 г. с подарками для дожа Агостино Барбариго и его советников. Московские послы выступили тогда в венецианском Сенате, рассказав о победе христианского государя над татарами и возведении на казанский



Прием венецианским дожем посольства московитов. Рисунок XV в.

трон ставленника Ивана III, Мухаммеда-Амина, женившегося на дочери ногайского хана Мусы — близкого союзника Москвы, лично участвовавшего в 1480 г. в расправе над ее главным врагом — ханом Большой Орды Ахматом.

Приезд московских послов, остановившихся в Венеции на подворье греческой церкви Св. Георгия, произвел большое впечатление в городе. Об их выступлении в Сенате рассказал в своих «Венецианских анналах» один из сенаторов, Доменико Малипiero:

“3 сентября 1488 г. пришли два посла от русского короля, с 20 всадниками, и сообщили, что их король одержал

победу над татарами, у которых было 120 000 конницы; послы направляются в Рим по этому же делу к папе. Они преподнесли дожу три связки соболей, советникам по одной связке каждому; в связках было по 40 шкурков. Послы остановились у св. Георгия. Правительство подарило им по одежде из золотой парчи и по 100 дукатов...”

В 1488 г. дож Агостино Барбариго занимался возведением в церкви Богоматери Человеколюбивой на Большом канале величественной усыпальницы для себя и своего недавно умершего брата, предыдущего дожа Марко Барбариго. Венецианский художник Джованни Беллини получил тогда заказ на несколько больших картин для украшения гробницы. (В 1807 г. усыпальница дожей из семейства Барбариго в церкви Santa-Maria della Carita была разрушена захватившими Венецию солдатами Наполеона. Картина Джованни Беллини, изображающего Св. Марка, покровителя Марка Барбариго, представляющего Богоматери дожа Агостиньо Барбариго, находится ныне в церкви Св. Петра Мученика на острове Мурано.)

Следы обширной перестройки Венеции, предпринятой любимым архитектором семейства Барбариго, Мауро Кодуччи, можно было встретить тогда буквально на каждом шагу. Это и возведение новой кампаны кафедрального собора Сан-Пьетро ди Кастелло; и перестройка церкви Сан-Заккариа; и постройка величественных зданий двух влиятельных религиозных братств Венеции — Скуола Гранде ди Сан-Марко и Скуола Гранде ди



Джованни Беллини. Алтарь Барбариго.

Сан-Джованни Эвангелиста; и начало строительства Прокураций и Башни часов на площади Св. Марка.

В 1490 г. братья Ралевы вернулись в Москву вместе с царственным родственником — Андреем Палеологом, “императором Византии в изгнании”, старшим братом жены Ивана III, великой княгини Софьи Фоминичны. Поставив своим послам задачу привезти “императора Андрея” в Московию, Иван III рассчитывал на повышение престижа своего государства. В 1480 г. Андрей Палеолог уже приезжал к сестре в Москву, где хотел поправить свое материальное положение и где, опять же с выгодой для себя, выдал замуж свою дочь Марию за троюродного

брата Ивана III, князя Василия Михайловича Верейского. Андрей Палеолог, вернувшись тогда в Рим, опять влез в огромные долги, которые попытался вернуть с помощью папы Сикста IV...

Поездка в Московию вместе с братьями Ралевыми в 1490 г., когда Андрей Палеолог снова просил денег у Ивана III, оказалась для него безрезультатной. Вскоре после очередного возвращения из Московии “император в изгнании” нашел себе друга в лице короля Франции Карла VIII, погасившего часть его долгов. Андрей Палеолог приветствовал вторжение Карла в Италию в 1494 г. и вскоре подписал с ним соглашение, по которому передавал ему права на константинопольский престол — взамен Карл пообещал Палеологу содержание в 1200 дукатов в год. Вскоре после смерти друга-короля Андрей опять оказался в долгах и в 1502 г., незадолго до своей смерти, подписал новое соглашение, передававшее все права на “империю Востока” испанским монархам Фердинанду и Изабелле...

В 1490 г. братья Ралевы привезли с собой из Италии еще и группу талантливых мастеров, в том числе архитектора и инженера Пьетро Антонио Солари (ставшего известным в Москве под именем “Петр Антонин Фрязин”), который прославился в Москве строительством башен и Грановитой палаты в Кремле; летописи называют его “архитектором” или “главным архитектором Москвы”. Вместе с ним в Москву приехал и Марк Фрязин (Марко Руффо), по проектам которого были постро-

ены многие кремлевские башни, в том числе Спасская, Беклемишевская и Никольская.

62

Из Венеции в Москву в 1490 г., по просьбе Софьи Палеолог, был привезен и молодой врач — “Леон Жидовин”, искусство которого вскоре понадобилось. Внезапно заболел наследник престола 32-летний сын Ивана III от первого брака — Иван Молодой. Застудившись на охоте, он стал прихрамывать, жаловался на боли в суставах — венецианский врач определил у царевича подагру (“камчугу” — как ее называли на Руси) и начал лечить травяным отваром и прикладыванием стеклянных сосудов, наполненных горячей водой. Однако 15 марта 1490 г. наследник скончался, и спустя сорок дней при большом стечении народа на Болвановке в Замоскворечье состоялась казнь: врача втащили на эшафот — и палач в красном кафтане отрубил ему топором голову. Народ сочинил тогда сказку об Иване-Царевиче и Елене Прекрасной (жене молодого князя, Елене “Волошанке”), депотичном царе-отце и злой царице-мачехе (читай: Софье Палеолог), якобы отравившей пасынка ядом...

Известно, что позднее, в 1493 г., Мануил Ралев ездил в Италию вместе с дьяком Посольского приказа Данилой Мамыревым: тогда в Милане московские послы отличились тем, что отказались присутствовать на герцогском приеме из-за несогласий в придворном церемониале: они “требовали предпочтения” перед другими послами, говоря, что их государь, царь московский, и благороднее, и сильнее “вместе взятых королей Венгрии, Богемии и

Польши”. Московские послы привезли тогда из Италии группу мастеров, наиболее известным из которых был Алевиз “Старый”, который построил в Кремле великокняжеский дворец, а позднее работал над стенами, башнями и рвами Кремля со стороны Неглинной.

Во второй половине 1499 г. посол Дмитрий Ралев ездил еще раз в Венецию, теперь уже с дьяком Митрофаном Карачаровым. Свидетели из числа венецианских чиновников утверждали, что обоз московитов с драгоценными шкурками соболя и другого пушного зверя был так велик, что его отправили по морю отдельно, еще до прибытия послов. На приеме во Дворце дожей они подарили дожу Агостино Барбариго четыре больших связки соболей: одну — от “царя московского”, две — от своего имени, и одну — от богатого купца, который был в московской делегации. В числе подарков была и некая “огромная рыба кость” (судя по всему, моржовый клык, который в Московии называли “рыбьим зубом”).

63

По свидетельству венецианского сенатора Марино Сануто, московские послы “были одеты по своему обычаю, и были в каких-то длинных шапках, подбитых мехами у головы, и говорили почти как турки... Один из них (Дмитрий Ралев — А.К.), говоривший по-латыни, грек из рода Палеологов, был одет в одежду, шитую золотом...”

“Миланская история” тогда повторилась: по постановлению правительства Венеции, Ралев и Карачаров не были допущены к участию в одной из церемоний, поскольку посчитали, что должны идти перед послами

короля Франции, а не за ними. Есть свидетельства, что русские предлагали французам “за первенство” 25 дукатов, однако те денег не взяли.

Московские послы были тогда в Венеции в течение трех месяцев — с декабря 1499 г. по март 1500 г. К тому времени во внешнем виде главной площади Венеции — Пьяцца Сан-Марко — произошли разительные перемены: было практически закончено строительство Прокураций, опоясывавших пьяццу, а площадь украсилась знаменитой Башней часов (Torre dell’Orologio).

На вершине башни можно увидеть две бронзовые статуи, бьющие в колокол, отлитый в венецианском Арсенале мастером Симеоне в 1497 г. Под ними, на голубом фоне с золотыми звёздами изображен крылатый лев с открытой книгой. (Первоначально рядом с этим символом Венеции была помещена статуя дожа Агостино Барбариго, молящегося, стоя на коленях. Увы, после захвата Венеции Наполеоном в 1797 г. и низложением последнего дожа Лодовико Манина, статуя была убрана как один из символов прежней власти.)

Ниже находится полукруглая галерея с сидящей статуей Богородицы с Младенцем на руках. С каждой стороны есть голубая панель, показывающая время: слева римскими цифрами отмечены часы, а справа арабскими — минуты. Дважды в год, на Богоявление (6 января) и на Вознесение (в четверг на 40-й день после Пасхи), в одной из дверей, обычно закрытых панелями с цифрами, появляются фигуры трех волхвов, которых ведёт ан-



Башня Часов на площади Св. Марка.

гел с трубой, и проходят по галерее, преклоняясь перед Божией Матерью и Младенцем, прежде чем скрыться в другой двери. Еще ниже расположен огромный циферблат с золотой стрелкой, показывающей время. На уровне первых двух этажей Torre dell’Orologio сделана монументальная арка, ведущая на главную улицу, Мерчерию, которая связывает политический центр города, площадь Сан-Марко, с его коммерческим и финансовым центром — Риальто.

...Продолжая традицию, Дмитрий Ралев нанял в начале 1500 г. в Италии очередную группу специалистов

(“многие мастера серебряные, и пушечники, и стенные”), в числе которых был архитектор и инженер Алевиз “Новый” (настоящее имя — Алоизио Ламберти да Монтиньяна), которому Москва обязана строительством Архангельского собора Кремля, собора Петра-митрополита в Высоко-Петровском монастыре, храмов Александровской Слободы и т.д. Еще одним итальянским “муролом”, привезенным в тот раз из Венеции, был Бон Фрязин (Марко Бон), который возвел в Кремле башнеобразную церковь-звонницу Иоанна Лествичника, получившую название “Колокольни Ивана Великого”...

В записках венецианского сенатора Марино Сануто рассказывается еще об одной удивительной сделке, состоявшейся в Венеции между русскими послами и венецианцами: по поручению великого князя в Венеции было приобретено некое женское украшение удивительной красоты — за фантастическую сумму в 36 тысяч дукатов. Для описания драгоценного изделия Сануто использовал слово “*collare*” (“воротник, расшитый золотом и камнями”), отмечая, что оно предназначалось “для дочери русского короля”. Сегодня ясно, что речь шла об “узорочном ожерелье” или “саженье” — традиционном на Руси женском свадебном украшении, предназначавшемся для готовящейся свадьбе царевны Феодосии, дочери Ивана III, с сыном его ближайшего воеводы князя Даниила Холмского — Василием Даниловичем. Согласно обычаю, на свадьбе таким “ожерельем-саженьем” благо-

словляет дочь родная мать — в данном случае московская государыня Софья Фоминична Палеолог.

Интересна судьба купленной русскими послами драгоценности. Оно ранее было отдано в залог Императором Священной Римской империи Максимилианом представителям одного из богатейших венецианских семейств — Капелло. Однако в связи с банкротством банка “Липпомано”, основными вкладчиками которого были Капелло, глава семейства Андреа Капелло попытался продать ожерелье новому королю Франции Людовику XII, однако сделка не состоялась. Вероятно, после этого семья Капелло и согласилась уступить драгоценность посланникам великого князя Московского... Сенатор Сануто отмечает некоторые подробности сделки: 12 тысяч дукатов предполагалось заплатить наличными, а оставшиеся 24 тысячи должны были быть уплачены “в рассрочку” шкурками соболей и другого пушного зверя.

Свадьба князя Василия Холмского с Великой княжной Феодосией состоялась в Кремле 13 февраля 1500 г. Увы, великокняжеские послы не успели в Москву к этому сроку: в результате драматических обстоятельств, связанных с изменением геополитической обстановки, они появились в Москве лишь осенью 1504 г. (!). Еще в 1503 г. молодая княгиня Феодосия скончалась, а ее муж, князь Холмский, вскоре оказался в опале...

Судьба приобретенного в Венеции уникального “*collare*” долгое время оставалась неясной. Однако некоторые историки утверждают, что спустя почти 400 лет



Великая княгиня Ксения Романова в “узорочном ожерелье”, приобретенном московскими послами в Венеции.

именно в этом усыпанном драгоценными камнями “узорочном ожерелье” блистала сестра последнего российского императора Николая II великая княгиня Ксения Александровна Романова на знаменитом костюмированном балу в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге 13 февраля 1903 г.

ИВАН ИВАНОВИЧ ЧЕМОДАНОВ

Иван Иванович Чемоданов “Меньшой” (род. ок. 1600 г. — дата смерти неизвестна) — стольник, посол царя Алексея Михайловича Романова к дожу Венеции в 1656–1657 гг.

Род Чемодановых ведет свою родословную с середины XV в., когда прадед Чемоданова Меньшого выехал при Великом князе Василии II Тёмном из польских земель в Московию, где был пожалован вотчинами. Отец, Иван Чемоданов Большой, во время похода Бориса Годунова в Серпухов в 1598 г. против крымского хана Казы-Гирея был оставлен царем в Москве в качестве дядьки при юном царевиче Федоре Борисовиче. При первом из Романовых, царе Михаиле Федоровиче, Чемоданов Большой дослужился до должности царского постель-

ничего. Его старший сын Федор, брат будущего посла в Венецию, был царским воеводой в Саратове и Вязьме.

Иван Чемоданов Меньшой довольно быстро стал “стряпчим с платьем” (придворная должность, соответствовавшая введенному в XVIII в. званию камергера), а за активное участие в войне с претендовавшим на московский трон польским королевичем Владиславом был пожалован богатыми вотчинами. В 1620-х гг. — стольник при дворе царя Михаила Федоровича: известно, что именно он нес “государевы караваи” на свадьбах царя с Марией Долгорукой (1624), а затем и с Евдокией Стрешневой (1626). Неоднократно участвовал в качестве царского приближенного в дипломатических приемах в Грановитой и Большой подписной палатах Кремля. С середины 1640-х гг. — на воеводских должностях в Усерде, Рыльске и Путивле. В 1654–1656 гг. участвовал в войнах с Польшей и Литвой. В 1656 г. — наместник Переяславля-Залесского.

В 1655 г. новый, 100-й по счету, дож Венеции, Карло Контарини, ведший упорную войну с Османской империей за стратегически важную венецианскую крепость Кандию (нынешний Ираклион) на острове Крит, разослал посольства во многие христианские государства Европы с просьбой о поддержке в войне с турками, подчеркивая, что потеря Кандии станет ударом для всего христианского мира. Ко двору русского царя Алексея Михайловича приехал венецианский посол Альберт Вимин да Ченеда с просьбой послать на турок донских казаков, а заодно позволить венецианским купцам бес-

пошлинную торговлю в Архангельске. Посол оставил подробные мемуары о Московии, где, отмечая могущество и богатство московского государя, в частности, писал:

“Мне оставалось бы нечто сказать о морских силах, если бы нынешний Государь показал равную охоту к устройению флота... Но нет повода к постройке флота, ибо нет морей, разделяющих Государя владения, за исключением Северного моря, где находятся гавани Архангельская и Св. Николая. Может быть, Великий князь желает сохранить простоту нравов своих подданных и не хочет, дабы они, имея удобность путешествовать на кораблях, напивались чужеземными нравами...”

После отъезда венецианцев в декабре 1655 г. московским правительством было решено, в свою очередь, направить ответное посольство в Венецию с просьбой занять у Республики денег, которые были нужны для войны с Польшей и Швецией. 6 мая 1656 г. царь Алексей Михайлович приказал переяславскому наместнику Ивану Чемоданову ехать посланником в Венецию. С посольством были посланы для продажи сто пудов ревеня из Приказа Большой казны и десять сороков соболей из Сибирского приказа. (Забегая вперед, скажем, что эта часть царева поручения была выполнена неудачно: во время морского переезда часть товара была попорчена водой, очень мало было продано по своей цене, а значительную часть выручки пришлось издержать на содержание самого посольства, оказавшегося в стесненном положении.)

13 мая 1656 г. Чемоданов Меньшой был “у руки государя” в Золотой палате Кремля. Через некоторое время из Венеции было получено известие, что дож Карло Контарини скончался, и 101-м дожем, после 26 туров голосования, был избран 81-летний Франческо Корнер. Царские бумаги были переделаны на новое имя, и 17 июля посольство Чемоданова отбыло в Архангельск.

В посольство личного посланника царя, боярина Ивана Чемоданова, вошел, как было принято, опытный профессиональный дипломат, старший дьяк Посольского приказа Алексей Постников, ранее участвовавший в дипломатических миссиях в Австрию, Саксонию и Польшу.

Предполагалось, что из Архангельска в Венецию московское посольство отправится на венецианских “икряных” судах, однако таковых в Архангельске не оказалось, и 12 сентября 1656 г. московские послы с небольшой свитой сели на английский корабль, который, обойдя вокруг Европы и миновав Гибралтарский пролив, 24 ноября 1656 г. бросил якорь в средиземноморской гавани Ливорно — главном порту Великого герцогства Тосканского. Предполагалось, что там послы должны были пересечь на корабли, идущие в Венецию, однако выяснилось, что морское сообщение между Тосканой и Венецией прервано из-за действий турецких кораблей, и послам пришлось ехать в Венецию сухим путем.

Участники московского посольства 1656-1657 гг. были первыми русскими людьми, проделавшими путь в Ита-

лию вокруг Европы и оставившими описание Гибралтарского пролива:

“Приехали к горлу, к ускому месту, с большого моря [Атлантического океана], влево к морям, что в Венецию и в иные государства. По левую сторону того уского места Шпанска земля, а справа Турская; поперек в уском месте, меж высоких гор, с десять верст или мало больше, а у того уского места в длину верст дватцать и болши...”

Далее в материалах посольства имеется интересное описание системы оповещения о турецких кораблях, применявшейся вдоль всего испанского и французского побережья вплоть до тосканского берега: между городами, на расстоянии пяти верст друг от друга, были расставлены каменные столбы, на которых при появлении турецких кораблей зажигались “огни великие”.

Из Ливорно посольство ездило в Пизу, а затем прибыло в столицу Тосканы — Флоренцию, где было принято Великим герцогом Фердинандо II.

В галерее великогерцогского дворца Питти на левом берегу Арно находится портрет московского посла “*Iwan Chemodanoff*” работы известного фламандского художника Юстуса Сустерманса. Родившийся в Антверпене, Сустерманс в 1620-х гг. перебрался во Флоренцию, где стал придворным художником Великого герцога. При жизни его почитали как первого портретиста Италии, равного талантом Ван Дейку, Рубенсу и Гольбейну. Благодаря своей известности, он получал заказы от римских пап, а также дворов Вены, Пармы, Милана.



Портрет московского посла Ивана Чемоданова.
С картины Ю. Сустерманса.

В конце 1656 г., по просьбе Фердинандо II, Сустерманс сделал портрет экзотического посланника московского царя, находившегося тогда во Флоренции проездом в Венецию.

После Тосканы путь московского посольства в Республику дожей лежал через Болонью и Феррару, входившие тогда в состав Папского государства — владения римского папы Александра VII. Интересно, что в некоторых местах между Флоренцией и Болоньей посла Чемоданова несли на носилках, укрепленных между ослами, так как путь через высокие Апеннинские горы для карет был невозможен. От Феррары посланники плыли на судах по реке По до выхода в Адриатическое море, а далее — по Венецианской лагуне. Осталось описание укрепленного побережья между венецианским городком “Чозой” (Кьоджей) и Венецией:

“И от города Чозы и до Венеции стоят крепости и городки каменные многие частые, и валы земляные, и для караула столпы каменные высокие, и корабли опасные многие венецийские и иных розных государств и земель наемные...”

Посольство прибыло в Венецию 11 января 1657 г. Еще по дороге москвиты узнали от встретившего их на границе с Папской областью венецианского дипломата Альберта Вимина да Ченеда (недавно побывавшего в Московии), что дож Франческо Корнер, к которому москвиты имели бумаги от царя Алексея Михайловича, умер еще летом 1656 г., проправив после смерти Карло

Контарини всего 19 дней, и дожем Венеции является ныне Бергуччо Вальер.

76

Быстрой аудиенции у нового дожа посольству получить не удалось, поскольку было объявлено, что Вальер “болен ногами”, и царские грамоты можно передать замещающему его старшему прокуратору Венеции. Московский посол, однако, на это не согласился, имея строгое предписание царя подать бумаги лично дожу. После размещения в одном из гостевых домов Чемоданов принял приглашение местных греков посетить церковь Святого Георгия и отслужить православный молебен во здравие государя Алексея Михайловича и его семьи.

Прием у Бергуччо Вальера во Дворце дождей состоялся 22 января 1657 г. Посол объявил, что Московия, при всем желании, не может в данный момент послать войско на турок, так как сама связана войной с Польшей, однако, по заключении мира, обязательно подпишет с Венецией договор о военной поддержке. Из-за отказа московского царя помочь венецианцам, напав на турок в Причерноморье, те, в свою очередь, ответили москвитам отказом в денежном займе, отговариваясь трудностями войны с османами в Средиземном море. Венецианцы, однако, получили право свободной торговли в Архангельске, а москвитам был вручен для передачи царю драгоценный сосуд с миром, собранного с мощей Святого Николая Чудотворца, часть которых хранится в церкви Св. Николая на венецианском острове Лидо.



Прием венецианским дожем иностранного посла.
С картины П. Маломбра.

В материалах посольства Ивана Чемоданова описывается вид Венеции:

“И Венеция стоит на той же морской губе, кругом ее и по всем улицам вода, ездят в мелких судах, их называют гундулы; а стен городских в Венеции ни башен нет...”

Особо отметили москвиты обилие в Венеции мостов:

“В Венеции же сделан мост каменной великой (Риальто), а на нем устроены лавки многие, крыты свинцом, и



сидят в них со всяким товаром. И под тот мост ходят невелики корабли и боши барки. А иных мелких мостов по улицам добро много, и под те мосты ездят в гундулах...

80

Пребывание московских послов в Венеции вызвало интерес среди иностранных дипломатов: справиться о здоровье москвитов присылали резиденты мантуанский и французский; лично навестили русских послов “кавалеры цесаря Римского” (императора Священной Римской империи). Незадолго до отъезда послов из Венеции у них побывали и посланцы папы римского с приглашением заехать в Рим. Москвиты, однако, отказались, объяснив это отсутствием царского указания.

1 марта 1657 г. посольство Ивана Чемоданова оставило Венецию, перебралось через альпийский перевал Бреннен и через Инсбрук и Аугсбург достигло Рейна, откуда водой спустилось вниз по течению к Северному морю. 20 мая послы сели в Амстердаме на корабль и 25 июня 1657 г. были в Архангельске.

Однако посольство Чемоданова-Постникова вернулось в Москву еще нескоро — причиной этого, судя по всему, стала задержка с определением царем Алексеем Михайловичем судьбы привезенного из Венеции сосуда с миро с мощей святителя Николая Мирликийского. Еще не добравшись до Тотьмы, Чемоданов и Постников получили из Москвы из Посольского приказа привезенный гонцом царский указ, которым им было велено упомянутый сосуд с миро оставить для хранения в Во-

логде. Согласно указу, по прибытии в Вологду, святыня была с подобающею честью, в крестном ходе, в присутствии многочисленного народа, встречена и принята от посланников архимандритом Спасо-Прилуцкого монастыря и поставлена сперва в церкви Кирилла Белозерского, а оттуда перенесена архиепископом вологодским в Софийский собор. Была ли она затем отправлена в Москву — неизвестно.

Московское посольство в Венецию вернулось в Москву лишь 9 января 1658 г. Сведений о дальнейшей службе Ивана Чемоданова Меньшого, который, согласно источникам, к моменту поездки в Италию был крепким мужчиной лет шестидесяти, не сохранилось. Известно, однако, что его сыновья Богдан и Федор служили в близком окружении юного царя Петра Алексеевича.

Что касается дьяка Ивана Постникова, то известно, что после возвращения из Венеции он продолжил военно-дипломатическую карьеру: в 1658 г. был послан царем в Киев в помощь воеводе, боярину Василию Борисовичу Шереметеву, оборонявшему Киев от войск украинского гетмана Выговского от поляков, крымчаков и турок. Постников погиб в Малороссии в 1661 г.

На предыдущем развороте:
Церковь Сан-Николо на острове Лидо, где хранится
часть мощей Св. Николая Мирликийского.

БОРИС ИВАНОВИЧ КУРАКИН

82

БОРИС ИВАНОВИЧ КУРАКИН (20.07.1676, Москва — 17.10.1727, Париж) — князь, потомок Гедиминовичей, основатель династии российских дипломатов.

Родился в семье смоленского наместника, князя Ивана Григорьевича Куракина и Феодосии Алексеевны, урождённой княжны Одоевской. Крестным отцом Бориса Куракина стал только что вступивший тогда на престол царь Федор Алексеевич, а крестной матерью — его сестра, царевна Екатерина. После ранней смерти родителей Куракин воспитывался в доме бабушки, княгини Ульяны Одоевской, которую в своих мемуарах охарактеризовал так:

“Оная жена была великого ума и набожная, и в остиме [уважении] от всех...”

С 1683 г., в правление царевны-регентши Софьи Алексеевны, юный князь Борис Куракин попал в ближайшее окружение “младшего царя” Петра Алексеевича, был его спальником, принимал участие в военных “потехах”, а с организацией “потешных полков” стал офицером Семёновского полка, в составе которого участвовал в Азовских походах.

В пятнадцать лет Куракин женился на Ксении Лопухиной, сестре первой жены царя Петра Евдокии Лопухиной, — так он стал еще и царским “свояком”. Однако после охлаждения Петра I к царице весь клан Лопухиных попал в опалу: его члены, занимавшие крупные должности в Боярской думе, были отосланы из Москвы воеводами в дальние крепости, а частью репрессированы.

В преддверии отъезда Петра I в “Великое посольство” в Европу, когда Москву стали очищать от “неблагонадежных”, попал под подозрение и близкий к Лопухиным Борис Куракин. Вместе с братом царицы, Авраамом Лопухиным (избежавшим репрессий по причине того, что он был женат на дочери всеильного главы тайной полиции Федора Ромодановского) он был в начале 1697 г. отослан царем Петром “на обучение морским наукам” в Венецию, которая стала на тот момент главным военным союзником Русского царства в борьбе с Турцией.

...Еще в 1683 г. объединенные польско-австрийско-германские войска под предводительством польского коро-

83



Борис Иванович Куракин.

ля Яна Собесского одержали победу над османами под Веной, обозначив перелом в ходе антитурецких войн. В 1684 г. по инициативе римского папы Иннокентия XI была основана “антитурецкая лига” в составе Священной Римской империи, Венецианской республики и Речи Посполитой. А после заключения в 1686 г. московским правительством регентши Софьи “Вечного мира” с Польшей к антитурецкой Лиге примкнуло и Русское царство: Москва и Венеция стали прямыми союзниками. Утвердившийся у власти в 1689 г. молодой царь Петр продолжил курс на сближение России с Республикой Св. Марка.

Переговоры о посылке в Венецию русских служилых дворян с целью обучения “морским наукам” велись в течение нескольких лет через проживавшего в Москве итальянского купца Франческо Гваскони — тайного агента венецианского правительства. Свои сообщения о политических событиях в России он передавал в письмах, адресованных в Венецию брату Алессандро. В письме из Москвы от 26 февраля 1696 г. Франческо Гваскони извещал, что из Московии в Венецию будут отправлены для обучения до сорока дворян. В следующем письме сообщалось, что по просьбе царя Петра венецианский купец Жуан де Жеролемо отыскал в Далмации, в венецианском городке Пераст на берегу Которского залива, ученого математика и опытного капитана, славянина Марко Мартиновича и от имени царя предложил ему обучать морскому делу московских дворян, за что

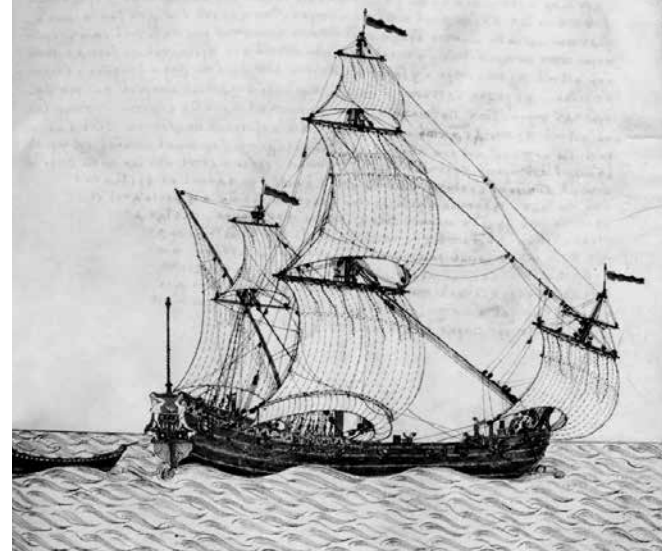
ему было обещано 50 дукатов в месяц. Соответствующая просьба Петра I к венецианскому Сенату была быстро удовлетворена.

В конце 1696 г. царь Петр Алексеевич издал два важных указа. Согласно первому из них, “на обучение” в Голландию и Англию направлялось 22 человека, а в Венецию — 39. Вторым указом объявлялось о направлении в европейские страны “Великого посольства” в составе трех полномочных послов: Ф. Я. Лефорга, Ф. А. Головина и П. Б. Возницына. Целью посольства было привлечение европейских государств к союзу против Турции. В составе посольства, под именем Петра Михайлова, в Европу, “северным маршрутом”, отправлялся сам царь Петр.

Имена московских дворян, посланных на учебу в Венецию (их средний возраст составлял 30-35 лет, и многие из них были уже отцами семейств), в основном известны. Как правило, это были комнатные стольники царя Петра и его покойного брата Ивана, уже прошедшие службу на воеводских должностях и принимавшие участие в военных действиях. Помимо лиц, к которым царь Петр относился с полным доверием, в число “волонтеров”, отъезжавших за границу, были включены лица “неблагонадежные”, принадлежавшие к оппозиционным кланам Милославских и Лопухиных.

Каждому “волонтеру” были вручены напутственные “статьи”, в которых обозначались цели поездки:

“Знать чертежи, или карты, компасы и прочие признаки морские; владеть судном как в бою, так и в про-



Учебное судно-фрегатон, на котором проходили морскую стажировку “посланцы царя Петра”.

стом шествии, и знать все снасти, или инструменты, к тому принадлежащие; сколько возможно, искать того, чтоб быть на море во время боя; а кому и не случится, то с прилежанием искать того, как в то время поступать; ежели кто похочет вперед получить милость большую по возвращении своем, то к сим вышеписанным повелениям и учению научились бы знать, как делать те суды, на которых они искушение свое примут...”

Отдельная “царская грамота” предназначалась “принцецу Венецкому” — дожу Сильвестру Вальеру:

“Пресветлейшему и велеможному князю и господину Селивестру Валерию, Божию милостию ардуху вла-

детельства Венецаго и всему сенату Венецкому наше Царскаго Величества благоприветствованное поздравление. По нашему, Великаго Государя, указу отпущены к вам в Венецию нашего Царскаго Величества дворяне, которые охотно и тщательно намерены во Европе присмотретья новым воинским искусствам и поведением. И того ради мы, Великий Государь, благоволително желаем, как те дворяне наши во владение Вашей Светлости прибудут, дабы Ваша Светлость в городах, где они себе случаи употребят, побыть им поволили и всякое к ним доброхотство, бережение и в требовании их вспомогательство, повольность благоприветливо явили; а когда они, исполня намерение свое, похотят возвратитя в государства наши, тогда б Ваша Светлость без задержания их отпустили...”

...Болезненный с детства Куракин получил царский указ о фактической высылке из Москвы, будучи в очередной раз тяжело больным, но не посмел ослушаться:

“После Рождества Христова наипаче припала мне болезнь и теснила голову, и так мозг слышно было... И января месяца сказано ехать для наук навтичных [мореходных], и так я заставлял в болезни своей той, аж по самой февраль, и с тем поехал в Италию... И марта месяца, с первых чисел, поехали с Москвы в Италию; а путь свой имели на Смоленск, на Варшаву, на Вену, столицу цесарскую, и чрез горы в Венецию...”

Еле добравшись до Венеции в июне 1697 г., Куракин проболел там еще полтора месяца:

“А проезду нашего до Венеции было: март, апрель, май и в июне приехали. И того месяца припала мне лихорадка, которая тримала [трясла] больше шести недель, и потом освободился от нее от дохтура Александра грека в Венеции...”

В сентябре 1697 г. Борис Куракин (под именем Бориса Иванова) в составе группы из семнадцати русских отправился из Венеции в учебное плавание по Адриатическому морю под руководством капитана Марко Мартиновича. Базой пребывания этой группы стал венецианский городок Пераст в Которской бухте, где Мартинович организовал славящуюся по всему Средиземноморью мореходную академию “Наутика” с преподаванием теоретических и практических дисциплин. (Сегодня в городском музее г. Пераста в Черногории можно видеть картину, на которой изображен капитан Мартинович, преподающий мореходную науку русским дворянам — “посланцам царя московитов”).



Капитан Марко Мартинович обучает навигации русских дворян. Городской музей г. Пераста.

Князь Куракин проявил в обучении мореходному делу большие способности и стал лучшим учеником своей группы, о чем свидетельствует аттестат, выданный ему 21 августа 1698 г.:

90 “Сим удостоверяю, что я, капитан Марк Мартинович, обучал знатного господина Бориса Иванова, русского кавалера, морскому искусству, т.е. компасу, направлению ветров и навигационной карте. Он совершил со мной два путешествия на корабле, чтобы лучше изучить мореплавание, и я указал ему на устройство всех снастей, как на корабле, так и на других судах, употребляемых в этих странах. Капитаны и другие компетентные люди могут убедиться, что он с успехом обучался у меня искусству мореплавания как в теории, так и на практике. Испытав вышепомянутого знатного господина Бориса, я нашел его способным применять свои знания и для высших должностей. В чем и выдается ему этот аттестат, который он может предъявлять, если встретит надобность...”

Сохранился и другой аттестат, составленный довольно вычурно и выданный Куракину в Венеции 27 августа 1698 г. его преподавателем теоретических дисциплин Франциск Дамиани:

“Знаменитые великодушием и благородством герои не только своим высоким рождением озаряли свой род, но и силой своих знаний приобретали бессмертие, оставляя вечную по себе память потомству. Я усиленно старался внушить это, в качестве руководителя

и профессора (*maestro e professore*) знатному господину Борису Иванову, московскому кавалеру и моему любимейшему ученику (*mio prediletto discepolo*). Могу удостоверить клятвенно, что он не только чистейшим нравственным поведением, но и высокими качествами ума оставил здесь, к удивлению ученых и немалому моему утешению, неизгладимый след выдающихся достоинств. Кроме наук, которые он изучал в других местах, он посещал меня совместно с другими учениками и усовершенствовался основательно в практической арифметике, в сочинениях Евклида, тригонометрии..., фортификации, устройству и применению компаса. Что все это справедливо, каждый ученый может убедиться на деле... Я, Франциск Дамиани, граф ди Вергада, собственноручно подтверждаю все вышеизложенное и, кроме того, удостоверяю, с полной достоверностью, что у меня не было ученика, более прилежного и более способного к изучению схоластики, как вышепоименованный кавалер и господин...”

Русские дворяне вернулись из Венеции осенью 1698 г., в разгар следствия по делу о новом стрелецком бунте, вспыхнувшем в Московии в отсутствие царя Петра. Некоторые недоброжелатели нашептывали царю о причастности к бунту не только опальных Лопухиных, но и Бориса Куракина. Куракин был вызван в Воронеж, где Петр I лично допрашивал его, а заодно и проверил его успехи в овладении морскими науками. Царь остался в высшей степени довольным обширными познани-

ями и практическими навыками Куракина — все подозрения с князя были окончательно сняты.

Благодаря хорошему знанию итальянского языка, бывшего в ту эпоху основным языком международного дипломатического общения, Куракин стал в скором времени одним из доверенных лиц Петра I, часто посылаемым ко дворам европейских монархов.

В январе 1707 г. капитан гвардейского Семеновского полка князь Борис Куракин был направлен Петром I в Рим к папе Клименту XI с задачей отговорить папский престол от признания польским королем Станислава Лещинского:

“И поехал от полка своего в Рим. Взял с собою только одного человека — Фёдора Огаркова, и ехал на Краков, на Вену, на Венецию, на Болонью, на Флоренцию...”

С апреля по конец октября 1707 г. Куракин был в Риме, передав папе бумаги от московского царя и ведя переговоры с папским правительством (в дневнике князя отмечены встречи с восемнадцатью римскими кардиналами):

“Никогда никто московской нации приемность такого гонору и порядком не был принят...”

По поводу Станислава Лещинского Куракин получил уклончивый ответ: папа не признавал его королем Польши, но отказался высказать это прямо и официально, как того желал царь Петр. На обратном пути из Рима Куракин исполнил и другие царские поручения, побывал в Венеции, Вене, Гамбурге, Голландии. Образованный, умный и обходительный человек, Куракин везде

производил благоприятное впечатление. Курфюрстина ганноверская Софья писала:

“Это очень честный человек. Он кажется более итальянцем, чем москвитом, и владеет сим языком в совершенстве, со всей мыслимой учтивостью. Поведение его я нашла во всех отношениях безупречным...”

1708-й год Борис Куракин встретил “в великих роскошах и веселье” в Венеции. 110-й дож Венецианской республики Альвизе II Мочениго дал аудиенцию русскому дипломату и подтвердил, что намерен упрочить дружбу с московским царем и расширить торговые отношения с Россией.

Там же, в “столице Адриатики”, случился с Куракиным “инаморат”, “амор”; князь, не особенно счастливый в семейной жизни, встретил в Венеции “славную хорошеством” синьору Франческу Рота,

“которую имел за метресу во всю ту свою бытность. И так был inotariato, что не мог ни часу без нея быть, которая коштowała мне в те два месяца 1000 червонных. И разстался с великою плачью и печалью, аж до сих пор из сердца моего тот атог не может выйти и, чаю, не выдет. И взял на меморию ея персону, и обещал к ней опять возвратиться, и в намерении всякими мерами искать того случая, чтоб в Венецию, на несколько время, возвратиться жить...”

...Князь Борис Иванович Куракин скончался осенью 1727 г. в Париже, занимая пост посла императрицы Екатерины I во Франции.

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ТОЛСТОЙ

94

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ТОЛСТОЙ (1645 — 7.02.1729, Соловецкий монастырь) — государственный деятель, путешественник, литератор. Сын окольного Андрея Васильевича Толстого и Соломонида Милославской — родственницы первой жены царя Алексея Михайловича, царицы Марии Ильиничны.

Отец Толстого служил воеводой в Чернигове, где молодой Петр Андреевич в 1665–1669 гг. получил первое боевое крещение, находясь вместе с отцом в осаде (“сидел тридцать три недели”) от войска мятежного украинского гетмана Брюховецкого. В 1677 и 1678 гг. участвовал в Чигиринских походах царя Федора Алексеевича.

Придворная служба П. А. Толстого началась в 1671 г.: получив чин стольника, он находился сначала при дво-

95

ре второй жены Алексея Михайловича, царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной (матери царя Петра Алексеевича). В 1676 г., при вступлении на престол сына Марии Милославской, царя Федора, Толстой покинул Нарышкиных и предпочел воспользоваться покровительством двоюродного дяди, Ивана Милославского — всецельного главы Приказа Большой казны (министра финансов). После смерти царя Федора именно И. М. Милославский привлек стольника Толстого в мае 1682 г. к участию в стрельцком бунте против Нарышкиных: утром 15 мая они вместе бунтовали стрельцов, “на лошадях скачучи, кричали громко, что Нарышкины царя Иоанна Алексеевича задушили”, что послужило сигналом для стрельцкой расправы над Нарышкиными, прямо на глазах у 10-летнего царя Петра и его матери.

Однако после свержения царевны-регентши Софьи и приходом к власти юного царя Петра Алексеевича влиянию Милославских пришел конец — в Москве стал безраздельно править клан Нарышкиных. Петр Толстой был отослан воеводой в Великий Устюг. В Азовских походах он принимал участие на низших офицерских должностях.

В начале 1697 г., когда царь Петр собирался в длительное “Великое посольство” в Европу, Москву начали чистить от “неблагонадежных”: в их число попали и Милославские, замешанные в стрельцких заговорах в пользу царевны Софьи. Вместе с тремя братьями Милославскими и некоторыми другими стольниками не-



Петр Андреевич Толстой.

ожидала незавидная участь: уезжая в Европу, царь Петр оставлял Москву на попечение родного дяди — Льва Кирилловича Нарышкина, известного своей мстительностью и не простившего Толстому активное участие в стрельцком бунте 1682 г. и расправе над Нарышкиными...

Как бы там ни было, 30 января 1697 г. на двор к стольнику Толстому была прислана из Посольского приказа подписанная царем “проезжая грамота”, в которой говорилось:

“По нашему, Царского Величества, указу послан во европейские христианские государства, и княжества, и в волные города дворянин наш, урожденный Петр Андреев, для науки воинских дел. И как в которое государство,

давно умершего “старшего царя” Ивана Алексеевича (сводного брата Петра I и Милославского по матери) Петр Толстой был включен в группу московских дворян, посылаемых “на обучение морским наукам” в Венецию. Возможно, 52-летний Толстой, бывший к тому времени уже дважды дедом, сам добровольно записался в “волонтеры” в Италию, ибо на родине его, скорее всего,

или княжество, или в волные города приедет, и пресветлейшим державнейшим и великим государям, царскому величеству Римскому и королевским величествам, любительнейшим братьям и друзьям нашим... велеть его для нашего Царского Величества со всеми при нем будущими людьми, рухледью и с вещми, которые с собою иметь будет, сухим путем и морем пропускать везде без задержания и жить ему, где случай покажет, безопасно, поволнее... А у нас, в государствах наших, нашим, Царского Величества, благоволением и милостию по тому ж воздано будет...”

В “Записках” Толстого к этой бумаге имеется комментарий:

“В той вышеписанной великаго государя грамоте написан Петр Толстой дворянином и без прозвания для того, чтоб в иноземческих краях подлинно не ведали, какого чина и каких пород для той вышеписанные науки их государства посланы...”

В последних числах февраля 1697 г. Толстой выехал из Дорогомиловской слободы в Москве вместе с другими “волонтерами”: каждый из них ехал за свой счет и мог взять с собой одного слугу и одного оплачиваемого из казны солдата.

В ставших известными лишь в середине XIX в. мемуарах (“Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе. 1697-1699 гг.”) Петр Толстой подробно рассказывает о своей поездке в Италию, создавая у читателя впечатление, что он путешествует в одиночку — это соответствовало “законам жанра”.

Русские “волонтеры” за три месяца добрались до Вены и двинулись далее на юг:

“Мая в 28-й день. Поехал я из Вены, наняв фурманов, во Италию до города Местра, которой город в Венецкой провинции на морском берегу; и дал тем фурманам за провоз себя и людей, будучих при мне, по 8 золотых червонных со всякого человека...”

Дорога к границе с Венецианской республикой через Австрийские Альпы заняла еще две недели:

“Теми помяненными горами путь зело прискорбен и труден. По дороге безмерно много камня великаго остраго, и дорога самая тесная, а горы безмерно высокие и каменные; а дорога уска, толко можно по ней ехать в одну телегу и то с великим страхом для того, что... проложена та дорога в полгоры; и по одной стороне тое дороги пребезмерно высокие каменные горы, с которых много спадает на дорогу великих камней и проезжих людей и скотов побивает; а по другую сторону тое дороги зело глубокие пропасти... Когда кто по той дороге чрез те помяненные горы едет, то непрестанно бывает в смертном страхе, доколе с тех гор съедет. На тех горах всегда лежит много снегов, потому что для безмерной их высоты великие там холоды и солнце никогда там промеж ими лучами своими не осеняет...”

8 июня 1697 г. Толстой приехал в пограничное местечко Понтафел, находящийся на речке Фелла:

“Та речка невелика и неглубока, течет по камню. В том местечке через ту реку сделан каменной мост, и

на середине того мосту сделана каменная башня, на которой башне с цесарской стороны поставлен цесарский герб, а с италиянской стороны поставлен герб Венецкаго княжества — лев во образе святаго евангелиста Марка. В том местечке и по всей той помяненной реке живут на одной стороне цесарцы, а на другой стороне италиянцы, венецияне...”

Венецианская таможня осмотрела бумаги и вещи Толстого:

“Тут смотрели италияне мою проезжую грамоту, которая мне дана с Москвы и от цесарскаго величества из Вены, и других моих проезжих листов, которые я имел при себе и с Польши; также осматривали у меня торговых всяких вещей... и того смотрели, нет ли кого при мне больных людей, и, видя меня и при мне бывших всех здоровых, дали мне свой проезжий лист до первого италиянскаго города Венецкой же провинции...”

Первым укрепленным пунктом на территории Республики Св. Марка был замок Понтеббе:

“От той помяненной границы отъехав 1 милю, приехал к замку, которой на самой дороге в горе. У того замку одержали меня, не пустя в замок, и спрашивали, котораго я государства человек, и откуда и куда еду, и имею ли при себе лист проезжий от цесарскаго величества римскаго, где я показал им проезжую великаго государя своего грамоту, которая мне дана с Москвы и с Посольскаго приказу, также цесарские и королевства Польскаго проезжие листы, которых, смотря у меня за

городом, капитан, взяв их, носил в город и казал генералу. Потом принес ко мне те листы, все мне отдал, только взял к себе тот лист, которой мне дали на вышепомянутой границе, для того что такие листы всегда у проезжих берут и оставляют в том замке, и пустили меня в тот замок свободно. По тому замку, где путь мой належал ехать, стояли салдаты с ружьем... И, проехав я тот замак, ехал того числа самым тесным и нужным путем между самых тесных гор...”

Впервые в отечественной литературе, в путевых записках Толстого появляются описания городков Конельяно (“Кундиян”), Тревизо (“Тривиз”) и Местре (“Местр”), через которые, на пути в Венецию и обратно, проезжали потом тысячи новых путешественников:

“Июня в 12 день. Переезжал реку Пиаву на пароме; та река велика и быстра зело. И приехал обедать в город Тривиз Венецкой же провинции. Город Тривиз великой, в нем строение все каменное, изрядное, и садов дивных много, и воды в нем пропускные изрядные. От Кундияна до Тривизу по обе стороны дороги сады великие и зело изрядные, в которых садах домов много немалых с каменным и деревянным строением...”;

“Того ж числа приехал ночевать в город Местр, от Тривиза 2 мили. Тот город Венецкой же державы, построен на пристани морской, от которого ездят в Венецию морем, а сухого пути к Венеции дале того города нет. От Тривизу до Местра дорога избранная, и по обе стороны той дороги сады зело изрядные и дивные. В тех

садах много предивных построено палат. В тех же садах множество виноградов и всяких плодовых деревьев: лимонных, померанцов, цукатов, миндалов, олив, каштанов, персиков, слив, розных родов дуль, груш, яблок, орехов грецких, черешни, вишен и иных всяких овощей. У тех домов у многих построены каплицы предивные, то есть малые церкви... Город Местр великой, каменной, и домов великих строения каменного в нем много. Тот город весь в садах, и воды в нем есть пропускные многие. От того города до Венеции ездят морем в барках, и в пиотах, и в гундалах... А пролива та, которою от города Местра выезжают в моря, не широка и не глубока, и дух от той воды зело тягостной... Из Местра в Венецию и из Венеции в Местр непрестанно по вся часы множество людей, мужеска полу и женска и девиц, переезжают в вышеименованных судах. От Москвы до того помянутого пристанища ехал я 15 недель; в тех же неделях много дней простаивал по многим местам, чего счисляю всех постоянных дней 6 недель; а от Вены до морской пристани ехал я 16 дней...”

Прожив в Местре несколько дней, Толстой, согласно его мемуарам, нанял в Венеции “двор” — на самом деле, русские “волонтеры” поселились общей группой в квартале православных греков, рядом с церковью Св. Георгия:

“Июня в 15 день. В городе Местре с постоялаго двора до морской пристани приехал я на тех же фурманах, которые меня везли из Вены. Та морская пролива в самом

Местре. Тут, с фурманских телег складчися, всел со всеми при мне бывшими людьми и вещми в барку и поехал к Венеции, где проехал поставленные две заставы на той проливе без осмотра, которые венецкие заставы осматривают у проезжих торговых людей заповедных товаров. На берегу той же проливы поставлена каменная каплица, то есть малая римская церковь. В той каплице стоит образ Пресвятыя Богородицы, в которую каплицу все проезжие подают милостыни по силе. И, въехав истое проливы в моря, поднял на барке парус и перебежал в Венецию zelo скоро. Место Венеция вся стоит в самом море. И, въехав в той же барке в улицу, приехал к самому тому двору, которой я нанял себе для стояния. Тот дом великой, и полат на нем много, строение каменное все, изрядное. На том же дворе и колодезь изрядной, в котором вода чистая, изрядная всегда бывает...

Итак, стольник Толстой, вместе с другими русскими «волонтерами», приехал в первый раз в Венецию 15 июня 1697 г. и находился там до 18 сентября 1697 г., обучаясь морским наукам и знакомясь с достопримечательностями. Потом общая группа была разделена на две части: одна (в нее входил Толстой и другие Милославские) осталась в Венеции и оттуда дважды ходила в учебные плавания по Адриатике; другая продолжила обучение в принадлежавшем тогда Венеции городке Пераст в Которской бухте.

В конце учебы, в октябре 1698 г., Толстой получил «свидетельствованные листы» об успехах в обучении от



Греческая церковь Святого Георгия.

его венецианских наставников — ученого священника Петра Луциана и капитана Георгия Раджи:

“Во имя Христово. Аминь. Бывают науки предивной щит людям, а особливо гонорам породным; не есть дивно, что они повинны с великою охотою прикладатися до так тяжкаго изобретения, а нижеподписанный имел явное того дела испытание; и с моею присягою подтверждаю, что подал уразумение наук математицких, теоричных и практичных, без которых никто достигнуть не может совершенной науки морской, то есть прежде учил сферы армиялярной, глобосов, небесных и земных, со всем целым

трактатом науки морской. Был моим учеником ево милость господин Петр Андреевич, дворянин московской, маестату Пресветлаго Величества Царскаго, которой со всякою усилностию трудился, и был достойный до той науки, и ныне есть обретенный, способный, и годный, и заслужены быть припущенный до порядков, принадлежащих до навтики, на волю и диспозицию каждаго беглаго в науке, что для уверения моею рукою власною подписую и означаю моею власною печатью. В Венецы, из моей школы от математики, дня 27 октября лета Господня 1698. Ксендз Петр Луцияний Венет, майстер и профессор”;

“Не есть болюаго аргументу великости добраго сердца господскаго, яко прикладатися до учиник высоких и до наук изрядных, с которыми примножается ясность фамилии высоких и честно урожденных. Таким дал познатися ево милость господин Петр Андреевич, дворянин московской, которой, будучи под моею дирекциею капитанскою, желая понять науку морскую, не толко хотел приложитися до наук теоричных, но то ж имел чинить и практикою... А, чтобы был познанный за способнаго и годнаго до того уряду, я для того чиню веру и совершенное даю свидетелство на всяком месте и во всяком времени, чтоб от всех за такоаго был познанный. И для лутчей веры тот лист нынешней обретається подписан моею власною рукою и печатан моею обыкновенною печатью. Дается дня 27-го октября 1698 года в Венецыи. Я, капитан Георгий Раджи...”

...“Посланцы царя Петра” оказались в Венеции во времена правления 109-го дожа Сильвестро Вальера, ведшего изнурительную “морейскую” войну с османами, но популярного в народе из-за своей щедрой благотворительности и любви к организации массовых праздников и зрелищ. Об одном из них подробно рассказывается в дневнике Толстого от 11 июля 1697 г.; здесь впервые в русской литературе дано описание знаменитого корабля венецианского дожа — “буцентавра”:

“Празднуют католики тот день Святому Кресту Христову. Изо всех монастырей и костелов сходятся священники, законники и мирския люди в костел святаго Марка-евангелиста с хоругвиями и со кресты. А князь венецкой в тот день ездил за проливу морскую в монастырь, где живут капуцины, и оттоле паки возвратился к дому своему морем... Ехал князь венецкой в резном золоченом карбосе с кровлею; кровля того карбоса вся обита алым бархатом, и по бархату шито золотом изрядно и зело богато. В том карбосе князь венецкой сидел в середине в креслах, перед ним стоит стол золоченой, на столе положена подушка золотная, на той подушке положен обнаженной меч... А с князем венецким в карбосе сидели посол папы римскаго по правую сторону, а по левую сторону сидел посол французской, а под ними сидели венецкие прокуратори... И как князь венецкой приехал к своему дому, и вышел ис карбоса на землю, и пошел в костел святаго Марка... Одежда на нем золотная, венецкой моды, широкая, сверх той одежды по плечам ко-

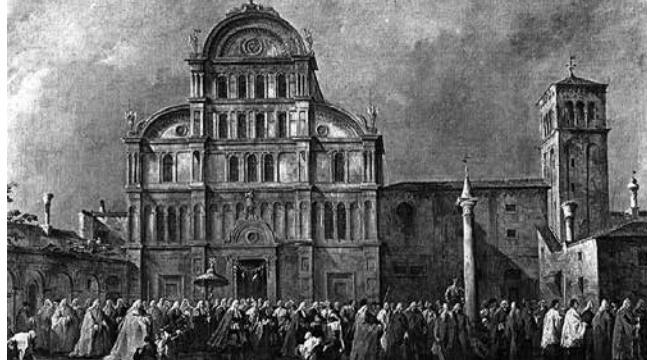


роткая епанча горностайная шерстью кверху, на голове у него шапка золотная особливою модою...

27 августа 1697 г. Толстой стал свидетелем праздника в честь пророка Захария в венецианской церкви San-Zaccaria, принадлежащей одноименному монастырю монашек-бенедиктинок. Эта церковь была построена в IX в. для хранения мощей Святого Захария (отца Иоанна Крестителя и мужа праведной Елизаветы), переданных в дар Венеции византийским императором Львом V. Учитывая авторитет монастыря, в Средние века, каждый год на Пасху, эту церковь посещал дож Венеции для вечерней молитвы (десять дождей захоронены в местной крипте). Во второй половине XV — начале XVI вв. церковь San-Zaccaria была существенно перестроена. Новое строительство началось тогда в готическом стиле под руководством Антонио Гамбелло, но после его смерти было продолжено — со второго этажа и выше — выдающимся венецианским архитектором Мауро Кодуччи. Толстой так пишет о своем посещении San-Zaccaria:

“Августа в 27 день. В монастыре девическом римской же веры был праздник по их римскому календарю 5-го числа сентября святого Захария-пророка. И в том монастыре в костеле над престолом высоко поставлен гроб, и в том гробе положены мощи святого пророка Захария, отца Предтечева, которые ево святыя мощи и я сподобился видеть все целы. И на главе ево положена шапка, как пишут на иконах древняго обыкновения священнические шапки; и покрыты мощи ево святыя покровом...”

На предыдущем развороте:
Возвращение “Буцентавра” ко Дворцу дожей.
С картины Каналетто.



Пасхальное шествие дожа в церкви Сан-Заккария.
С картины Ф. Гварди.

10 сентября 1697 г. Толстой, вместе с другими членами “венецианской группы”, отправился в учебное плавание на корабле “Святые Мария и Елизавета” под руководством опытного капитана-саянина Ивана Лазоревича. Позднее, Толстой получит от него “о науке лист, свидетельствованный за свою рукою и печатью”, в котором говорилось:

“Капитан морской карабля «Святыя Марии Елисавети» Иван Лазоревич даю знать всем и всякому особно, а паче кому надлежит ведать, что в лете 1698-м всел на мой вышеписанный карабль дворянин московской Петр Андреевич купно с салдатом Иваном Стабуриным, желая познать плавание морское в караблях и в иных судах, и был от меня учен дел морских, то есть буссола [морской компас] со всеми до него надлежностями, также карты морской, на которой значатся пути морские. Потом имел прилежание познать имена дерев, и парусов, и веревков, и всяких инструментов карабелных; и те все

вышепомянутые вещи, надлежащие до навигац... тот помянутый дворянин познал добро по обыкновению нашего моря... И, будучи тот помянутый дворянин на корабле моем во время сильных ветров и небезстрашных фортуна, прикладывался до всякаго порядку карабелнаго с прилежанием и безстрашием, показуя во время великих навалностей морских и ветров во всем быть способен. Даю свидетелство, что тот помянутый дворянин в познании ветров как на буссоле, яко и на карте, и в познании инструментов карабелных, дерев, и парусов, и веревок есть по свидетелству моему искусный и до того способный, и для лутчей веры сей лист подписую моею власною рукою и прикладаю мою печать...”

На следующий год, 29 мая 1698 г. Толстой отправился из Венеции в новое учебное плавание по Адриатике на сторожевом судне под командованием грека Ивана Карстели, которое охраняло морские границы Венеции от турок и корсаров. Спустя несколько дней, отправившись из Дубровника в Пераст, на рейде городка Капель-Нуово (ныне Херцег-Нови), недавно отвоеванного Венецией у турок, “группа Толстого” встретила вторую группу русских волонтеров (условно “группу Куракина”), обучавшихся в Перасте в школе “Наутика” у Марко Мартиновича:

“Июня в 10 день. В 6-м часу дня от города Дубровника мы на своем фрегадоне поплыли к городу, или к местечку, Перасте способным ветром, а невеликим. И, отъехав от Дубровника 10 миль итальянских, увидели на море впереди себя два судна турецких, которые называются’

фусты, на которых ездят корсары, то есть добыточники, или разбойники морские. И мы на фрегадоне своем, управя пушки к бою и всякое ружье, поворотили парусы свои прямо к тем корсарам и сошлись с ними блиско, как можно стрелять ис пушек. И те корсары поворотили от нас к берегу и, опасаяся нас, поставили у себя на фусте бандеру, то есть знамя под гербом Венецкой републики под образ святого Марка, которую бандеру мы усмотря, прошли их мимо, не стреляя по ним ис пушек, в ближнем расстоянии. А то суть обыкность курсаров турецких: когда не смеют с кем биться, тогда выставляют бандеры, или знамена, христианских знаков. Того ж числа за два часа до ночи приплыли мы под город, которой называется Каптелново; тот город Венецкой провинции, от города Дубровника 40 миль итальянских. Под тем городом наехал я своих москвичей на корабле: князя Дмитрея, князя Федора Голицыных, князя Андрея Репнина, князя Ивана Гагина, князя Юрия Хилкова, князя Бориса Куракина и иных...”

Стремясь еще более расширить свою морскую практику, Петр Толстой совершил далее уникальное плавание (на этот раз один или в составе небольшой группы) из Неаполя на Сицилию, далее на Мальту и обратно в Неаполь, в котором пережил немало приключений, подробно описанных в его “записках”. Проехав далее Рим, Флоренцию, Болонью, Феррару и Падуя, Толстой закончил свое многомесячное турне опять в Венеции, по всей видимости так и не узнав, что в те дни, когда он в конце

июля 1698 г. плыл из Сицилии в Неаполь вдоль Тирренского побережья Италии, в Венеции побывал (хотя и очень коротко) человек, ради расположения которого он и проделал свое уникальное путешествие, — царь Петр Алексеевич Романов.

112

25 октября 1698 г. Толстой получил письмо, подписанное боярином Федором Алексеевичем Головиным, вернувшимся вместе с царем Петром из “Великого посольства” в Москву. Глава Посольского приказа, по видимому симпатизировавший Толстому, сообщал, что царь приказал отозвать из Европы всех обучающихся там “волонтеров”:

“Государь мой Петр Андреевич, здравие твое да сохранил Господь вовеки, чего я истинно желаю. А о себе тебе, мой государь, известую, что за помощью Божию живу на Москве сентября в 29 день. Еще милости твоей известно чиню, что указано всем столникам, которые познали науку, быти к Москве из Венецы и из Амстердама, и, есть ли воля твоя будет, изволь ехать без опасности. Федка Головин. С Москвы, сентября в 29 день...”

Итальянское путешествие П. А. Толстого 1697–1698 гг. не сблизило его с царем Петром — это произошло много позднее, лишь после кончины влиятельного дяди царя Льва Нарышкина. В 1717 г. Толстой оказал царю важную услугу, сильно упрочившую его положение: посланный в Неаполь, где в то время скрывался царевич Алексей

Петрович (сын Евдокии Лопухиной) со своей любовницей Евфросиньей, Толстой, путем ложных обещаний, склонил его к возвращению в Россию. За деятельное участие в следствии и суде над царевичем Толстой был награжден поместьями и поставлен во главе Канцелярии тайных и розыскных дел.

113

“Дело царевича Алексея” особенно сблизило Толстого с императрицей Екатериной, в день коронавания которой, 7 мая 1724 г., он, Высочайшим указом, был возведен, “с нисходящим его потомством, в графское Российской империи достоинство”, став, таким образом, основателем графского рода Толстых.

После смерти императора Петра Толстой, вместе с Меншиковым, энергично содействовал воцарению Екатерины; он знал, что успех другого кандидата, малолетнего Петра Алексеевича (сына погибшего в застенке царевича Алексея), положил бы конец его карьере. Однако план австрийского посланника Рабутина возвести на престол Петра II, женив его на дочери Меншикова, сделал последнего противником 82-летнего Петра Толстого, который был сослан в Соловецкий монастырь, где вскоре скончался.

Незадолго до смерти на Соловках, к Толстому в одиночную камеру неожиданно принесли итальянское вино и лимоны — его бывший товарищ по поездке в Венецию, а теперь архангелогородский губернатор Андрей Измайлов решил таким образом поддержать друга, сильно рискуя карьерой.

Приложение

П. А. Толстой

114

Рождественские торжества в Венеции

Ноября в 27-й день. В костеле святого Марка в Венецы поставлен был образ Пресвятыя Богородицы на большом олтаре... Написан тот Пресвятыя Богородицы образ поясной, а Превечный Младенец написан в недрах таким подобием, как пишут образ Пресвятыя Богородицы Печерской, писмо древнее греческое. Сказывают те венециане, что тот образ писма святого Луки-евангелиста. И около тое святыя иконы множество было поставлено свеч восковых, возженных, в серебряных великих шанданех — всех их было больше 300 свеч; и между свечами поставлены были цветы изрядные в великих серебряных горшках, также и травы всякие благовонные были поставлены в горшках же. И стояла та святая икона на том месте 8 дней до 5-го числа декабря; а в те 8 дней непрестанно народ приходил в тот костел и во дни и в ночи, и никогда в те дни тот костел не запирался... Декабря в 5 день. За 2 часа до ночи была в Венецы процессия от соборнаго костела святого Марка с тою святою вышешою иконою. В той процессии народу

было много тысяч, а шли все со свечами восковыми великими и припадали к той святой богородичной иконе с великою верою и со слезами. Напреди шли певчие венецкаго князя, потом диаконы в стихарях, за ними несли тот Богородицын образ на носилках зело высоко. Под тем святым образом на тех носилках зделана великая гора серебряная на трех ступенех предивною работою и зело богато. А несли тот образ священники римские, за тем образом нес один законник в сосуде часть ризы Пресвятыя Богородицы, другой законник нес в другом сосуде несколько власов Пресвятыя ж Богородицы, за ними патриарх венецкой в сосуде нес млеко Пресвятыя Богородицы; а пред всеми теми святынями шли дьяконы с кадилами и кадили те помяненные святыни; а над теми святынями над всеми несли балдахины изрядные, золотные. С тою процессиею из церкви святого Марка выходили в южные двери, а входили в западные. Князь венецкой со всеми прокураторями в той процессии был, также кавалеры и простого народу было множество; и носили тое святую икону по площади, которая площадь пред костелом святого Марка с обе стороны... Декабря против 15-го числа в час ночи в костеле святого Марка началась вечерня, для того что у римлян по новому их календарю было в тот день 25-е число декабря, праздник Рождества Христова. И после той вечерни начали и обедню, служил тое обедню бискуп; и как тое обедню начали, в то время приступил к олтарю сам князь венецкой и стоял у олтаря на коленях, услуговал бискупу, служаще-

115

му вместо понамаря. Такой обычай у них бывает по вся годы в навечерие Рождества Христова. А в самой праздник Рождества Христова повинен всякой поп римской по закону своему отслужить 3 обедни на одном престоле и в одних сосудех. А в навечерие Рождества Христова в костеле святого Марка была музыка спеваная и играная, ие всех певаков и музыкантов было 130 человек.

*Путешествие стольника П. А. Толстого
по Европе. 1697–1699. М., Наука, с. 81–83.*

БОРИС ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ

117

БОРИС ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ (1652–1719) — военачальник, дипломат, близкий сподвижник Петра I. Генерал-фельдмаршал (1701); граф (1706). Выходец из древнего боярского рода, основоположник которого, согласно “Бархатной книге” русского дворянства, выехал в Московию в XIV в. “из прусских земель”. Прозвище “Шеремет” — татарского происхождения, буквально означает “достохвальный лев”. В первой четверти XVII в. Шереметевы содействовали восшествию и укреплению на русском престоле династии Романовых, с которой были связаны старинным родством, и стали играть важную роль в Боярской думе.

Детство и юность Бориса Шереметева прошли в Киве, где служил воеводой его отец, боярин Петр Васильевич “Большой” — один из первых русских “западников”,



Борис Петрович Шереметев.

греческий, латинский языки, в совершенстве овладел польским языком, которым пользовалась в быту украинская знать.

Государеву службу Борис Шереметев начал при царе Алексее Михайловиче: в тринадцать лет, еще будучи в Киеве, был пожалован в комнатные стольники. 1666-й год был для Руси тяжелым временем, когда православный мир готовился к пришествию Антихриста и концу света, признаки чего видели в нападении крымчаков на города южной Руси и в восстании казаков против старшин и воевод в Переяславле. В мае 1666 г. был расстрижен и предан анафеме протопоп Аввакум; произошел раскол в Русской православной церкви. В конце 1660-х гг.

который демонстративно одевался в польское платье, не носил бороды, содержал певческую капеллу и оркестр, дававший концерты для киевского дворянства.

Юный Шереметев учился в Киево-Могилянском коллегиуме с Даниилом Тупталом, будущим архиепископом Дмитрием Ростовским и Иосафом Кроковским, будущим киевским митрополитом. Изучал церковнославянский,

последовала череда смертей в семье царя Алексея Михайловича: царицы Марии, тещи Ксении Милославской, четырехлетнего царевича Симеона Алексеевича и, в довершение всех бед, наследника престола, шестнадцатилетнего Алексея Алексеевича.

22 января 1671 г. состоялась новая свадьба царя Алексея Михайловича с Натальей Нарышкиной, а 30 мая следующего года в семье государя появился на свет царевич Петр, к колыбели которого были приставлены бояре Петр Васильевич Шереметев и его двадцатилетний сын Борис.

В 1682 г., при вступлении на престол царей Иоанна и Петра, Борис Шереметев, с одобрения регентши Софьи Алексеевны, искавшей поддержки родовой знати, был пожалован в боярство; продолжилась его карьера как дипломата и военачальника. Однако личная неприязнь между Шереметевыми и Голицыными (лидером которых был фаворит Софьи, князь Василий) сблизила Шереметевых с семьей второй жены покойного царя Алексея — Нарышкиными и их ставленником на московское царство — юным Петром Алексеевичем Романовым.

Весной 1697 г. молодой царь Петр I, тайно, под именем “Петра Михайлова”, отправился в Европу “северным маршрутом” в составе “Великого посольства”, призванного укрепить союз христианских государств против Оттоманской Порты. Три месяца спустя, в Европу, но “южным маршрутом”, отправился 45-летний Борис Петрович Шереметев. По мнению историков, посылая

Шереметева в Европу как частное лицо, не обладавшее дипломатическим статусом, Петр I проводил “разведку”, ибо путь известного в Европе родовитого московского боярина лежал по тем странам, которые позднее намеревался посетить русский царь.

Официально Шереметев направлялся в Рим “на богомолье”, чтобы выполнить обет — поклониться своим небесным покровителям, святым апостолам Петру и Павлу. В подписанном царем Петром Алексеевичем “путевом листе” от 25 апреля 1697 г. говорилось:

“По нашему, царского величества, указу отпущен ближний наш боярин и наместник вятский Борис Петрович Шереметев по его охоте в Италию, в Рим и в Венецию для видения тамошних стран и государств...”

Однако конфиденциальные царские грамоты, которые Шереметев вез польскому королю, австрийскому императору, венецианскому дожу, папе римскому, великому магистру Мальтийского ордена, великому герцогу Тосканскому, превращали его, несомненно, в “государева посла”.

22 июня 1697 г. Шереметев выехал из Москвы в составе группы из 12 человек. В его ближайшую свиту входили: Алексей Курбатов, “дворецкий”, иногда представлявший при иностранных дворах от имени и под видом Шереметева (позднее выдвинувшийся как крупный российский администратор и финансист); Иосиф Пешковский, духовный чин, занимавшийся переводами и составлением официальных бумаг; дворянин

Герасим Головцын, близкий к Шереметеву по военным походам, отвечавший в путешествии за боярскую казну, оплату дорожных расходов, покупку товаров, расчеты за гостиницы, наемные экипажи, морские суда, провизию и другие траты. Позднее, на основании путевых записей Головцына и Курбатова, дьяк Петр Артемьев составил официальные материалы поездки, ставшие известными как “Записка путешествия графа Шереметева”.

Для достижения политических целей посланец русского царя неоднократно прибегал к хитростям и мистификациям. В Польше, где профранцузская партия не признавала власти русского ставленника короля Августа II, Шереметев принужден был скрывать свое имя, назвался русским “ротмистром Романом”, переменил платье, имел общий стол со свитой, в то время как Алексеем Курбатов представлял первое лицо.

В Вене Шереметева опекал иезуитский священник Фридрих Вольф, имевший, судя по всему, задание от своего руководства в Риме. В письме к генералу иезуитов Тирусу Гонзальцу Санталле Вольф сообщал:

“В Рим приедет московский генералиссимус по имени Борис Петрович Шереметев, человек находящийся в высшем почете у своих. И хотя он схизматик, но все-таки весьма сведущ в Божественных делах. Он выказал мне большое доверие и весьма близок к Божию царству и обращению в католицизм. Он может быть апостолом в Московии, но все это должно сохраниться в высшей тайне. Постарайтесь, отче, чтобы наши оказали ему вся-



кую честь, и чтобы Святейший отец обращался с ним с благословением. Было бы всего лучше, если бы там был отец, знающий по-славянски, который часто посещал бы его, беседуя с ним о Божественных делах. Есть большая надежда, но это под секретом, обратить его в унию..”

Отправившись из Вены, Шереметев со спутниками с трудом продвигался — через альпийские городки Клагенфурт, Филлах и Арнольдштайн к границе Священной Римской империи и Венецианской республики. Зимняя дорога в горах была чрезвычайно трудна и опасна, о чем свидетельствует дневник путешествия: “снег выпал превеликий” (14 января); “ехать было на телегах невозможно, наняли лошадей и сани” (15 января); “ехали две мили весь день” (16 января); “ехали весь день превеликими снегами одну милю” (17 января) и т.д.

В приграничном итальянском городке Понтебба (Понтафель) пришлось задержаться из-за снежной бури до 27 января. Когда же путники решили продолжить путь, “с гор великие снега опали, и дорогу завалило, и людей три человека едва не до смерти подавило...”. Свита Шереметева с носильщиками принуждена была вернуться в Понтеббу, а сам боярин, мечтавший во что бы то ни стало увидеть в Венеции знаменитый карнавал, принял решение оставить основную группу и пробиваться на юг пешком с ближайшими соратниками — Курбатовым и Головцыным:

“Пошел пеш чрез те великие горы и чрез те великие опалые с гор сугробы. И шли они с великою трудностью

и опасностью от снега с гор верст с семь, и ночевали в деревнишке Дона, в которой и есть добыть не могли..”

31 января 1698 г., спустившись на равнину, Шереметев, не дожидаясь основной группы, без промедления — через венецианские городки Жемона, Сан-Даниеле, Парденоне, Сачиле, Конельяно, Тревизо и Местре — поспешил в Венецию.

Инкогнито Шереметева, успевшего поучаствовать в карнавале, было быстро раскрыто. Венецианский репортер выходившего в Амстердаме журнала “Европейский Меркурий” сообщал читателям:

“Открытие карнавала привлекло сюда, в Венецию, множество иностранцев и лиц высшего сословия... Московский генерал Шеремет... умножил наконец собою это число. Он намеревался осматривать главнейшие города в Италии, по примеру других московских господ, живущих с некоторого времени за счет святейшего отца в Риме, где им, как и везде в других местах, были оказаны чрезвычайные почести, так что не было никаких празднеств, где бы они не присутствовали..”

Пробыв в охваченной карнавалом Венеции лишь сутки, Шереметев вернулся в прибрежный городок Местре. В “Дневнике путешествия” на этот счет говорится:

“Февраля 3 числа боярин, быв в Венеции тайно, приехал в Местру и прислал в Венецию о приезде своем письмо к братьям своим. И того ж числа перед вечером приезжали из Венеции к боярину князь Петр Алексеевич Голицын, Михайло Афанасьевич Матюшкин, Василий

На предыдущем развороте:

Главный вход в венецианский Арсенал. С картины М. Мариески.

Петрович и Владимир Петрович Шереметевы, меньшие братья его родные”.

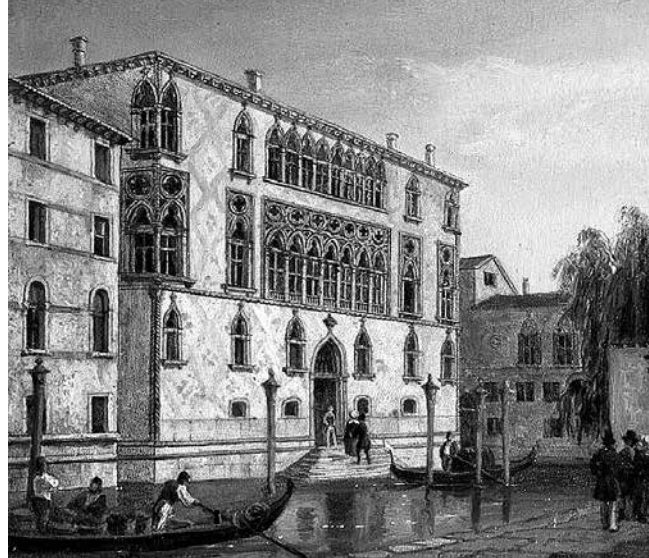
4 февраля 1698 г. Шереметев послал в Венецию своего дворецкого Курбатова с важным заданием:

“Февраля 4 числа изволил боярин посылать в Венецию с переводчиком маршалка своего Алексея Курбатова, обвестить князю венецианскому о приезде своем и подать великого государя грамоту. И ту великого государя грамоту приняли в канцелярию сенаторов, наивышший прокуратор со товарищи. А князь, или дож, в то время был болен...”

В отправленной в Венецию с Курбатовым “грамоте” царя Петра на имя правившего в Венеции с 1694 г. дожа Сильвестро Вальера говорилось:

“Божиею милостию мы, пресветлейший и державнейший великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич [далее следуют многочисленные титулы русского царя] Пресветлейшему и вельможному князю и господину Силвестру Валерию, Божиею милостию герцогу владительства Венецианского, и всему сенату венецианскому наше, царского величества, благоприятствованное поздравление...”

5 февраля 1698 г. на барке по морю русские путешественники прибыли в Венецию и стали на “наемном дворе” на Большом канале. Согласно местному обычаю встречи знатных гостей, “на двор” Шереметева было прислано угощение, состоявшее из 180 блюд сладостей и 60 флаг различных вин.



Палаццо Дона-Джиованнелли в районе Каннареджио, где Б. П. Шереметев вел переговоры с прокуратором Венеции Дж.-Б. Доной.

В Венеции Шереметев повел переговоры с одним из самых авторитетных политиков Венеции, первым сенатором Джованни Баттиста Доной, работавшим ранее венецианским послом в Константинополе и опубликовавшим в Венеции в 1688 г. переведенный с турецкого отчет о русско-турецких войнах. Дона служил главой венецианского монетного двора, главным администратором Арсенала, руководил составлением законов. Жил Джованни Дона жил в своем Палаццо Дона-Джиованнелли в районе Каннареджио (в приходе церкви Санта Фоска на берегу Рио ди Ноале и Рио ди Фоска), куда неоднократно приглашал Шереметева для бесед.



Зал Большого Совета во Дворце дождей. С картины Й. Хайнца-мл.

21 марта 1898 г. русская делегация — через Феррару, Болонью, Фаэнцу, Пезаро и Сполето — прибыла в Рим, где папа Иннокентий XII оказал послу московского царя редкую честь: *“не велел отбирать у него шапки и шляпы при входе в аудиенц-залу, принял сам из рук его привезенные им грамоты, выхвалял мужественные его подвиги против неприятелей Святого Креста и допустил к своей руке, а сам поцеловал его в голову”*. На другой день

Шереметев, в свою очередь, *“препроводил к Первосвященнику соболье одеяло в девятьсот рублей, две драгоценные парчи и пять сороков горностаев”*. Перед выездом русских из Рима, Иннокентий прислал Шереметеву золотой крест, вмещавший частицу дерева животворящего Креста Господня.

Далее Шереметев со свитой — через Террачину и Капую — продолжили путь на Неаполь, откуда морем отправились двумя кораблями на Мальту. 2 мая 1698 г. Шереметев был торжественно встречен мальтийскими рыцарями в Валетте и имел переговоры с Великим магистром Раймундом Переллос-Рокафуллом, наградившего посла русского царя Мальтийским крестом.

22 мая русская делегация вернулась морем в Неаполь, откуда Шереметев ездил на побережье Адриатики в Бари на поклонение святым мощам Святителя Николая Чудотворца. 11 июня Шереметев снова был в Риме, виделся с Папою (у которого получил ответные грамоты русскому царю и австрийскому императору Леопольду) и 15 июня выехал в обратный путь на север во Флоренцию. Проведя в столице Тосканы переговоры с Великим герцогом Козимо III, русская делегация выехала в Венецию, где собралось к тому времени немало русских в ожидании царя Петра Алексеевича, путешествовавшего по Европе в составе “Великого посольства”.

По-видимому, именно по заданию царя Петра, который лишь на двое суток сумел инкогнито захватить в Венецию в конце июля, Шереметев задержался там до 10

августа, потом почти месяц вел переговоры в Вене, где император Леопольд I *“слушал с любопытством рассказ Бориса Петровича, в особенности, об Италии и Мальте; желал, чтобы полученный им орденский знак поощрил его к новым подвигам, полезным для всего христианства”*.

Побывав затем в польских землях и Киеве, Шереметев возвратился в Москву лишь 10 февраля 1899 г., представ перед царем Петром *“в немецком платье, с Мальтийским командорственным крестом и драгоценной шпагою”*. После этого царь приказал записать во всех официальных бумагах, касаемых Шереметева, что *“титло его, сверх боярского достоинства, еще получило приращение, и как в Боярской Книге, в Росписях и других бумагах, так и сам бы он писался: Боярин и Военный свидетельствованный Мальтийский Кавалер”*.

ДЕНИС ИВАНОВИЧ ФОНВИЗИН

131

ДЕНИС Иванович Фонвизин (14.04.1745, Москва — 12.12.1792, Санкт-Петербург) — драматург, публицист, дипломат. Выходец из старинного дворянского рода: его предок, барон Петр фон Визин, рыцарь-меченосец, был при Иване Грозном взят в плен во время Ливонской войны, а затем перешел на русскую службу. В XVII в. Фонвизины сменили лютеранство на православие и с годами полностью обрусели (Пушкин называл Фонвизина “русским из прерусских”).

Уже состоявшийся как переводчик и драматург, Д. И. Фонвизин в 1769 г. стал ближайшим сотрудником главы русского дипломатического ведомства графа Никиты Ивановича Панина и по его поручению участво-



Денис Иванович
Фонвизин.

вал в нескольких дипломатических миссиях в Европу. Со временем он стал признанным знатоком европейской культуры и в партнерстве с немецким негодантом Германом Клостерманом снабжал предметами западного искусства императрицу Екатерину II, наследника Павла Петровича, семейство графов Паниных и других русских аристократов.

Клостерман дал такую характеристику своему старшему другу и деловому партнеру:

“В комическом роде он, может быть, первый писатель в России, и его не без основания называют Русским Мольером... Фонвизин отличался живою фантазией, тонкою насмешливостью, умением быстро подметить смешную сторону и с поразительною верностью представить ее в лицах; от этого беседа его была необыкновенно приятна и весела, и общество оживлялось его присутствием. С высокими качествами ума соединял он самое задушевное простосердечие и веселонравие, которые сохранял даже в самых роковых случаях беспокойной своей жизни...”

После кончины графа Никиты Панина Фонвизин, ставший к тому времени состоятельным человеком,

вышел с большой пенсией в отставку и, с намерением поправить здоровье и пополнить художественные коллекции, в 1784 г. в очередной раз отправился в Европу, поручив заботу о своей недвижимости в России Клостерману. Согласно воспоминаниям последнего,

“после того как дела приведены были в порядок, Фонвизин в сопровождении супруги своей отправился за границу, запасшись паспортом, множеством рекомендательных писем, тысячью червонцев чистыми деньгами, десятью тысячами Голландских гульденов, и векселями от здешнего торгового дома братьев Ливио. Он поехал на Ригу, Кенигсберг и т.д. и достиг, ни в чем себе не отказывая и наслаждаясь путешествием, цели своих желаний — прекрасной Италии. Он располагал пожить в этом саду Европы и хотел выбрать местом пребывания Ниццу или Пизу, с тем, чтобы в прекрасном климате лечиться купаньем...”

Верной спутницей Фонвизина в путешествии в Италию стала жена Екатерина Ивановна (урожденная Роговикова, по первому мужу — Хлопова), которая, будучи дочерью богатого купца, сама имела вкус к искусствам и хорошую деловую хватку.

Побывав в Германии и Австрии, Фонвизины, через альпийский перевал Бреннен, переправились в Италию. Первым итальянским городом на их пути, находившемся тогда под властью Австрии, был Больцано, при описании которого Фонвизин не скрывает предвзятости, вызванной, по-видимому, как свойствами характера

(Герцен потом говорил о “пропитанности” Фонвизина “демоническим сарказмом”), так и болезненным состоянием:

134

“Сей город окружен горами, и положение его нимало не приятно, потому что он лежит в яме. Жителей в нем половина немцев, а другая итальянцев. Народ говорит больше по-итальянски. Образ жизни итальянский, то есть весьма много свинства. Полы каменные и грязные; белье мерзкое; хлеб, какого у нас не едят нищие; чистая их вода то, что у нас помои. Словом, мы, увидя сие преддверие Италии, оробели”.

Увы, ни один итальянский город не удостоился у Фонвизина доброй характеристики: *“Театр адский: он построен без полу и на сыром месте. В две минуты комары меня растерзали, и я после первой сцены выбежал из него как бешеный”* (о театре в Больцано); *“в самом лучшем трактире вонь, нечистота, мерзость все чувства наши размучили. Мы весь вечер горевали, что захали к скотам”* (о гостинице в Тренто); *“неизреченная мерзость, вонь, сырость; я думаю, не одна сотня скорпионов была в постели, на которой нам спать доставалось. О! bestia Italiana!”* (о гостинице в Воларни); *“Город многолюдный и, как все итальянские города, не провонялый, но прокислый. Везде пахнет прокислою капустою. С непривычки я много мучился, удерживаясь от рвоты. Вонь происходит от гнилого винограда, который держат в погребях; а погреб у всякого дома на улице, и окна отворены...”* (о Вероне) и т.п.

Впрочем, глубже вникая в итальянскую жизнь, Фонвизин иногда решался и на более серьезные обобщения:

135

“Весь день в Вероне (входившей тогда в состав Венецианской республики. — А.К.) наслаждались мы зрением прекрасных картин и оскорблялись на каждом почти шагу встречающимися нищими. На лицах их написано страдание и изнеможенно крайней нищеты; а особливо старики почти наги, высохшие от голоду и мучимые обыкновенно какою-нибудь отвратительною болезнью. Не знаю, как будет далее, но Верона весьма способна возбуждать сострадание. Не понимаю, за что хвалят венецианское правление, когда на земле плодоноснейшей народ терпит голод. Мы в жизни нашей не только не едали, даже и не видали такого мерзкого хлеба, какой ели в Вероне и какой все знатнейшие люди едят. Причиною тому алчность правителей. В домах печь хлебы запрещено, а хлебники платят полиции за позволение мешать сносную муку с прескверною, не говоря уже о том, что печь хлебы не смыслят. Всего досаднее то, что на сие злоупотребление никому и роптать нельзя, потому что малейшее негодование на правительство венецианское наказывается очень строго...”

Весной 1785 г. путешественники достигли, наконец, Венеции. Фонвизин оставил весьма нелестные заметки о тогдашнем состоянии Венецианской республики:

“Завтра будет ровно три месяца, как мы Рим оставили, и, кроме мерзких трактиров, ничем обеспокоены не

были. Везде смирно, никто не грабит, а все милостынно просят. Ни плодороднее земли, ни голоднее народа я не знаю. Италия доказывает, что в дурном правлении, при всём изобилии плодов земных, можно быть прежалкими нищими. Теперь въезжаем в Венецианскую область, где доброго хлеба найти нельзя. И нищие, и знатные едят такой хлеб, которого у нас собаки есть не станут. Все-му причиною дурное правление. Ни в деревнях сельского устройства, ни в городах никакой полиции нет: всяк делает, что хочет, не боясь правления. Удивительно, как всё ещё по сию пору держится и как сами люди друг друга ещё не истребили. Если б у нас было такое попущение, какое здесь, я уверен, что беспорядок был бы еще ужаснее. Я думаю, что итальянцы привыкли к неустройству так сильно, что оно жестоких следствий уже не производит и что самовольство само собою со временем угомонилось и силу свою потеряло...”

Письмо сестре от 21 мая 1785 г. из Венеции

Впечатление от самого “города на воде”, где Фонвизин с женой пробыли несколько дней в конце мая 1785 г., также осталось негативным. В письмах сестре из Венеции Фонвизин акцентировал внимание на “безмерной печальности” и “погребальном виде” некогда великого города. Это настроение во многом усугублялось приступами тяжелой болезни, давшей о себе знать во время итальянского путешествия и приведшей вскорости Фонвизина к частичному параличу:

“Разъезжая по Венеции, представляешь погребение, тем наипаче, что сии гондолы на гроб похожи и итальянцы ездят в них лёжа. Жары, соединяясь с претрашною вонью из каналов, так несносны, что мы больше двух дней ещё здесь не пробудем...”

Письмо сестре от 28 мая 1785 г. из Венеции

СЕМЕН РОМАНОВИЧ
И
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
ВОРОНЦОВЫ

138

СЕМЕН Романович Воронцов (15.06.1744, Санкт-Петербург — 9.07.1832, Лондон) — дипломат, военный; в 1783–1784 гг. посланник императрицы Екатерины II в Венеции. Брат княгини Е. Р. Воронцовой-Дашковой и канцлера А. Р. Воронцова.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА Воронцова (1761, Санкт-Петербург — 15.08.1784, Пиза), фрейлина Екатерины II, дочь адмирала А. Н. Сенявина.
Род Воронцовых ведет происхождение от легендарного Шимона Африкановича, выехавшего в Киев “из норвежских земель” около 1027 г. С середины xv в. Воронцовы служили московским государям воево-



Сергей Романович и Екатерина Алексеевна Воронцовы.

139

дами, стольниками, окольныхчими. Новое возвышение Воронцовых произошло в середине xviii в., благодаря ближайшему сподвижнику императрицы Елизаветы Петровны, графу М. И. Воронцову.

Семен Романович Воронцов в августе 1781 г. женился на любимой фрейлине императрицы Екатерины II, Екатерине Сенявиной из прославленного рода русских адмиралов. В мае 1782 г. у Воронцовых родился первенец — сын Михаил, крестной матерью которого стала сама императрица.

...1782-й год ознаменовался кардинальными изменениями в российской внешней политике. Престарелый

канцлер, граф Н. И. Панин, начал отходить от дел, а новое руководство Коллегии иностранных дел, выполняющая волю императрицы, начало сближение с Австрией, оказывавшей решающее влияние на определение геополитических приоритетов большинства итальянских государств, в том числе Венецианской республики дожей.

В начале 1782 г. в Венеции, а потом в других городах Италии побывал сын императрицы Екатерины II, наследник-цесаревич Павел Петрович, путешествовавший по Европе с супругой под именами “графа и графини Северных”. Знатных гостей поселили тогда в старинном отеле “Leon Blanco” на Большом канале, находящемся в палаццо Ca da Mosto; в течение нескольких дней цесаревич принимал участие в нескончаемой череде официальных приемов и увеселений.

В конце 1782 г. императрица Екатерина II приняла решение о назначении Семена Романовича Воронцова на вновь учрежденное место — чрезвычайного посланника в Венецианской республике. Свою роль в этом назначении сыграло и то обстоятельство, что супругой будущего посла в Венеции, “царице морей”, была дочь прославленного адмирала, героя русско-турецких войн Алексея Наумовича Сенявина.

Организацию русского посольства в Венеции пришлось начинать буквально с нуля. Воронцов в одном из писем задавался вопросом:

“Как завестись домом, не имея, что называется, ни ложки, ни плошки; как везти младенца, которого я здесь



Вилла Маравеге — здание первого русского посольства
(в наши дни — отель “Академия”).

(в России) ни за что не оставляю? Одним словом, милость велика, но хлопот еще более, так что я совсем теряюсь...”

В те дни посол Воронцов просил отца — наместника во Владимире — “ссудить его столовым серебром, иначе в Венеции придется давать обеды на фаянсовой посуде, что в чужих краях не только министры или дворяне, но и среднего состояния купцы не делают”. Отец передал тогда Семену Воронцову один из семейных серебряных сервизов.

Для русской дипломатической миссии в Венеции была арендована Villa Maravege — красивое здание

xvii в. с обширным садом, расположенное в районе Dog-soduro, в конце набережной Calle Bollani, там, где Rio San Trovaso и Rio Toletta сходятся у входа в Большой канал. Посольский дом, однако, требовал большого ремонта, что было непросто сделать в дряхлеющем городе. (Здание первого русского посольства в Венеции сохранилось: в настоящее время здесь располагается отель-пансион Accademia — Villa Maravege.)

Свою первую зиму 1783–1784 г. в Венеции супруги Воронцовы прожили в здании, *“имевшем только одни стены, без двойных рам в окнах и труб в комнатах”*. В те месяцы венецианские каналы были скованы льдом, и небывалые в Венеции холода пагубно сказались на здоровье графини: той зимой она почувствовала первые приступы рокового недуга — чахотки.

Несмотря на трудности, Воронцовы озаботились созданием в Венеции первого русского храма. Первоначально он расположился в одном из помещений посольства и был освящен во имя святых апостолов Петра и Павла. Вскоре был назначен и настоятель — иеромонах Иустин (Федоров). 26 июня 1784 г. Воронцов сообщал русскому вице-канцлеру графу Остерману, что ждет перевода денег на сооружение иконостаса, поскольку пока *“занял у греков несколько образов”*. По словам Воронцова, *“священник наш знает совершенно по-гречески, и, будучи весьма честного и скромного поведения, заслужил любовь и почтение от всех наш закон исповедующих...”*

Для поправления здоровья Екатерины Алексеевны



Интерьер греческой церкви Святого Георгия.

Воронцовы с маленьким сыном Михаилом (будущим выдающимся полководцем и государственным деятелем) и рожденной в Венеции дочерью Екатериной переселились на некоторое время в Пизу, в надежде, что более мягкий климат принесёт пользу, но все старания оказались тщетными: 25 августа 1784 г. графиня Воронцова скончалась. Ее тело в свинцовом гробу было пере-

правлено из Пизы в Венецию и захоронено в греческой церкви Св. Георгия, у левого клироса.

Заветной мечтой графа Воронцова было перевезти прах жены в Россию и перезахоронить в родовом имении Мурино под Санкт-Петербургом, в церкви святой великомученицы Екатерины, построенной в 1786 г. по проекту архитектора Н. А. Львова. Однако воле графа не суждено было осуществиться: назначенный русским послом в Лондон, он умер и был похоронен в Англии. Однако в Венеции, в городе последнего упокоения графини Екатерины Алексеевны, Семен Романович Воронцов положил капитал на ежегодное проведение в день ее кончины православной панихиды.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

И

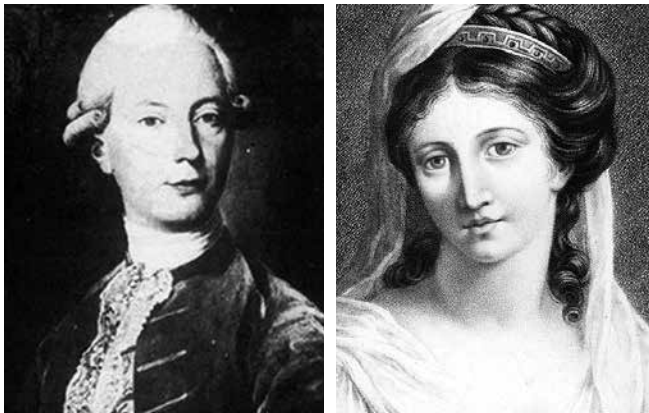
ВАРВАРА - ЮЛИЯ

КРИДЕНЕРЫ

145

АЛЕКСЕЙ Иванович Криденер (13.06.1746, Либава — 2.06.1802, Берлин) — дипломат, тайный советник. В 1784–1786 гг. посланник Российской империи при 119-м, предпоследнем доже Венеции Паоло Реньере.

ВАРВАРА-Юлия Криденер урожденная Фитингоф (11.11.1764, Рига — 13.12.1824, Карасубазар, Крым) — писательница, проповедница мистического христианства. Род баронов фон Криденеров восходит к XIII в. Барон Алексей Криденер, сын полковника шведской армии, перешедшего на российскую службу, окончил факультет права Лейпцигского университета. Начал



Алексей Иванович и Варвара-Юлия Криденеры.

146

дипломатическую карьеру в должности атташе русской миссии в Мадриде. Служил советником посольства, затем русским посланником в Курляндском герцогстве, выполняя задание императрицы Екатерины II готовить присоединение Курляндии к России (это произошло в 1795 г. в результате “третьего раздела Польши”).

В 1782 г. в Риге тридцатилетний А. И. Криденер женился третьим браком на 18-летней Варваре-Юлии фон Фитингоф, дочери ливонского магната и масона-просветителя И. Ф. Фитингофа и внучке фельдмаршала Х. А. Миниха. В 1784 г. барон Криденер был назначен Ека-

териной II русским посланником в Республику дожей и прибыл с молодой женой в Венецию, в дом русского посольства Villa Maravege.

В те два года, что барон Алексей Криденер находился во главе русского представительства в Венеции, Республика дожей находилась в состоянии явного упадка — через несколько лет она будет покорена Наполеоном Бонапартом. В 1785–1786 гг. некогда прославленный венецианский флот в последний раз участвовал в военных действиях, подвергнув бомбардировке, под командованием адмирала Анджело Эмо, убежища пиратов в некоторых портах Северной Африки.

Однако в те самые месяцы, в доме русского посольства в Венеции, произошла история, оказавшаяся значимой для европейской, и в том числе для русской литературы. Молодой секретарь посла Криденера, Александр Стахийев, влюбился в жену барона. Не в силах ни побороть свое чувство, ни объяснить с возлюбленной, Стахийев решил бежать из Венеции. Позднее он написал Криденеру покаянное письмо, был прощен и продолжил дипломатическую карьеру при бароне в Дании и Испании. Что касается долгое время ничего не подозревавшей юной баронессы Криденер, то, будучи почти на двадцать лет моложе мужа, она проводила время в Венеции в светских развлечениях. Позднее она прославилась в качестве писательницы и религиозной деятельницы, имела большое влияние на мистически настроенного российского императора Александра I — многие даже

147

приписывали ей идею “Священного союза” держав-победительниц Наполеона.

Особую популярность баронессе Криденер принес написанный во Франции сентиментальный роман “Валери”, где она в литературной форме, но достаточно прозрачно пересказала историю, случившуюся в Венеции на вилле Маравеге.

...Почти сорокалетний шведский граф, отправленный посланником в Венецию, берет с собой молодого Густава де Линара, которому дипломат заменил отца. В Венеции Густав влюбляется в 16-летнюю жену графа — Валери, и подробно излагает все этапы развития этого чувства в письмах к своему другу Эрнесту. Измученный любовью и невозможностью в ней признаться ни Валери, ни приемному отцу, Густав в смятении уезжает из Венеции в горную деревушку в Ломбардии. Эрнест, опасаясь за жизнь Густава, решает написать графу, приложив к своему письму все письма влюбленного. Граф, преисполненный сочувствия, приезжает к уже безнадежно больному Густаву, который умирает у него на руках...

Удивительно, но сентиментальное “венецианское” сочинение баронессы Криденер получило прямые отголоски в таком шедевре русской литературы, как “Евгений Онегин” А. С. Пушкина. Воображение юной Татьяны, как известно, преследовали “Вольмар, Малек-Адель и де Линар” — литературные объекты идеальных девичьих влюбленностей. Онегин, как мы помним, сначала писал Татьяне, что любит ее “любовью брата” — почти

так же, как литературный Густав тщетно пытался любить Валери. И, подобно Густаву, Онегин потом теряет силы от любовной печали, отрешенно напевая при этом “Benedetta” — венецианскую баркаролу; врачи “хором шлют его на воды” — точно так же и литературный Густав, заболевший от всех переживаний чахоткой, собирался “на воды в Пизу”.

В некотором смысле и пушкинская Татьяна сравнивается поэтом с героиней “Валери”. Владимир Набоков как-то заметил близость строк из письма Татьяны к Онегину: *“Но вы, к моей несчастной доле, / Хоть каплю жалости храня, / Вы не оставите меня...”* и начальных фраз из прощального письма Густава к Валери: *“Вы не откажете мне в жалости, вы прочтете мое письмо без гнева...”*

Вспомним и то, что несчастный Ленский был “похоронен” Пушкиным в уединенном месте, где *“две сосны корнями срослись, / под ними струйки извились / ручья соседственной долины...”*. Точно так же и литературный Густав де Линар, в сочинении жены русского посланника в Венеции баронессы Криденер, в качестве места последнего упокоения выбирает “холм, покрытый высокими соснами, среди которых бьет источник...”

...В 50-х годах уже XIX-го столетия владевшая виллой Maravege венецианская семья Салмазо организовала в историческом здании отель-пансион, названный по имени расположенных неподалеку галереи Accademia и одноименного моста через Большой Канал. В конце

декабря 1972 г., в дни католического Рождества, именно здесь, в пансионе “Accademia — Villa Maravege”, неделю прожил впервые приехавший в Венецию поэт-эмигрант, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский. Увы, он, по-видимому, так и не узнал о богатой истории дома, ставшего его первым венецианским пристанищем...

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ПОГОДИН

151

Михаил Петрович Погодин (11.11.1800, Москва — 8.12.1875, Москва) — историк, журналист, издатель. Специалист в области русской и славянской истории. Профессор Московского университета, с 1841 г. — академик. В 1827–1830 гг. издавал журнал “Московский вестник”, в 1844–1856 гг. — журнал “Москвитянин” (вместе с С. П. Шевыревым). По своим общественно-политическим взглядам был близок к славянофильскому направлению.

Зимой 1939 г. отправился с женой в большое заграничное путешествие, которое подробно описал в четырех выпусках дневниковых записей “Год в чужих краях” (М., 1844). В санной повозке добирались до Варшавы; от туда дилижансом через Вену до Триеста. Имея главной целью Рим, собирались плыть в Анкону, однако парохо-



Михаил Петрович Погодин.

дов не было, и они решили ехать через Венецию, находившуюся тогда под австрийским владычеством.

Погодины приехали в Венецию 27 февраля 1839 г. и остановились поначалу в дорогом отеле “Danieli” на набережной Скьявони рядом с Мостом Вздохов и Дворцом Дожей.

Погодин: *“По мраморным лестницам, через огромные залы, увешанные картинами в раззолоченных рамах, добрались мы до своей каморки, чуть не тюремной, по крайней мере очень темной, окнами во двор, т. е. тесную площадку между четырьмя внутренними стенами четвероугольного дома. И за эту сибирку не берут меньше 5 фр. в день. Спросили кофе, ждали больше часу и наконец-то получили каких-то помой, которых не было силы пить, несмотря на голод, а надо заплатить три франка. За гондолу спрашивают в день 7, лон-лакей <проводжатый-гид> требует 5. Да это просто ужас, нас ограбят, да и только, особенно без языка. Решились ехать тотчас в Рим, выучиться сперва говорить по-итальянски и на возвратном пути заехать опять в Венецию”.*

Однако почтовая гондола и далее дилижанс на Рим отходили только через четыре дня, и Погодины решили для экономии средств сменить жилье и переехали на частную квартиру — к некоему “немецкому тирольцу Груберу”.

Погодин: *“Улица похожа на коридор; какова должна быть сырость в домах; солнце не проникает почти никогда. Немец кажется простаком и добряком. Он отдал*

нам комнату, которая, впрочем, вся занята была одной кроватью, похожей на гору, с узенькими, зато мраморными удолиями по сторонам по 1 р. 50 коп. в день. Повернуться негде; но нам и не нужно больше, потому что весь день будем ходить по городу”.

154

Особое впечатление произвело плавание по Большому каналу:

“Покатались по *Canale grande*... Плавание очаровательное! По обеим сторонам возвышаются из воды огромные, великолепные чертоги венецианских вельможей — мраморные балконы, гранитные лестницы, крыльца. Что за архитектура! Один другого величественнее. Какое разнообразие! Палладио, Сансовино, Лонгена трудились над ними. Памятники многих веков. Несколько минут продолжалось мое очарование, которое сменилось грустью, тяжелой грустью: все эти чертоги опустели, запущены, необитаемы. Окна заколочены, стекла разбиты, есть двери выломанные, из многого на длинном шесте видишь вывешенное белье, которое сушится, — бедный след жизни; кое-где изредка мелькает человеческое лицо; кое-где по великолепному балкону прохаживается оборванный нищий или сидит за работою согбенная старуха. Несчастные чертоги стоят какими-то гробами поваленными и только напоминают страннику о древнем мимопрошедшем величии города. Чей это палаццо? Фоскари. А это? Пезаро... Вендрамини, Гримани, Мочениго. Все гордые аристократы венецианские, которые предписывали законы царям

и народам, вымерли, разорились, уничтожены. Я припомнил со скорбью историю этих знаменитых фамилий. И готов был плакать. Куда все девалось?.. И правду сказать: на месте такого могущества, такой славы, такого богатства, гордости увидеть такую нищету, уничтожение... Еще если б пропало все, а то нет: здания великолепные стоят как прежде и составляют одно обширное кладбище с надгробными монументами...”

155

Во время плавания по каналу Погодин часто вспоминал о Пушкине и скорбел, что тому так и не удалось повидать чужие края: “Несчастье русской литературы!”

Обедали Погодины на террасе гостиницы “Европа” (на берегу Большого канала) по три франка с человека:

“Общество отборное, но очень скучное. Англичане молчали. Стол незавиден. Вид на море прелестный”.

Ходили в знаменитый театр “Фениче” слушать оперу “Ламмермурская невеста”; в перерыве, как принято, давали балетные отрывки. Отмечая простоту нравов, царящую в зале (на это обращали внимание и многие другие русские мемуаристы), Погодин записал в дневнике:

“Что сказали бы московские наблюдатели приличий, увидя меня с женой в театре среди такой сволочи? А нам что за дело: мы слышали прекрасную музыку, мы видели прекрасный балет, подметили две-три черты национальные и заплатили дешево... говори, кому что угодно”.

Часто гуляя по центральной в Венеции “Славянской набережной” (*Riva degli Schiavoni*), Погодин, тяготев-

ший к русским славянофилам, увлекся идеей о том, что Венецию (как, впрочем, и многое другое в истории) создали именно славяне:

“И мне вообразились эти (славянские?) изгнанники, которые в ужасе бежали от меча Аттилина, остановились посередине моря и принялись наколачивать сваи в зыбучую почву, чтоб приткнуться к ней свои переносные гнезда, из которых образовалась могущественная, богатая, высокомерная, предприимчивая Венеция. Думали ли они, что закладывают Венецию! Что за народ славяне: на севере они уступили всю торговлю ганзейцам, а на юге итальянцам и скрылись под чужими именами. Не слышать и не видеть, так что насилу отыщешь... Что ни прививалось к славянскому дереву, все принималось, процветало, давало обильный плод; оставаясь одно, оно везде засыхало, погибало — в Богемии, Польше, Иллирии, Болгарии; лишь Россия высится высоко, углубляется глубоко и простирает далеко, яко же кокошь, свои могучие крылья”.

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ АННЕНКОВ

157

Павел Васильевич Анненков (18.06.1812, Москва — 8.03.1887, Дрезден) — литературный критик, мемуарист. Посетил Венецию во время заграничного путешествия 1840–1841 гг. Добравшись морем через Кронштадт и Травемюнде до Германии, он почтовой каретой через Берлин и Лейпциг приехал в Вену. Свой дальнейший путь от Вены до Триеста на побережье Адриатического моря Анненков описал в дневнике так:

“9-го марта выехал я из Вены по дороге на Триест, и на другой день были мы уже в Альпах. Этот отпрыск знаменитых швейцарских Альп имеет счастье заключать в себе несколько бедных славянских племен, которые вот уже несколько веков решительно больше ничего не делают, как живут, да впрочем, судя по всеобщей бедности



Павел Васильевич Анненков.

158

и по количеству нищих на дороге, для них, кажется, и это не безделица... Тут впервые увидел я босую женскую ногу и сказал: «Ну, вот мы и дома! Этой вещи не случилось мне увидеть с самого Мурома...» Меня приводило в отчаяние одно обстоятельство: мы были за четверть мили от Триеста, но ни Триеста, ни моря, которое тут значится по моей дорожной карте, и признаков не было. Все горы и горы, и вдруг мы круто поворотили в сторону: город, голубая Адриатика, противоположный берег Истрии и Далмации лежали под ногами нашими. Это

было так неожиданно, что произвело на меня даже болезненное впечатление. Англичанин, ехавший со мною, захлопал в ладоши. Здесь часто случается, что самое сильное чувство приходит внезапно, не возмеченное ни путеводителями, ни путешественниками».

14 марта 1841 г. Анненков прибыл из Триеста в Венецию на пароходе. Отдавая должное историческому величию Венеции, а также сохраняющимся там “теплоте красок” и “поэтическому блеску”, Анненков полагал, что в истории городу уготована скорее судьба Карфагена, а его практическое значение как ключевого порта Адриатики уже перешло к расположенному неподалеку Триесту. Эти два города — Венецию и Триест — Анненков сравнивал как “жизнь потухающую” и “жизнь зарождающуюся”.

159

Признаки упадка Венеции Анненков констатирует везде и всегда: и во время прогулки по Каналу, и при посещении многочисленных церквей, и на представлении в популярном венецианском театре “Fenice”:

“Когда я посещал церкви, где бронза конных статуй над гробами почивших дождей (как, например, в церквах Жиованни и Паоло, dei Frari) или одна часть драгоценнейших камней (как, например, в церкви dei Scalzi, построенной знаменитейшими фамилиями Венеции) могли бы обогатить обнищавших потомков их, странствующих теперь по разным государствам Европы, — когда, говорю, я посещал эти церкви, мне думалось: «Верно, есть что-нибудь для отвращения глаз венецианцев от всег-

дашнего созерцания их упадка» и узнал, что для этого есть театр «Фениче». Театр в Италии решительно есть политическая мера, как газета в остальной Европе. С девяти часов вечера великолепная зала его наполняется народом: тут поет удивительный Ронкони и тут же позволяет итальянцам проявить свое индивидуальное значение, а также вылить и накопление желчи, вредной для здоровья, в свистках, шуме, шиканье при малейшей оплошности певца, хотя два солдата с ружьями и стоят по обеим сторонам оркестра... Вообще шиканье и свистки в театре мне не нравятся: они делают из актера какого-то поденщика сотни пустых голов, собравшихся в партере, и совлекают с него совершенно достоинство артиста».

П. В. Анненков оставил мемуары о своем пребывании в Венеции (они широко используются во второй части настоящего издания), в которых содержатся интересные описания главных достопримечательностей Венеции. Проведя в городе несколько дней, Анненков выехал из Венеции почтовой гондолой до Фузино и далее дилижансами отправился в Рим, где ему довелось прожить несколько месяцев по соседству с Гоголем и участвовать в доработке первого тома «Мертвых душ».

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ УВАРОВ

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ УВАРОВ, граф (25.08.1786, Москва — 4.03.1855, Москва) — государственный и общественный деятель. Попечитель Московского учебного округа, президент Российской Академии наук (1818-1855), министр народного просвещения (1833-1849). Сочинял стихи, с легкостью изъяснялся на семи языках, был признанным в Европе эссеистом на философские и литературные темы. Удалившись на покой, получил степень магистра классической филологии Дерптского университета.

В своем имении в Поречье под Можайском Уваров создал свободную атмосферу общения для своих гостей — университетских профессоров, литераторов, которые часто сравнивали Поречье с «русскими Афинами», «платоновской Академией». Главный зал усадьбы,



Сергей Семенович Уваров.

построенный и отделанный архитектором-итальянцем в сотрудничестве с Карлом Брюлловым, был отведен под “храм искусства”. Большинство картин и скульптур Уваров собрал во время поездки в Италию. Предметом особой гордости графа был античный саркофаг, который он нашел в Италии в заброшенной иезуитской церкви. В библиотеке, насчитывающей 12 тысяч томов, стояли бюсты Рафаэля, Микеланджело, Данте, Тассо, Ариосто, Макиавелли. Здание усадьбы было окружено лесом и регулярным парком с редкими видами деревьев и цветов, которые посадил и выращивал брат Уварова — знаменитый ботаник.

С. С. Уваров посетил Венецию (а до этого также Рим) в 1843 г. в пятидесятилетнем возрасте. Годом позже он написал в Поречье на французском языке воспоминания об этом путешествии — “Рим и Венеция в 1843-ем году” (в данной книге используется главным образом перевод М. Ровберга).

Граф Уваров, по-видимому, был первым в России (потом эту традицию блестяще продолжили Герцен, Перцов, Муратов, Пастернак, Бродский), кто в форме историософского эссе принялся рассуждать об эпохах исторического величия, а затем упадка Венеции:

“Половина Европы сделалась данницей города, рожденного из лона лагун; ничто не останавливало исполинского честолюбия горсти людей, трепетавших перед излишеством собственного могущества; когда же издалека валил флот Левантский, нагруженный сокро-

вищами мира, тогда забывались жертвы глухой, непреклонной тирании: целая Венеция увешивалась флагами при воплях народа, упоенного радостью и располагавшего, по воле, всю роскошью, всеми богатствами земли... Там умирали тихомолком, но жили шумно”.

“Венеция прекрасная, богатая, могущественная, самовластная; Венеция, ныне страждущая, обобранная и подвергшаяся оскорблениям времени более жестоким, нежели иго ее победителей... Эти громадные жилища, эти пышные здания, полутальянские, полумавританские, просят милостыню воспоминания”.

Покинул граф С. Уваров Венецию обычным для того времени образом: на гондоле до Местре, а оттуда почтовой каретой, запряженной четверкой лошадей, — на Тревизо и далее в Россию.

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ

165

ПЕТР Андреевич Вяземский, князь (23.07.1792, Москва — 22.11.1878, Баден-Баден) — поэт, историк, публицист, государственный и общественный деятель. В 30-е годы неоднократно бывал в Италии, но в Венецию впервые приехал лишь летом 1853 г. в возрасте шестидесяти одного года. Для лечения нервной болезни врачи прописали Вяземскому венецианские морские ванны, а потом — еще две-три недели модного тогда “виноградного лечения” в Швейцарии или Германии. Проехав венским поездом до Триеста, Вяземский вместе с женой Верой Федоровной далее добирался до Венеции морем:

“Плавание до Венеции покойное и прекрасное. Светлый день. Море тихое, то синее, то зеленое. Плыли шесть часов и прибыли в Венецию в полдень”.



Петр Андреевич Вяземский.

Вяземские приехали в Венецию 23 августа 1853 г. и поселились на берегу Большого канала, в доме с садом в глубине комплекса палаццо Венье (сегодня здесь размещается Музей современного искусства Пегги Гугенхейм). Город принадлежал тогда Австрии и был столицей Ломбардо-Венецианского королевства. В то время в апартаментах палаццо Венье обосновалась целая “русская колония”: помимо Вяземских там же жили М. Т. Пашкова-Баранова с дочерьми и княгиня Т. В. Васильчикова. Вяземский так описывал свое жилище и быт:

“Для Венеции у нас две редкости: терраса над каналом с двумя навильонами и сад между ними и домом нашим. Дамы пьют чай, барышни поют итальянские и русские песни, я курю сигару и, разучившись волочиться за земными красавицами, волочусь за небесною и в любви объясняюсь с луною, пока еще прозою. Но рифмы уже бурчат во мне, и скоро будет извержение, чтобы не сказать испражнение. Впрочем, трудно воспеть Венецию. Она сама песня. И как ни пой ее, она все-таки тебя перепоеет. Я думаю, и Паганини не взялся бы аккомпанировать на скрипке своей соловью. Он заслушался бы его, да и баста”.

Поначалу Венеция, столь отличная от знакомой Вяземскому “классической Европы”, напомнила ему незадолго перед этим виденный им Константинополь. К тому же первые недели в Венеции стояла небывалая жара: Вяземский тогда сравнивал воду в лагуне (“здеш-

нем Босфоре”) с “горячей ухой”. В те дни он писал друзьям в Баден:

“Что вы нам поете про баденский жар? Попробуйте венецианского, и тогда вас дрожь проймет и вы велите затопить у себя камин. Днем жарко, а ночью душнее. И старожилы здешние не запомнят такой осени. Каково же нам, новичкам? У вас еще есть деревья, есть тень. И не забывайте, что Венеция, как она ни прекрасна собою, все-таки лысая красавица и нам, бедным, некуда приютиться. Я только и делаю, что потею. Все мои способности телесные и душевные вытекают потом. Я не в силах ни ходить, ни писать, ни читать, ни мыслить”.

В такую жару Вяземские, кроме морских купаний, предпочитали проводить побольше времени в построенном еще Наполеоном Городском саду (Giardino Pubblico). Вяземский со свойственной ему иронией писал:

“Наполеону во время своего беспредельного могущества захотелось посадить несколько волос на голове лысой Адриатической красавицы, и волосы принялись и уцелели лучше, нежели железная корона на его голове”.

Посещают Вяземские и расположенный почти рядом с их домом музей Академии, а также многочисленные церкви, Арсенал, путешествуют по соседним островам. Часто ходят к обедне в греческую церковь. Особое впечатление на Вяземского произвел собор Сан-Марко, в который он заходил едва ли не ежедневно (“*во-первых, там довольно прохладно, а во-вторых, и в-десятых, и в-сотых, там столько богатств, столько изящного*

и примечательного, что каждый раз любуешься чем-нибудь новым”. Несколько раз совсем уже немолодой Вяземский “лазил” (как он выражался) на колокольню Сан-Марко.

Как обычно, Вяземский внимательно следил в Венеции за развитием европейской политики — в первую очередь за давно предсказанным им обострением отношений между Россией и Турцией, подталкиваемой к войне Англией и Францией. Газеты в Венеции — в основном австрийские и прусские; были и итальянские — римская “Opinione” и местная “Gazetta di Venezia”. Но главным индикатором политических настроений на континенте Вяземский считал лондонскую “Times”:

“Читая газеты, не знаешь, кто безалабернее: правительство или газетчики. «Times» двух дней сряду не говорит одного. День за турков, и день против них. Кроме русского правительства, которое может ошибаться, ибо оно человек, все другие правительства ослабли и сбились с толку”.

В эти недели в Венеции Вяземский написал один из самых значительных литературных трудов своей жизни, “Письма русского ветерана” — цикл из тридцати статей, где он анализировал расстановку политических сил в Европе, остроумно критикуя политику Англии и Франции.

В начале сентября за небывалой жарой неожиданно последовало резкое ухудшение погоды. В те дни Вяземский писал:



“Напрасно клеплем мы на петербургский климат и на переменчивость его погоды, как будто ему исключительно свойственную... Мы уже не в Венеции, а в полном Петербурге. Вот третий день, что совершилось это превращение. Со дня на день погода круто переменилась. Сегодня вода выступила из каналов на мостовую, ни дать ни взять Черная речка. Венеция не миловидна в ненастную погоду. Этой красавице нужно быть убранной и разодетой блеском солнечных или месячных лучей. Под дождем и под тучами она не гордая львица, а просто мокрая курица... Венеция под дождем и в ненастье то же, что красавица с флюсом, который кривит ее рожу. Поневоле изменишь ей, как прежде ни любил ее”.

Когда температура воды в лагуне упала до 19 градусов, Вяземский оказался единственным среди продолжающих принимать морские ванны:

“Итальянцы уже перестали купаться, и вчера я один был на просторе, а то была настоящая толкотня в воде. Итальянцы очень возятся и забавляются в воде как дети, иногда не очень вежливы и невнимательны к ближнему”.

Очень скоро, однако, Вяземский привык к переменчивости венецианского климата. Как раз в это время пришло сообщение из Петербурга, что находящийся в отпуске Вяземский снят с нелюбимой им должности управляющего Заемным банком и может не спешить с возвращением на службу. В середине сентября Вязем-

ский писал своему старому приятелю, влиятельному сановнику графу Д. Н. Блудову:

“Я вполне наслаждаюсь пребыванием своим в этой столице тишины и благодатного тунейдства. Чувствую, как нервы мои растягиваются и успокаиваются. И чтобы не расстроить себя и не разбудить засыпающей кошки (которая так долго царапала меня своими язвительными когтями), чтобы не уставать от лишних и многообразных впечатлений, я только исподволь знакомлюсь с здешними замечательностями и редкостями. Не рассыпаюсь мелким бесом или дородным англичанином по всем храмам и всем палацам. Хожу или, вернее, плыву, куда глаза глядят, и всегда наткнулся на что-нибудь достойное внимания. Более глазою, чем пялю глаза, чтобы ничего не пропустить и не оставаться в долгу перед какой-нибудь картиною или статуею. Совесть моя не столь щекотлива и боязлива. Кажется мне, даже грешно переносить в Венецию тревожное и задыхающееся любопытство обыкновенных путешественников. Этому молчаливою и спокойною красавицею должно и любоваться молча и созерцательно”.

Между тем русско-турецкое военное противостояние выливается в масштабную войну. Захваченный общерусским патриотическим подъемом, Вяземский приветствует известия о русских победах и из Венеции распоряжается о перечислении своих гонораров в пользу раненых русских воинов. Однако после первых поражений Турции Англия и Франция открыто всту-

На предыдущем развороте:

Palazzo Venier на Большом канале, где жил П. А. Вяземский.
Сегодня здесь располагается Музей современного искусства.



Гулянье в венецианском Городском саду. Фото XIX в.

пили в войну, и к концу 1853 г. отношение к русским в зависимой от Австрии Венеции резко ухудшилось. Понимая, что придется покинуть город, Вяземский, однако, все тянет с отъездом:

“Ужасно заживаюсь в Венеции. Я всегда и отовсюду тяжел на подъем, но отсюда особенно тяжело выплыть. Меня удерживает благодатный штиль. Эта бесплавная, бесшумная, бездейственная, но вовсе не бездушная жизнь Венеции имеет что-то очаровательное”.

Тогдашнее настроение Вяземского передают строчки из его венецианского стихотворения “Гондола”:

*Не то же ли и в жизни с нами?
Не все ль большим каналом жизни
Мы, убаюканные снами
И беззаботные, плывем?*

175

За несколько месяцев, проведенных в 1853 г. в Венеции, П. А. Вяземский написал несколько стихотворений о “чудо-городе”.

ВЕНЕЦИЯ

(1853)

*Город чудный, чреполосный —
Суша, море по клочкам, —
Безлошадный, бесколесный,
Город — рознь всем городам!
Пешеходу для прогулки
Сотни мостиков сочтешь;
Переулки, закоулки, —
В их мытарствах пропадешь.*

*Вместо улиц — коридоры,
Где народ валит гуськом.
Зданья — мраморные горы,
Изваянные резцом.*

*Здесь — прозрачные дороги,
И в их почве голубой
Отражаются чертоги,
Строя город под водой.*

*Экипажи — точно гробы,
Кучера — одни гребцы.
Рядом — грязные трущобы
И роскошные дворцы.
Нищеты, великолепья
Изумительная смесь;
Злато, мрамор и отрепья:
Падшей славы скорбь и спесь!*

.....

*Здесь, как в пестром маскараде,
Разноцветный караван;
Весь восток в своем наряде:
Грек — накинув долиман,
Турок — феску нахлобуча,
И средь лиц из разных стран
Голубей привольных куча,
А тем паче англичан.*

*Все они несут под мышкой
Целый пук карандашей,
Телескоп с дорожной книжкой,
Проверяя всё по ней.*

*Дай им волю — и в Сан-Марко
Впишут, не жалея стен,
Святатственно и марко
Длинный ряд своих имен.*

*Если ж при ночном свете
Окуется серебром
Базилика, Кампанילה
И дворец, почивший сном,
И крылатый лев заблещет,
И спросонья, при луне,
Он крылами затрепещет,
Мчась в воздушной вышине,*

*И весь этот край лагунный,
Весь волшебный этот мир
Облечется ночью лунной
В злато, жемчуг и сапфир;
Пред картиной этой чудной
Цепенеют глаз и ум —
И, тревоги многолюдной
Позабыв поток и шум,*

Ты душой уединишься!

К ВЕНЕЦИИ

(1853)

178

*“Во всех ты, душенька, нарядах хороша!”
 Златой ли, солнечной парчою ты одета,
 И яркий день, тобой любуясь, чуть дыша
 Льет на красавицу поток огня и света;
 Серебряная ночь и воздух голубой
 Объемлют ли тебя прозрачной пеленой,
 И в честь тебя кругом синеют на просторе —
 Там небо звездное, здесь зеркальное море,
 Достойные тебя подножие и кров, —
 Златой царицей дня, царицей светлых снов
 Ты всё волшебница, всегда ты чудо света,
 И только ты одна прекрасней Каналетто!*

В конце концов Вяземские вынуждены были в самом конце 1853 г. покинуть Венецию и отправиться к сыну Павлу в Карлсруэ.

В следующий раз Петр Андреевич и Вера Федоровна приехали в Венецию лишь через десять лет. В 1863 и 1864 гг. князь, уже перешагнувший семидесятилетний рубеж, по несколько месяцев жил в Венеции, ставшей его любимым городом. Этот период отмечен новым взлетом его поэтического творчества, и многие лучшие его стихотворения того времени посвящены Венеции.

ИЗ ФОТОГРАФИИ ВЕНЕЦИИ

(1863)

179

*Прелестен вид, когда при замираньи дня,
 Чудесной краскою картину оттеня,
 Всё дымкой розовой оденет пар прозрачный:
 Громадных зданий ряд величественно-мрачный,
 Лагуны, острова и высь Евгейских гор,
 Которых снеговой, серебряный узор
 Сияет вдалеке на темном небосклоне.
 Все призрачно глядит: и зыбь на влажном лоне,
 Как марево глазам обманутых пловцов,
 И город мраморный вдоль сжатых берегов,
 И Невский сей проспект, иначе Канал-гранде,
 С дворцами, перлами на голубой гирлянде,
 Которая легко, с небрежностью струясь,
 Вкруг стана стройного царицы обвилась.
 Мир фантастический, причудливый, прелестный!
 Кому твои мечты и таинства известны,
 Кто мог уразуметь их сладостный язык,
 Кто чувством в этот мир загадочный проник,
 О, тот поэзии сокровища изведаль,
 И если чувств своих созвучно он не предал
 И в том, что скажет он, им отголоска нет,
 То все ж в душе своей он был и есть поэт.*

Н. А. КОЧУБЕЮ

(1863)

Венеция прелесть, но солнце ей нужно,
 Но нужен венец ей алмазов и злата,
 Чтоб все, что в ней мило, чтоб все, что так южно,
 Горело во блеске без туч и заката.

180

Но звезды и месяц волшебнице нужны,
 Чтоб в сумраке светлом, чтоб ночью прозрачной
 Серебряный пояс, нашейник жемчужный
 Сияли убранством красы новобрачной.

А в будничном платье под серым туманом,
 Под плачущим небом, в тоске дожденосной,
 Не действует прелесть своим талисманом,
 И смотрит царица старухой несносной.

Не знаешь, что делать в безвыходном горе.
 Там тучи, здесь волны угрюмые бродят,
 И мокрое небо, и мутное море
 На мысль и на чувство унынье наводят.

Под этим уныньем с зевотой сердечной,
 Другим Робинсоном в лагунной темнице,
 Сидишь с глазу на глаз ты с Пятницей вечной,
 И тошных семь пятниц сочтешь на седмице.

Тут вспомнишь, что метко сказал Завадовский,
 До прозы понизив морскую красоту:
 “Здесь жить невозможно, здесь город таковский,
 Чтоб в лавочку сбежать — садися ты в лодку”.

...

(1863)

181

“К лагунам, как *frutti di mare*,
 Я крепко и сонно прирос.
 Что было — с днем каждым все старей,
 Что будет? Мне чужд сей вопрос”.

Сегодня второе издание
 Того, что прочел я вчера;
 А завтра? Напрасно гаданье!
 Еще доживу ль до утра?

А если дожить и придется,
 Не същется новая цель:
 По-прежнему мне придется
 Все ту же тянуть канитель.

Спросите улитку: чего бы
 Она пожелала себе?
 Страстями любви или злобы
 Горит ли, томится ль в борьбе?

*Знакома ль ей грусть сожалений?
Надежда — сей призрак в тени?
И мучит ли жажда сомнений
Ее равнодушные дни?*

*И если ваш розыск подметит
В ней признак и смысл бытия
И если улитка ответит, —
Быть может, ответ дам и я.*

...

(1864)

*Пожар на небесах — и на водах пожар.
Картина чудная! Весь рдея, солнца шар,
Скатившись, запылал на рубеже заката.
Теснятся облака под жаркой лавой злата;
С землей прощаясь, день на пурпурном одре
Оделся пламенем, как Феникс на костре.*

*Палацца залились потоком искр золотых,
И храмов куполы, и кампанилы их,
И мачты кораблей, и пестрые их флаги,
И ты, крылатый лев, когда-то царь отваги,
А ныне, утомясь по вековой борьбе,
Почивший гордым сном на каменном столбе.*

*Как морем огненным, мой саламандра-челн
Скользит по зареву воспламененных волн.
Раздался колокол с Сан-Марко и с Салуте —
Вечерний благовест, в дневной житейской смуте
Смирненные сердца к молитве преклоня,
Песнь лебединая сгорающего дня!*

Ф. И. ТЮТЧЕВУ

(1864)

*Вот и крещенские морозы!
Точь-в-точь на невском берегу:
Метет метелица на Пьяце,
Как на Царицыном лугу.*

*Бушует по лагунам вьюга,
Несется дикий вой и рев:
И на столбе продрог с испуга
И холода крылатый лев.*

*Взъерошил шерсть ему и гриву
Курчавый и мохнатый снег:
И южный царь глядит сердито
На этот северный набег.*

*Чутьем он севера не любит
И крепко знает почему:
Как Пушкин наш, сказать он может,
Что север вреден и ему.*

.....

*И мнится льву, под непогодой,
Что, к довершенью бед и зол,
Сам север с дикою природой
Враждебно Альпы перешел.*

184

МАРИИ МАКСИМИЛИАНОВНЕ,
ПРИНЦЕССЕ БАДЕНСКОЙ

(1864)

*Вас, хладной полночи красавица младая,
По-русски встретила Венеция и мы:
И теплые сердца, и стужа нам родная,
И снег родной, фата прабабушки зимы.*

*Сан-Марко с площадью под инеем и снегом
Вам древней красотой напомнил о Москве,
А гондолы, скользя меж льдин поспешным бегом,
Как в санках на рысях катались по Неве.*

*Меняясь звуками и складом русской речи,
Вы дни минувшие одушевили вновь;
И все в один привет слилось для нашей встречи:
И русская зима, и русская любовь.*

Венецианские стихи Вяземского очень высоко ценил Иосиф Бродский, полагая, что это лучшее, что написано на русском языке о Венеции. Во многом именно “венецианский цикл” поэта-князя привел Бродского к утверждению, что “по характеру духовных прозрений Вяземский ничуть не уступал Пушкину...”.

Последние годы жизни князь П. А. Вяземский провел в Гомбурге (близ Франкфурта-на-Майне). За несколько недель до смерти переехал в Баден-Баден, где и скончался 10 ноября 1878 г. Вера Федоровна Вяземская на восемь лет пережила мужа и умерла там же в возрасте девяноста шести лет.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН (6.04.1812, Москва — 21.01.1870, Париж) — философ, писатель, публицист, общественный деятель. С 1847 г. в эмиграции.

Планы посещения Венеции были у Герцена еще в 1847–1848 гг. и потом, в 1863 г., однако им всякий раз мешали бурные политические события в Европе. Возможность побывать в Венеции представилась только в феврале 1867 г., когда Герцен приехал из Парижа во Флоренцию, где в то время жили его дочери и сын. О желании непременно посетить Венецию говорят герценовские письма января-февраля 1867 г., адресованные Н. Огареву:

“Думаю через две недели ехать в Венецию. Здесь <во Флоренции> жизнь все же слишком юна и бойка — хо-



Александр Иванович Герцен.

телось бы пообдуматься одному”; “Я раздавлен неудачами. Вот и отдых... Это истинно ужасно в 54 года”; “Я с ужасом смотрю на свое падение... Хороша и уместна будет прогулка в Венеции. Это-то отдых, на который я надеялся... Я за полгода тихой жизни — одинокой — отдал бы пять лет”.

Герцен приехал в Венецию 18 февраля 1867 г. Поначалу он рассчитывал поселиться в рекомендованной ему гостинице “Европа” на Большом канале, однако, “не найдя путной комнаты”, переехал в “Hôtel Danieli” на



Отель “Даниэли” на Славянской набережной. Фото XIX в.

набережной Скьявони рядом с Пьяцеттой и Дворцом Дожей. (Известный, существующий и поныне “Hôtel Danieli” был назван в честь Жозефа да Ниеля, переделавшего в отель Palazzo Dandolo XIV в.; гостиница, открытая в 1822 г., принимала таких знаменитостей, как Бальзак, Пруст, Диккенс, Дебюсси, Вагнер.)

О своих самых первых впечатлениях от Венеции Герцен сразу же написал Огареву:

“Вчера в 1/2 одиннадцатого вечера лег спать в вагоне, сегодня около девяти был уже в гондоле, а теперь иду на почту. Я возле Piazza S. Marco на Большом канале. Город

до того оригинально красив и великолепен, что умирать, не выдавши его, не стоит”.

Спустя два дня он написал более подробное письмо во Флоренцию воспитательнице дочерей, писательнице М. Мейденбуг:

“Будьте уверены, что Венеция — прекраснейшая из нелепостей, созданных человечеством, — она величественна в силу своей нелепости и служит лучшим объяснением, почему моллюски образуют чудесные раковины с жемчугом и перламутровыми створками; когда землю служит только вода, а точкою опоры — утесы, нужно строить, строить, украшать, вновь украшать. Город, принимающий летом и зимой ножные ванны, должен быть отменно причесан. Ни за что на свете я не желал бы жить здесь. Но приезжать иногда на недельку — было бы большим удовольствием... Почему с тех пор, как я покинул Флоренцию, где почти все время страдал от головной боли, она совершенно прошла — и я чувствую себя хорошо, как в Лозанне и в Монтре? Разве у меня натура амфибии — нечто среднее между крокодиллом и лягушкой?”

Однако лучше всего отношение Герцена к Венеции передают его полные любви и юмора письма дочерям Наталье и Ольге:

*“Вот я в двух шагах от святого Марка и грешного льва. Нет города, который бы так поражал, — наружный вид до того оригинален, изящен и великолепен, что бедная Флоренция *soulée* < утонула, сошла на нет — фр.>”;*

“Ольге доношу следующее: ровно в два (часы на башне бьют два крупных арапа) — голуби со всех сторон летят на Маркову площадь — закусывают и улетают на 24 часа — это очень оригинально. Посылаю ей вид берега Schiavoni с нашим отелем. Она увидит, что крыса с крыльями здесь спать никому не мешает, потому что ее держат на столбу”.

Герцен застал в Венеции знаменитый карнавал 1867 г., восстановивший традицию венецианских карнавалов, прерванных на семь десятилетий австрийским владычеством:

“Карнавал принял грандиозные размеры. Маленькая глупость глупа, но большая — может стать прекрасной, величественной. «Лихорадка» масок из обычной стала горячечной. Представьте себе две площади, одну набережную (нашу, Скъявони) и все прилегающие переулки, наполненные народом и масками, — проходу нет, движение остановлено — повсюду крики Полишинеля, смех, но ничего непристойного, как в Париже. Последняя черта покорила меня. Это веселящийся народ, а не арсенал публичного дома — на службу которого нацепляют маски...”

Письмо М. Мейзенбуг, 25 февраля 1867 г.

(Текст этого письма, по-видимому, и лег впоследствии в основу известной главы “Venezia la bella”, включенной Герценом в мемуарную книгу “Былое и думы”.)

Герцен задержался в Венеции до 27 февраля специально для того, чтобы встретиться с триумфально при-

бывшим в Венецию Гарибальди, с которым был хорошо знаком ранее:

“Сегодня в шестом утра был у Гарибальди. Он обрадовался мне и одного меня расцеловал. Он здоров, но не весел”.

Вечером 27 февраля 1867 г. Герцен выехал из Венеции во Флоренцию. Подводя итог своим венецианским впечатлениям, написал следующее:

“Я понял тогда, какая тяжелая ноша — 54 года от роду, но утешился, вспомнив, что в Венеции был признан очаровательным и Отелло”.

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ЯКОВЛЕВ

192

Владимир Дмитриевич Яковлев (1817, Санкт-Петербург — 3. 11. 1884, Санкт-Петербург) — поэт, переводчик, путешественник, мемуарист. Обучался в Императорской академии художеств, потом в Петербургском педагогическом институте. Преподавал в приходских училищах, печатал стихи и рассказы в духе романтизма. Расстроенное здоровье требовало обязательной поездки Яковлева на юг, но материальные средства его были настолько скудны, что он вынужден был одно время взять на себя чтение корректур в нескольких журналах, хотя подобная работа была для него чрезвычайно вредна.

Однако, благодаря счастливому стечению обстоятельств, в конце 1846 г. тридцатилетний литератор

Яковлев обратил на себя внимание самого наследника русского престола, Великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II): у его супруги, великой княгини Марии Александровны, жена Яковлева до замужества служила любимой камер-девушкой. Наследник-цесаревич, воспитанник поэта Жуковского и сам любитель романтической поэзии, пожаловал тогда молодому литератору и мужу придворной любимицы большую сумму — пять тысяч рублей серебром для лечения за границей.

Яковлев использовал подаренные деньги на большое путешествие по Италии. В мае 1847 г. он приехал в Триест, оттуда пароходом прибыл в Венецию, где сначала прожил три недели в “Hotel Luna”. Свой быт в “Hotel Luna” Яковлев описывал так:

“Две опрятные комнатки, с монументальной двухспальной кроватью и с угодливой прислугой, отдавались мне в этой гостинице вполтину дешевле тех тревожных ночлегов, на какие, случалось, дорога осуждала меня в наших провинциях. Но я не привык жить даром и упорно изыскивал тайну этой дешевизны. Она заключа-



Владимир Дмитриевич
Яковлев.

193



лась столько же в развитии общественности, сколько в бедности итальянского народа вообще и Венеции в особенности. Вообще с условиями материального быта в Венеции может быть в ладу миниатюрнейший кошелёк скромнейшего артиста. А спектакль, а кипрское вино, а женские улыбки и мессинские апельсины — предлагают просто за бесценок”.

Через три недели Яковлев — для разнообразия — переселился в “Белого Льва” на Большом Канале — гостиницу в старинном дворце Ca da Mosto, построенном в XIII веке в венецианско-византийском стиле недалеко от Риальто. (Знаменитый мореплаватель Алвизе да Мосто, первым достигший Островов Зеленого мыса, родился в этом доме в 1432 г. “Albergo Leon Bianco” известна в Венеции с XVI в., а свои “звездные часы” отель пережил во второй половине XVIII в., когда там останавливались многие августейшие особы: наследник русского престола цесаревич Павел Петрович с супругой, австрийский император Иосиф II и др.)

Записки об итальянском путешествии 1847 г. сделали Владимира Яковлева популярным в литературных кругах: первым его очерком из цикла “Писем из Италии” стал очерк о Венеции, напечатанный в “Библиотеке для Чтения”. А в 1855 г. книга В. Д. Яковлева “Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя” вышла отдельным изданием — как раз в год вступления на престол Александра II, благодетельству и щедрости которого была в большой степени обязана.

На предыдущем развороте:
Гостиница “Luna”, где летом 1854 г. жил В. Д. Яковлев,
а осенью 1856 г. останавливался Н. А. Некрасов.



Дворец “Ca da Mosto” на Большом канале. В XVII–XIX вв. здесь располагалась гостиница “Белый Лев”.

В 1860 г. В. Д. Яковлев серьезно заболел, вскоре ослеп и слег в постель, с которой не вставал двадцать четыре года, до самой своей смерти в 1884 г., живя лишь на пенсию от Общества пособия бедным писателям.

Приложение

В. Д. ЯКОВЛЕВ

Базилика Сан-Марко — соединение культур

Бронзовые двери базилики — настесь с утра до заката. Услужливый нищий не приминет приподнять для вас тяжелую кожаную завесу — и вы в храме... Местами массивные серебряные лампы мерцают мелкими огоньками, между которыми заметно несколько алых. Куполы, своды пестреют мозаиками, точно обитые разноцветными индийскими тканями. Легионы ангелов и первобытных человеков толпятся здесь над нами, в золотом поле. Эта византийская живопись, эти греческие иконы на золотом грунте заставили бы вас подумать, что вы к Кремлю или в Киеве, если б многие из мозаик не отличали мастерских картонов Тициана, Тинторетта, Ве-

ронеза; если б стены не были сверху донизу одеты точными мраморами; если б кафедры поддерживались не порфировыми столбами; если б, наконец, под ногой вашей не было мозаичного пола, этого мраморного ковра, вышитого порфировыми, яшмовыми, малахитовыми букетами. При всем том венецианский собор пробуждает более воспоминаний о Византии, чем о Риме. Этот латинский храм построен греческим крестом; ряд колонн, за которыми находится главный престол, напоминает иконостас; на престоле, между вазами цветов, красуются царградские канделябры; мраморный балдахин над ним опирается на четыре столпа греческого мрамора, сверху донизу иссеченные не столько гениальным, сколько терпеливым резцом художников, учившихся в Константинополе средних веков. За престолом мерцает *pala d'oro*, большой византийский кивот, с эмалевыми изображениями почти всех лиц священной истории. Золотые рамки, которыми разделены между собою эти миниатюрные иконы, осыпаны крупными жемчужинами, изумрудами, рубинами, топазами, яхонтами... Никакой храм не представляет этого тесного сближения латинских понятий с греческими. Италия и Греция положили здесь основание своему примирению — в области искусства. Базилика Св. Марка — настоящий символ этого соединения. Почему бы, в самом деле, подобная мысль не могла руководить зодчего, который так смело сочетал ломбардский стиль с византийским, и даже не побрезговал заимствовать изящное

в мире мусульманском и в мире античном. Но венецианские строители не ограничились этим, всегда, впрочем, гармоническим, слиянием всех архитектур, всех стилей: они собирали самые камни всех веков, остатки всех цивилизаций, стараясь снова употребить их в дело. Вот порфиновая колонна из Храма Соломонова; вот церковная утварь, вот бронзовая дверь Софийской базилики. Здесь несколько колонн — из какой-то мечети; там несколько мраморов — из-какого античного капища. На фасаде вы видели католических святых, опирающихся на сарацинские арки; здесь — порфировой чаше со святой водой служит пьедесталом языческий жертвенник, на котором античный резец изобразил трезубцы и дельфинов... Странная амальгама поражает ваше воображение. Эта богатая коллекция разноцветных колонн, бронзовых статуэток и барельефов; порфир и яшма — под ногами; золотые своды, нескончаемые мозаики — над головой; драгоценные камни, сверкающие в полусумраке — все это превращает венецианскую базилику в чертог какого-то волшебника. Здесь целый музей сокровищ. Венеция приобретала их и золотом и мечом. После каждой войны, после каждого трактата, галеры возвращались в лагуны — не без даров своему патрону: были ли то кости мучеников или античные барельефы, порфиновые колонны или бронзовые кони. В двенадцатом веке мирные купцы облакаются в панцири; каждую променяли на меч. Победоносный лев Св. Марка истребляет флоты сарацинов и часто приносит патрону

трофеи, обрызганные кровью. Таким образом при осаде Акко добыто множество остатков от Соломонова Храма. Но драгоценнейшими своими украшениями собор св. Марка, бесспорно, одолжен тринадцатому веку, ознаменованному завоеванием Царьграда... Крылатому льву досталась львиная доля военной добычи. Маститый дож Дандоло выслал в Венецию множество сокровищ ограбленной Византии, и между прочим, четыре бронзовых коня с константинопольского ипподрома, которые поставлены над главным входом базилики, как трофей победы над триумфальной аркой. От Августа до Наполеона не помню триумфатора, не впрягавшего этих коней в свою квадригу...

В. Д. Яковлев. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя* (1847). СПб., Гиперион, 2012, с.25-27.

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

202

ФЕДОР Михайлович Достоевский (11.11.1821, Москва — 9.02.1881, Петербург) — писатель. В шестнадцать лет юный Достоевский, по его собственным словам, “*беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни...*”. Позднее в одном из писем Я. П. Полонскому Достоевский написал характерные строки:

“Сколько раз мечтал я, с самого детства, побывать в Италии. Еще с романов Ратклиф... Потом пришел Шекспир — Верона, Ромео и Джульетта — черт знает какое было обаяние. В Италию, в Италию! А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом. Неужели и теперь не удастся поездить?”

Во время заграничных странствий Достоевскому неоднократно приходила мысль побывать в Венеции. В “Дневнике” от 22 сентября 1867 г. А. Г. Достоевская отмечала:



Федор Михайлович Достоевский.

203

“Федор Михайлович всю дорогу мне рассказывал о Венеции и Флоренции, и мне ужасно было больно и досадно, что я, должно быть, так ничего не увижу”.

В очередной раз Достоевский планировал хотя бы ненадолго заехать в Венецию по дороге из Милана во Флоренцию, где он рассчитывал провести зиму 1868/69 г. В письме С. А. Ивановой от 7 ноября 1868 г. из Милана он писал:

“В конце ноября думаю переправиться во Флоренцию. Ибо там есть русские газеты и жизнь может быть де-

шевле. Мимоходом же сделаю крюк на три дня в Венецию (показать жене), что будет мне стоить 100 франков лишних”.

Однако посетить Венецию Достоевским довелось лишь летом 1869 г. Убегая от флорентийской жары (во Флоренции был написан роман “Идиот”) и в связи с приближающимися родами Анны Григорьевны, они, по ее словам, решили “переселиться в страну, где бы говорили по-французски или по-немецки, чтобы муж мог свободно объясняться с доктором, акушеркой, в магазинах и пр.”. Поэтому Достоевские покинули “раскаленную, как русская печка” Флоренцию и решили ехать в Прагу через Болонью, Венецию, Триест, Вену. (В Праге, однако, не нашлось подходящей квартиры, и Достоевские отправились в Дрезден, где 14 сентября 1869 г. и родилась дочь Любовь.)

Венеция буквально потрясла Достоевских. Может быть, поэтому в их воспоминаниях есть странное различие: Федор Михайлович пишет о “двух днях в Венеции”, а Анна Григорьевна — о “четырех”. Ф. М. Достоевский вспоминал о Венеции:

“Мы проехали через Венецию, в которой простояли два дня, и Аня только ахала и вскрикивала, смотря на площадь и на дворцы. В соборе S. Marc (удивительная вещь, несравненная!) она потеряла свой резной швейцарский веер, которым ужасно дорожила (а у ней так мало драгоценностей!) — и боже мой, как она плакала”.

Письмо С. А. Ивановой от 10 сентября 1869 г. из Дрездена.

Сама же А. Г. Достоевская в своих мемуарах более вспоминала о впечатлениях мужа:

“В Венеции мы прожили несколько дней, и Федор Михайлович был в полном восторге от архитектуры церкви Св. Марка и целыми часами рассматривал украшающие стены мозаики. Ходили мы вместе и в Palazzo Ducale, и муж мой приходил в восторг от его удивительной архитектуры; восхищался и поразительной красоты потолками Дворца Дожей, нарисованными лучшими художниками xv столетия. Можно сказать, что все четыре дня мы не сходили с площади San Marco — до того она и днем, и вечером производила на нас чарующее впечатление”.

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ

206

ПЕТР Ильич Чайковский (7.05.1840, Воткинск, Вятской губ. — 6.11.1893, Санкт-Петербург) — композитор, дирижер. Первый раз коротко остановился в Венеции в 1872 г. проездом из Ниццы через Геную в Вену. Спустя два года, весной 1874 г., выехав из Петербурга, Чайковский по дороге в Рим снова на два дня заехал в Венецию. 29 апреля 1874 г. Петр Ильич писал из Венеции брату Модесту (письмо написано на почтовой бумаге с изображением площади Св.Марка):

“На!.. смотри на виньетку и злись, лопай с зависти. Сегодня я целый день гулял по этой площади... Во-первых, холод здесь ужасный... Во-вторых, гостиницы все переполнены иностранцами, и я с трудом нашел комнатку, притом весьма невзрачную. В-третьих, Вене-

207

ция такой город, что если бы пришлось здесь прожить с неделю, то на пятый день я бы удавился с отчаяния. Все сосредоточено на площади Св. Марка. Затем куда ни пойдешь, пропадешь в лабиринте вонючих коридоров, никуда не приводящих, и, пока не сядешь где-нибудь в гондолу и не велишь себя везти, не поймешь, где находишься. По Canale Grande проехаться не мешает, ибо дворцы, дворцы и дворцы, все мраморные, один лучше другого, но в то же время один грязнее и запущеннее другого. Словом, совершенно как обветшалая декорация из первого акта «Лукреции». Зато палаццо дожей — верх красоты и интересности, с романтическим ароматом совета десяти, инквизиции, пыток и т. п. прелестей. Я все-таки избегал его еще раз вдоль и поперек и для очистки совести побывал в других двух-трех церквях с целой бездной картин Тициана и Тинторета, статуй Кановы и всяких эстетических драгоценностей. Но, повторяю, город мрачный, как будто вымерший. Не только лошадей, даже ни одной собаки я не видел”.

30 апреля 1874 г. Чайковский выехал из Венеции в Рим и позднее, вспоминая это свое итальянское путешествие, всякий раз повторял, что в Венеции в конце апреля “буквально мерз в своей комнате”.

В третий раз Чайковский побывал в Венеции в ноябре 1877 г., спустя несколько месяцев после неудачной женитьбы на А. И. Милюковой. По совету родных и друзей и на деньги баронессы фон Мекк, на многие годы ставшей другом и покровительницей Чайковского, он



Петр Ильич Чайковский.

отправился для лечения нервов в длительное заграничное путешествие. Побывав в Берлине, Женеве, Кларане, Париже, Флоренции и Риме, Чайковский приехал в Венецию с братом Анатолием и молодым слугой Алексеем Софроновым (“Алешей”) рано утром 23 ноября 1877 г. Известно, что в то пребывание в Венеции композитор усердно занимался инструментовкой первой картины второго действия оперы “Евгений Онегин”. В те же дни в Венеции Чайковским написаны известные строки, вошедшие во все его биографии:

“Я артист, который может и должен принести честь своей родине. Я чувствую в себе большую художественную силу. Я еще не сделал и десятой доли того, что могу сделать. И я хочу всеми силами души все это сделать”.

Письмо сестре А. И. Давыдовой, 24 ноября 1877 г.

Спустя неделю Чайковский писал сестре:

“Я принялся за работу, а работы у меня бездна. Между прочим, я должен окончить те сцены оперы, которые пойдут на консерваторском спектакле и которые Толя <брат, А. И. Чайковский> должен отвезти в Москву. Я засел за работу и сделал в шесть дней столько, сколько и не мог ожидать. Работа эта поглотила меня... Тяжело русскому жить за границей. Боже мой, до чего нас ненавидят! Толя тебе расскажет, как мы кипятились и обижались каждый вечер на площади Св. Марка, когда продавцы газет кричат, чтоб приманить покупателей: «Grande vittoria dei Turchi!» <«Большая победа турок» —

итал. > *И это повторяется каждый день по поводу всякого турецкого известия о всякой рекогносцировке. «Vittoria dei Russi!» <«Победа русских»> не кричат никогда!!!»*

Письмо А. И. Давыдовой, 30 ноября 1877 г.

210

14 декабря 1877 г., захав ненадолго в Вену, Чайковский вновь вернулся в Венецию, поселившись со слугой Алексеем на этот раз в престижном отеле “Londra Beau Rivage” на набережной Скъявони. В память о том посещении на фасаде отеля установлена мемориальная доска, говорящая о том, что здесь, в отеле “Лондра”, Чайковский писал свою Четвертую симфонию (добавим, что она была окончена в Сан-Ремо и посвящена фон Мекк). Тогда же в Венеции Чайковский окончил и инструментовку “Евгения Онегина”.

О подробностях жизни П. И. Чайковского в Венеции во второй половине декабря 1877 г. говорят его письма брату Анатолию:

“Сегодня мне гораздо лучше. Я очень хорошо спал и с утра принялся за симфонию. После завтрака мы ходили с Алешей в дворец дождей и шляться по улицам. От двух до пяти я опять писал. В пять мы обедали; от шести до восьми я сидел на площади и гулял... Скажу тебе про Венецию, что она мне донельзя противна. В ней есть что-то поганое, мерзкое, к чему я никогда не привыкну. Помещение мое ужасно высоко, ужасно тесно, но довольно уютно” (15 декабря);



Мемориальная доска на фасаде отеля “Londra Palace”.

“...Первая часть симфонии подходит к концу... Я уеду из Венеции без всякого сожаления. Вчера вечером мне захотелось покутить. Я отправился в Birreria di Genova, где каждый вечер поют и играют, что-то вроде café chantant. Оказалась пустота, смехотворное пение с претензией на серьезность, скверное пиво и скука. Вы-



LONDRA

PALACE

пил кружку пива и воротился домой. Сегодня здесь на улицах большое оживление. Через три дня Рождество, везде выставлены подарки, кричат, зазывают, насилиу протолкаться можно. Я купил сейчас у букиниста за шесть лир громадный том французской иллюстрированной истории Наполеона. Пью чай и хочу заняться рассмотриванием этой книги. Совершенно здоров, покоен и весел” (22 декабря);

“Я тебе еще ни разу не писал о голубях. Теперь уже я их кормлю ежедневно и научился делать так, что они обсаживают меня всего с ног до головы. Даже ссорятся и дерутся, сидя у меня на голове или на руке. Я покину Венецию без сожаления. Тем не менее я должен сказать, что, может быть, именно благодаря венецианской тишине и миру, я так хорошо (тпфу, тпфу, тпфу) себя чувствую эти последние дни. Нервы изумительно успокоились. Сплю я отлично, но, впрочем, каждый вечер незадолго до сна я выпиваю или пива, или рюмки две коньяку. Аппетит всегдашний, т. е. отличный. Разумеется, всем этим я обязан симфонии, но только благодаря венецианской однообразной жизни и отсутствию всяких развлечений я мог так упорно и так усидчиво заниматься. Когда я писал оперу, я не испытывал того чувства, какое дает мне симфония. Там я пишу наудачу: может быть, годится, а может быть, ничего не выйдет. Симфонию я пишу с полным сознанием, что это произведение недюжинное и наиболее совершенное по форме из всех моих прежних писаний” (24 декабря).

На предыдущем развороте:
Отель “Londra Palace”, где в декабре 1877 г. П. И. Чайковский писал Четвертую симфонию.

28 декабря 1877 г. П. И. Чайковский уехал из Венеции в Милан.

Во время нового заграничного путешествия в феврале-марте 1881 г. Чайковский по дороге из Вены во Флоренцию был от Венеции в нескольких минутах езды, проезжая станцию Местре, но в город так и не заехал. Однако в ноябре того же года, опять по пути из Вены во Флоренцию, Чайковский решил-таки заехать на пару дней в Венецию.

Он прибыл в Венецию поездом 27 ноября 1881 г. в приподнятом творческом настроении. “Музыка просто прет из меня”, — неоднократно признавался он в те дни в письмах родным и знакомым. На следующий день после приезда Чайковский сделал в письме брату Анатолию неожиданное признание:

“Венеция мне на этот раз ужасно нравится... Сегодня, вставши, отворил окно, и день оказался чудный; воздух какой-то мягкий, ласкающий. Одевшись, пошел гулять, завтракал в том трактирчике, где мы с тобой бывали, потом бродил по уморительно узким улицам, при каждой мясной и овощной лавке с вонью вспоминал, как ты на это сердился. Был в Santa Maria dei Frari (где похоронены Тициан и Канова — помнишь?), потом сидел на площади и наслаждался чудным днем и оживлением толпы, наполнявшей площадь по случаю военной музыки, игравшей посредственно. В общем, мне так весело и так хорошо себя здесь чувствую, что решил остаться еще на один день

и только завтра вечером поеду во Флоренцию, где тоже останусь два дня”.

28-го вечером Чайковский с удовольствием сходил в цирк, а на следующий день уехал во Флоренцию. Так завершился последний визит гениального композитора в Венецию, с которой он примирился и породнился только с пятой попытки.

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВРУБЕЛЬ

217

Михаил Александрович Врубель (17.03.1856, Омск — 14.04.1910, Петербург) — художник. В начале 1884 г. был приглашен в Киев для участия в реставрационных работах в Кирилловской церкви XII в.; руководитель работ, профессор А. В. Прахов, заказал Врубелю четыре образа (Богородицы, Христа, св. Афанасия и св. Кирилла) для главного иконостаса. Сын Прахова — Н. А. Прахов (также искусствовед и художник) написал об обстоятельствах неожиданного путешествия Врубеля в Италию:

“Прошло лето 1884 года. Подходила к концу осень. Итальянские мастера должны были ставить в Кирилловской церкви мраморный иконостас. М. А. Врубелю пора было приниматься за исполнение заказанных ему четырех образов, ради которых он и приехал в Киев. Вспомни-



Михаил Александрович Врубель.

ная это время, наш отец говорил, что, работая вместе с Михаилом Александровичем в Кирилловской церкви и Софийском соборе, он имел возможность убедиться в его огромном таланте и слабости воли. Опасаясь, что рассеянный образ жизни в Киеве помешает Врубелю со-

средоточить все свое внимание на исполнении образов, мой отец дал ему дружеский совет — поехать на зиму в Италию и там писать образа: «Поезжайте сначала в Равенну, познакомьтесь с древними мозаиками церквей, а потом поселитесь в Венеции. Климат в ней мягкий, зимой иностранцев приезжает мало... Тут же, под боком, собор Святого Марка с его чудесными мозаиками разных эпох, а в часе езды на гондоле, на острове Торчелло, в церкви Santa Maria Assunta — прекрасно сохранившиеся мозаики XII века. Кроме этого во Дворце Дожей, в церквях и в музеях — чудесные венецианские колористы: Джованни Беллини, Паоло Веронезе, Тициан, Тинторетто и много других». Предложение это пришлось по сердцу Врубелю».

Итак, осенью 1884 г. Врубель отправился в Венецию, чтобы написать иконы для Кирилловской церкви, а также организовать снятие копий с фрагментов мозаик в венецианском соборе Сан-Марко и прославленном мозаиками IX–XII вв. соборе на острове Торчелло в венецианской лагуне.

По дороге в Италию Врубель заехал к родным в Харьков. Вместе со своим молодым спутником, киевским художником Самуилом Гайдуком, Врубель доехал до Вены для пересадки на вечерний поезд на Венецию. Гайдук остался в отеле, а Врубель решил до отхода поезда посмотреть город. В одном из венских музеев он встретил петербургского приятеля, тот увлек его в ресторан; кончилось тем, что Врубель забыл о поезде и Гайдук, без



Палаццо xv в., в котором М. А. Врубель снимал квартиру
в 1884–1885 гг.

знания языков, уехал в Венецию один, а потом сутки бродил по площади Сан-Марко, надеясь там встретить пропавшего спутника. Чудесным образом они все-таки встретились и поселились в самом центре Венеции в огромных комнатах с росписями, лепными потолками и окнами во всю стену. Жилище художников находилось на втором этаже (“в бельэтаже”) в Casa Rossi на площади Сан-Маурицио в доме № 275 — существующем и сегодня великолепном палаццо xv в. Окна комнат выходили на площадь, прямо открывался вид на другой знаменитый венецианский дворец — Palazzo Zaguri в духе венецианской готики. Квартира, стол и прислуга обходились Врубелю в 125 франков в месяц. Главным недостатком жилища, в котором Врубель жил и работал с ноября 1884 по весну 1885 г., было то, что огромная комната совсем не удерживала тепла от печки: температура не поднималась выше 7–8 градусов, и Врубелю приходилось ходить дома в шерстяной фуфайке и фуражке.

В семье Праховых сохранился альбом с карандашными и акварельными зарисовками Врубеля в Венеции. Одна из них — набросок обстановки в венецианском жилище Врубеля. Н. А. Прахов так пересказывает этот эскиз:

“На память о мастерской Врубель нарисовал карандашом просторную комнату, с окном во всю стену, с правой стороны завешенным снизу на одну четверть. Наверху поднятая штора. Около противоположной стены стоит на мольберте огромный чистый холст,

рядом с которым стоит переносная лестница в четыре ступени, а на ней — керосиновая лампа на высокой ножке с абажуром. В глубине комнаты — кушетка, над ней висят две картины в простых рамах. На первом плане стоит стул с изогнутой спинкой, как на креслах римских сенаторов. Справа — угол стола, на котором стоит кофейник на спиртовке. Тут же низкое мягкое кресло, удобное для отдыха после работы. Кресло-стул с простой спинкой и высокая круглая подставка — столик на трех ножках дополняют разнокалиберную обстановку мастерской, освещенной сверху керосиновой лампой”.

В квартире Врубеля на площади Сан-Маурицио некоторое время гостил русский художник Н. И. Мурашко, который оставил мемуары о жизни своей и Врубеля в Венеции:

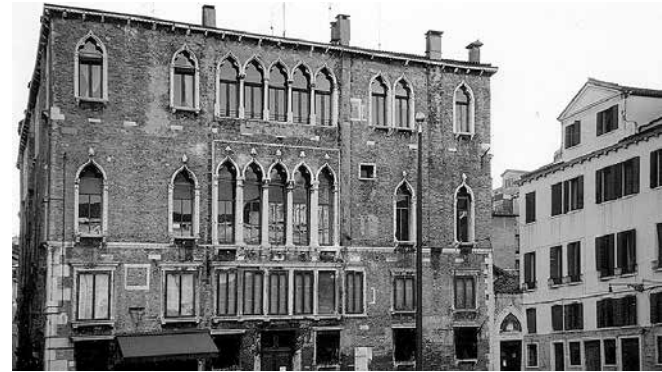
“Помещался он < Врубель > в бельэтаже дома чуть не XV века. Две комнаты были расписаны фресками; лепные потолки, все это как-то особенно настраивало... В этом живописце плотно находился и скульптор. Его Христос, будучи вполне натушеван, так сказать, вылеплен силою разнообразных и тонких полутонов, был без зрачков. Глаз был обработан, как у мраморной статуи... Богоматерь тоже смотрела слепой... Врубель по несколько часов сряду, не отрываясь, с большой любовью работал над этими образами. Он работал кистью и масляными красками своеобразно: не прокрашивал целые площади, как обыкновенно, а все прокладывал штрихами, делая это тонкими кистями. Как в хорошей, строгой гравю-

ре, штрихи шли по всем поворотам складок... Утром после кофе, которое нам подавал слуга, я уходил, рисовал и писал в музее Академии или что-либо осматривал. А Врубель, не отрываясь, сидел за образами... Работал Врубель без всякой модели: ни манекена, ни натурщицы никогда для этих образов не было. Натурищик из Академии приходил рано утром, чистил кисти и уходил. Раз попросил Врубель меня поддержать и показать свою руку для руки одного из святых, но это продолжалось не более двух-трех минут... В Венеции я прожил до 5 апреля. Обедали мы в очень скромной траптории. Мы были тут самые важные гости. За нами сеньор Этторе очень ухаживал. Обыкновенными посетителями тут были приказчики лавочек, небогатые хозяева, один гондольер, один камердинер из ресторана: все люди далеко не высокого полета; все приходят с грошовыми газетками в кармане. Все необычайно вежливы, хотя шумливы, болтают без умолку; но мы знаем, что нашего места никто из них не займет, а если займет, то моментально все подвигаются или же лишний уходит за другой стол. Здесь у каждого в известный час свое место. Сеньор Этторе в синей куртке, в серых панталонах и в шапочке набок предлагает нам: «Ризовальаван, или грансьевало» и т. д. Пили крайне умеренно дешевое вино, переходили на пъяцца Сан-Марко, а чаще возвращались домой. Я писал письма, а Михаил Александрович еще немного просматривал что-либо в своих образах. Часто мы заходили в какой-либо из храмов. Врубель очень увлекался масте-

ром Дж. Беллини, делал даже с него акварельные наброски. Любовались мы много и Тьеполо, в палаццо Лабиа он особенно хорош. Тут увидел Михаил Александрович дочь служителя, которая нам открывала зал. Ангелоподобное существо лет пятнадцати. Михаил Александрович предложил ей попозировать. Она позвала мать; та охотно дала свое согласие, и мы на другой день, после обеда, ее рисовали: у меня вышло нечто миловидное и всем понравилось, я был очень доволен. У Врубеля же нечто грубоватое, просто несколько пятен. Но прошло немного дней, я посмотрел на свой этюд, увидел: чтоб написать такое нечто поверхностно-смазливое, нечего было ехать в Венецию, нечего было беспокоить прекрасную Виржинию. Таких лиц на бонбоньерках сколько хотите. Когда же посмотрел на этюд Врубеля, сильно не конченный, но у него щека горела живым пятном; глаз не окончен, но опять почувствована чудно голубизна зрачка; губы остались только нарисованы, но и в них уже намечен характер, улыбка, какая была только у Виржинии. Мы намеревались еще прийти раз порисовать, но не собрались”.

В Венеции Врубель много путешествовал (на маленьких баржах для простого люда) по каналам и окрестным островам. Выполняя наказ А. В. Прахова, побывал он и на острове Торчелло, в знаменитой византийской базилике Santa Maria Assunta. Вернувшись в тот же день в Венецию, он написал Прахову:

“Был я в Торчелло, радостно шевельнулось на сердце — родная, как есть, Византия. Посмейтесь над чело-



Palazzo Zaguri — прямо на него выходили окна венецианского жилища М. А. Врубеля.

веком, находящимся в стране Тициана. Что же делать: я и чай здесь пью больше для сердца, чем для желудка... Пришлите мне, пожалуйста, если возможно, аванс, а то мне с первого числа придется питаться масляными красками и выстроить себе на улице шалаш из оконных драпировок”.

Впечатления, полученные в Торчелло, позднее сыграли важную роль при написании ангелов в Кирилловской церкви; сам Врубель как-то признался:

“Это мне припомнились архангелы, которых я видел в Торчелло, когда я жил в Венеции и писал образа”.

В Венеции Врубель ежедневно ходил по церквям и музеям, где подробно изучил живопись венецианских

мастеров. Особенно оценил он Тинторетто, Чиму да Конельяно, Беллини, Карпаччо — выше, чем Тициана и Веронезе. А среди отдельных венецианских шедевров сам Врубель выделял следующие: Богоматерь Оранта из византийской базилики на острове Торчелло, Мадонна Беллини в церкви Сан-Заккариа, картины Карпаччо в Скуола Сан-Джорджо делла Скьявони.

Заказанные ему образа для кирилловского иконостаса Врубель писал на тяжелых цинковых досках («одну доску трое силачей едва волочают»). Первичной основой для образа Богоматери стало лицо жены А. В. Прахова — Эмилии Львовны, к которой художник многие годы был неравнодушен.

В марте 1885 г. он писал из Венеции старшей сестре Анне:

“...Перелистываю свою Венецию (в которой сию безвыездно, потому что заказ на тяжелых цинковых досках, с которыми не раскатишься), как полезную специальную книгу, а не как поэтический вымысел. Что нахожу в ней — то интересно только моей палитре”.

Более подробно о своих венецианских ощущениях он написал чуть позднее В. Е. Савинскому — художнику, в то время пенсионеру Академии художеств в Риме:

“Ворочал я мало, хоть пережил — или лучше — передумал и перенаблюдал массу и по нахальству моему сделал такие широкие выводы, что шире, кажется, и не надо бы. Вот тебе они нагишом, без закруглений и предпосылок. Крылья — это родная почва, жизнь — здесь

можно только учиться, а творить — только или для услаждения международной праздности и пустоты, или для нескончаемых самоистязаний по поводу опущенной или поднятой руки, и только в том случае плодovitо, — если удалился сюда, хлебнув так жизни, что хватит на долгое сваренье, когда в сущности вопрос сводится к комфорту и уединенью... А где так можно почувствовать, как не среди родных комбинаций?. Ах, милый, милый Василий Евменьевич, сколько у нас красоты на Руси!”

Работы, выполненные Врубелем в Венеции, были впоследствии очень высоко оценены современниками. Художник Михаил Нестеров, уже после Врубеля работавший в Киеве в Софийском соборе, как-то написал:

“В воскресенье был я в Кирилловском монастыре 12 века... Там между другими художниками есть работы Врубеля — 4 образа в иконостасе. Писал он их в Венеции, под впечатлением старинных мастеров и приложил к этому свой удивительный талант, и вышло нечто, от чего могут глаза разгореться. Особенно хороша икона Богоматери, не говоря уже про то, что она необыкновенно оригинально взята, симпатична, но главное — это чудная строгая гармония линий и красок...”

Другой знакомый Врубеля, художник Л. Ковальский, вспоминал о Врубеле после возвращения из Венеции:

“Зрелище было более чем необыкновенное: на фоне примитивных холмов Кирилловского за моей спиной стоял белокурый, почти белый блондин, молодой, с очень характерной головой, маленькие усики тоже почти белые.

Невысокого роста, очень пропорционального сложения, одет... вот это-то в то время и могло меня более всего поразить... весь в черном бархатном костюме, в чулках, коротких панталонах и штиблетах. Так в Киеве никто не одевался, и это-то и произвело на меня должное впечатление. В общем, это был молодой венецианец с картины Тинторетто или Тициана, но это я узнал много лет спустя, когда был в Венеции”.

Впоследствии венецианские впечатления сыграли большую роль в творчестве Врубеля. Он сделал несколько панно на венецианские темы для домов богатых русских меценатов. Искусствоведы и биографы Врубеля единодушно полагают, что и его позднейшие романтические, энергично-порывистые работы, несомненно, навеяны Венецией, в частности такими работами Тинторетто, как “Чудо св.Марка” в Академии, “Введение Марии во храм” в церкви Санта Мария дель Орто, “Распятие” и “Несение креста” в Скуола ди Сан-Рокко.

Поэт Валерий Брюсов оставил мемуары о том периоде, когда уже очень больной психически Врубель в один из светлых промежутков взялся рисовать его портрет:

“С особой любовью Врубель говорил об Италии. Он изумлял необыкновенной ясностью памяти, когда рассказывал о любимых картинах и статуях. В этой ясности памяти было даже что-то болезненное. Врубель мог описывать какие-нибудь завитки на капители колонны, в какой-нибудь венецианской церкви, с такой точностью, словно лишь вчера тщательно изучал их”.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ СУРИКОВ

229

Василий Иванович Суриков (24.01.1848, Красноярск — 19.03.1916, Москва) — художник. Посетил Италию во время большого заграничного путешествия 1884 г., средства для которого дала продажа П. Н. Третьякову двух знаменитых картин — “Утро стрелецкой казни” и “Меншиков в Березове”. Тогда же Суриков задумал и “Боярыню Морозову”, взяв в заграничное путешествие исторические материалы о русском расколе.

После поездки по городам Германии и недолгого пребывания в Париже Суриков направился на юг в Италию, побывал в Милане, Флоренции, Риме, Неаполе и Венеции, а потом через Вену вернулся в Россию. Воспоминания Сурикова от Венеции (его впечатления, отражённые в письмах, представлены во второй части данной



Василий Иванович Суриков.

книги) во многом являются вариацией на классическую тему “умирающего города”:

“Не знаю, какую-то грусть навевают эти чёрные, крытые чёрным кашемиром гондолы. Уж не траур ли это по исчезнувшей свободе и величию Венеции? Хотя на картинах древних художников во время счастья Венеции они тоже чёрные...”

Свои впечатления от шедевров венецианского искусства Суриков изложил в пространном письме к П. П. Чистякову из Вены.

О мозаиках в Соборе Св. Марка: *“Дня три как я приехал из Венеции. Пошел я там в Сан-Марко. Мне ужасно понравились византийские мозаики в коридоре на потолке, на правой стороне, где изображено сотворение мира. Адам спит, а бог держит уже созданную Еву за руку. У нее такой простодушно-удивленный вид, что она не знает, что ей делать. Локти оттопырены, брови приподняты. На второй картине бог представляет ее Адаму; у нее все тот же вид. На третьей картине она прямо приступает уже к своему делу. Стоят они спиной друг к другу. Адам ничего не подозревает, а Ева тем временем получает яблоко от змея. Далее Адам и Ева, стоя рядом, в смущении прикрывают животы громадными листьями. Потом ангел их гонит из рая. На следующей картине бог делает им выговор, а Адам, сидя с Евой на корточках, указательными пальцами обеих рук показывает на Еву, что это она виновата. Это самая комичная картина. Потом бог дает им одежду: Адам в рубахе, а Ева ее надевает. Далее там в поте лица снискивают себе пропитание, болезни и проч. Я в старой живописи, да и в новейшей, никогда не встречал, чтобы с такой психологической истиной была передана эта легенда. Притом все это художественно, с бесподобным колоритом...”*

О живописи Тинторетто: *“Кто меня маслом по сердцу обдал, так это Тинторет. Говоря откровенно, смех разбирает, как он просто неуклюже, но так страшно мощно справлялся с портретами своих краснобархатных дождей, что конца не было моему восторгу. Все прими-*

тивно намечено, но, должно быть, оригиналы страшно похожи на свои портреты, и я думаю, что современники любили его за быстрое и точное изображение себя. Он совсем не гнался за отделкой, как Тициан, а только схватывал конструкцию лиц просто одними линиями в палец толщиной; волосы, как у византийцев, черточками... Ах, какие у него в Венеции есть цвета его дожеских ряс, с такой силой споханных и пробороненных кистью, что, пожалуй, по мощи выше «Поклонения волхвов» Веронеза. Простяк художник был. После его картин нет мочи терпеть живописное разложение. Потолок его в Палаццо дождей слаб после этих портретов. Просто, должно быть, не его это было дело..."

О картинах Тициана и Веронезе в галерее "Академия": "В Академии художеств пахло какой-то стариной от тициановского «Вознесения богородицы». Я ожидал, что это крепко, здорово работано широченнейшими кистями, а увидел гладкое, склизкое письмо на доске. Потом, на первый взгляд, бросилась эта двуличневая зеленая одежда на апостоле (голова у него превосходная), свет желтый, а тени зеленые... а рядом другой апостол в склизкой киношной одежде, скверно это действует. Но зато много прелести в голове богородицы. Она чудесно нарисована: рот полуоткрыт, глаза радостью блестят. Он сумел отрешиться здесь от вакхических тел. Вся картина по тому времени хорошо сгруппирована. Одна беда — что она не написана на холсте. Доска и придавала картине склизистость. В «Тайной

вечери» Веронеза тона натуральнее парижской «Каны», но фигуры плоски, даже отойдя далеко от картины, и еще мне не нравится то, что киношарь везде проглядывает. В этой картине есть чудная по лепке голова стоящего на первом плане посреди картины толстяка. Сам Веронез опять себя представил, как и в «Кане», только стоит и руками размахивает. Я заметил, что ни одной у него картины нет без своего портрета. Зачем он так себя любил? Мне всегда нравится у Веронеза серый нейтральный цвет воздуха, холодок. Он еще не додумался писать на открытом воздухе, но выйдет, я думаю, на улицу и видит, что натура в холодноватом рефлексе. Тона Адриатического моря у него целиком в картинах. В этом море, если ехать восточным берегом Италии, я заметил три ярко определенных цвета: на первом плане лиловато, потом полоса зеленая, а затем синеватая. Удивительно хорошо ощущаемая красочность тонов. Я еще заметил у Веронеза много общего в тонах с византийскими мозаиками святого Марка и потом еще много общего с мозаиками — это ясное, мозаичное разложение на свет, полутон и тень. Тициан иногда страшно желтит, зной напускает в картины: когда отойдешь от подобной знойной картины Тициана к Веронезу, то будто бы холодной водицы изопьешь..."

Вторично В. И. Суриков посетил Венецию во время заграничного путешествия 1900 г. (наряду с Неаполем, Римом и Флоренцией), однако никаких материалов об этой поездке, по-видимому, не сохранилось.

ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ
И
АПОЛЛИНАРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
ВАСНЕЦОВЫ

Виктор Михайлович Васнецов (15.03.1848, с. Лопьял, Вятской губ. — 23.07.1926, Москва) — художник; Аполлинарий Михайлович Васнецов (25.08.1856, с. Рябово Вятской губ. — 23.01.1933, Москва) — художник, младший брат В. М. Васнецова.

Первым из братьев Васнецовых в Венеции побывал Виктор Михайлович. Весной 1885 г., перед переездом в Киев для работы над росписями Владимирского собора, он был командирован в Италию с целью ознакомления с искусством итальянского Возрождения. Посетил Венецию, Равенну, Флоренцию, Рим и Неаполь.



Виктор Михайлович
Васнецов.



Аполлинарий Михайлович
Васнецов.

Приехал в Венецию 15 мая 1885 г. венским поездом и провел в городе четыре дня. В одном из писем матери из Венеции он писал:

“Впечатление от города ни с чем не сравнимое, оригинальное и почти до слёз поэтичное, так что все невзгоды и потери окупаются. Церковь одна св. Марка чего стоит, ах, как трогательно впечатление этого дивного византийского старика...” 28 мая 1885 г. в письме Е. Г. Мамонтовой уже из Рима Виктор Васнецов более подробно описал свои венецианские впечатления:

“Четыре дня я пробыл в Венеции и каждый день по два раза ходил к Марку и около Дожей. Один вечер мне

остался особенно памятен, это было накануне, кажется, отъезда, я с ними, этими дорогами стариками, точно прощался, и так мне было жаль их покинуть. В тот вечер я было начал письмо к Вам, но увидел, что волновавшее меня художественное чувство другому не передается. Из Венеции поехал ночью мимо уже совсем заснувших старых дворцов...”

Аполинарый Васнецов в 1898 г. несколько месяцев жил и работал в Париже, где имел мастерскую в районе бульвара Монсури. Из Парижа он предпринял путешествие по Италии: в Рим (с поездками в Тиволи и Альбано), в Неаполь (“шумно-крикливый и ярко-демократический”); провел неделю в Помпее (“молчаливой и грезящей снами прошлого”); поднимался верхом на лошади на “дышащий серой” Везувий. Некоторое время жил во Флоренции, а оттуда приехал в Венецию, где поселился в отеле “Sandwirth” на Славянской набережной. Впоследствии А.М. Васнецов вспоминал об этой поездке:

“Италия, конечно, не могла не произвести на меня ошеломляющего впечатления...”

В 1912 г. Аполинарый Васнецов вторично посетил Венецию во время большой поездки с семьей по Италии и Швейцарии.

ИННОКЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ

237

ИННОКЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ (1.09.1855, Омск — 11.12.1909, Петербург) — поэт, драматург, переводчик, литературный критик. К моменту путешествия в Италию летом 1890 г. тридцатипятилетний Анненский преподавал древние языки и историю в частных гимназиях, Павловском женском институте и на Высших женских (Бестужевских) курсах. Проехав поездом через Варшаву и Вену, провел неделю в Венеции, затем посетил Падую, Болонью, Флоренцию, Рим, Перуджу, Ассизи, Пизу, Геную, Турин, Милан, Неаполь, Сорренто.

Анненский приехал в Венецию 19 июня 1890 г. венским поездом. Его спутником был сослуживец по гимназии, будущий известный профессор-историк Е. Ф. Шмурло. В письмах жене Надежде Валентиновне



Иннокентий Федорович Анненский.

Анненской (в первом браке — Хмара-Барщевская) педантичный Анненский подробно описал свой распорядок дня в Венеции:

“Встаем рано, в 7, 7 1/2 уже на ногах, идем в какое-нибудь кафе, и я пью чашку черного кофе. Здесь подходит цветочница, покупаешь букетик, прочитываешь местную газету. Затем музеи и церкви”.

Не раз пишет о “неловком положении туриста” в Венеции: в церквях люди молятся, а тут спуют и толкаются “форрестьеры” с путеводителями в руках...

Анненский: *“Набегавшись, часам к 4–5 идем в какой-нибудь скромный ресторан. Тут кормят плоховато, но сытно и дешево. На первое кушанье я беру обыкновенно суп con piselli, т. е. с горошком и рисом, в него прибавляют еще целое блюдечко тертого сыру. На второе беру costoletta alla milanese <котлету по-милански> или vitella <телятину>. За обедом пью местное вино с водой и заедаю скромный обед кусочком сыра. Вот и все. А вечером где-нибудь в giardino <саду>. Раз видели оперу в загородном театрике: перед каждым местом стоит столик, и тут мы едим мороженое или я пью излюбленный свой gassosa <лимонад>, который здесь подают в особых бутылках с льдинкой. Очень эффектно была наша поездка в Лидо, там театр на пристани, и во время бури актеры должны были перекрикивать ветер и волны Адриатики. В общем, хорошо”.*

26 июня 1890 г. Анненский и Шмурло уехали из Венеции во Флоренцию.

Впоследствии И. Ф. Анненский, ставший уже известным поэтом, переводчиком, драматургом, часто вспоминал Венецию, но к концу жизни она представлялась ему уже не в ярких красках, а затерянным в ночи городом:

“Венеция — Венеция! Мне, кажется, довольно повторить это слово, и я вижу вечерние огни Венеции... Знаете, мне хотелось бы теперь не венецианских картин — Бог с ней, с этой поднимаемой на воздух дамой Тициана, — а нервных венецианских скрипок... и огней, огней... с того берега, и с открытых, острых, черных гондол, которые

ночью воображаешь себе не черными.... Черная вода канала, белая рубашка гондольера, и на поворотах безвестных canali, среди этих — не поймешь: дворцов или притонов, — гортанные крики лодочников. Я бы хотел Венецию вечером, ночью... невидной, безвестной, прошлой... Дождик идет... хорошо! Иди, дождик! Люди спят... спите, люди! А ты, моя барка, плыви тихо, тихо, и ты, тяжело дышащий человек, не спрашивай, куда меня везти... Не все ли мне равно..."

Письмо Е. М. Мухиной, 16 апреля 1905 г.

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

241

Антон Павлович Чехов (29.01.1860, Таганрог — 15.06.1904, Баденвейлер, Германия) — драматург, писатель.

Чехов трижды путешествовал по Италии. Первый раз — в марте-апреле 1891 г. вместе со своим издателем и другом Алексеем Сувориным и его сыном Алексеем Алексеевичем. Маршрут: поездом через Варшаву и Вену в Венецию; затем — Болонья, Флоренция, Рим, Неаполь (с посещением Помпей и восхождением на Везувий), опять Рим, потом — Ницца, Монте-Карло, Париж.

Второй раз — в сентябре-октябре 1894 г. снова с Сувориным. Маршрут на этот раз: из Крыма в Вену, потом



Антон Павлович Чехов.

242

Аббация (сегодня курорт Опатия в Хорватии), Триест (тогда австрийский, сегодня итальянский порт), Венеция, Милан, Генуя, затем Ницца, Париж, Берлин.

Наконец, третий раз — в январе-феврале 1901 г. вместе с Максимом Ковалевским и ученым-биологом Коротневым. Маршрут: из Ниццы (где все они тогда жили) в Пизу, Флоренцию, Рим. Планировали ехать дальше в Неаполь, но Чехов, взволнованный известиями о постановке “Трех сестер” в МХТ, внезапно решил прекратить вояж и ехать из Рима в Россию.

243

Первое путешествие в Италию было предпринято Чеховым всего лишь через несколько месяцев после тяжелой поездки на “каторжный” Сахалин. Эти два путешествия — на Сахалин и в Италию — надо рассматривать “в паре”, ведь у обоих было свое “метафизическое” измерение”: для Чехова, как он неоднократно отмечал, Сахалин и Италия (прежде всего Венеция) составили некую метафизическую пару: “Ад — Рай”.

22 марта 1891 г. Чехов с Сувориными приехали венским поездом в Венецию и поселились в фешенебельном отеле “Бауэр” на Большом канале (“мы жили как дожи”, — вспоминал Чехов). На следующий день, в соборе Сан-Марко, они случайно встретились с также впервые путешествовавшими по Италии Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус. Чехов тогда написал родным:

“Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга. Русскому человеку, бедному и приниженному, здесь в мире красоты, богатства и свободы нетрудно сойти с ума... Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество...”

Однако обнаруживать свой венецианский восторг перед спутниками, будь то Суворины или Мережковские, было не в характере Чехова — перед ними он держался нарочито спокойно и даже отстраненно. Известен рассказ Суворина-старшего о пребывании Чехова в Венеции:



“Антон Павлович там ни на что не смотрел. Больше с Алешей (сыном Суворина. — А. К.) в винт играл. В Венеции мне хотелось, чтобы он памятник Кановы посмотрел (надгробие скульптора Антонио Кановы в францисканской церкви Фрари. — А. К.). Взял с него слово. Утром спрашиваю: Видели? — Видел. — Ну что ж? — Хоть сейчас на Волково кладбище! Я даже плюнул. А потом добился: он там и не был. Купил себе открытку с этим памятником и на этом успокоился. Упрекаю его, а он: А зачем мне? Я ведь не собираюсь открывать мастерскую надгробных монументов для рогожских купцов...”

На самом деле Чехов, конечно же, был в церкви Фрари и надгробие скульптора Кановы, как и находящееся прямо напротив надгробие Тициана, конечно же, видел. Об этом ясно свидетельствуют письма Чехова родным. Вот, например, фрагмент из письма М. Е. Чехову от 25 марта 1891 г. из Венеции:

“В одной из знаменитейших церквей у усыпальницы скульптора Кановы лежит просто чудо: лев положил голову на протянутые передние лапы, и у него такое грустное, печальное, человеческое выражение, какого нельзя передать на словах...”

А вот другой, еще более выразительный эпистолярный фрагмент — из письма Чехова брату Ивану от 5 апреля 1891 г.:

“Великолепны усыпальницы Кановы и Тициана. Здесь великих художников хоронят, как королей, в церквах;

Предыдущий разворот:

На противоположном берегу Большого канала — отель “Бауэр”, где А. П. Чехов жил весной 1891 г.

здесь не презируют искусства, как у нас: церкви дают приют статуям и картинам, как бы голы они не были...”

Чехов, действительно, был в восторге от Венеции, хотя, в силу характера, тщательно скрывал это от спутников. Вот еще отрывок из письма И. П. Чехову:

“Одно могу сказать: замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни... А в храмах скульптура и живопись, какие нам и во сне не снились. Одним словом, очарование. Если когда-нибудь тебе случится побывать в Венеции, то это будет лучшим в твоей жизни... А вечер! Боже, ты мой господи! Вечером с непривычки можно умереть. Едешь ты на гондоле... Тепло, тихо, звёзды... Лошадей в Венеции нет, и потому тишина здесь, как в поле. Вокруг снуют гондолы... Поют из опер. Какие голоса! Проехал немного, а там опять лодка с певцами, а там опять, и до самой полночи в воздухе стоит смесь теноров, скрипок и всяких за душу берущих звуков...”

Подводя итоги своего пребывания в Венеции, Чехов отмечал:

“Из всех мест, в каких я был доселе, самое светлое воспоминание оставила во мне Венеция... Италия, не говоря уж о природе её и тепле, единственная страна, где убеждаешься, что искусство, в самом деле, есть царь всего, а такое убеждение дает бодрость...”

Венеция стала для Чехова воплощенным Раем победившей варварство культуры; со свойственной ему, как

говорили, “бухгалтерской педантичностью”, он даже перечислил в одном из писем критерии этого “Рая”:

“Самое лучшее время в Венеции — это вечер. Во-первых, звезды, во-вторых, длинные каналы, в которых отражаются огни и звезды, в-третьих, гондолы, гондолы и гондолы; когда темно, они кажутся живыми. В-четвертых, хочется плакать, потому что со всех концов слышатся музыка и превосходное пение... В-пятых, тепло...”

249

Однако бедняга Суворин так и не узнал об истинном настроении своего друга. Вернувшись в Петербург, Суворин на каждом шагу рассказывал (в т.ч. своему приятелю и неоднократно напарнику по итальянским путешествиям Григоровичу): Чехову, мол, “за границей не понравилось”. Престарелый Григорович написал об этом в журнале, от себя приписав Чехову чуть ли не “славянофильские убеждения”: Чехов-де сознательно “уклоняется от запада” — его душа “тяготеет к востоку...”

В этом же была уверена и жена Суворина, Анна Ивановна, о чем однажды открыто написала самому Антону Павловичу. Дело зашло так далеко, что Чехов, живший с мая 1891 г. на даче в Богилове, вынужден был, в свою очередь, написать специальное письмо Суворину, где с недоумением и горечью привел несправедливые упреки Григоровича в том, что он, Чехов, оказывается, принадлежит к “поколению, которое заметно стало отклоняться от Запада и ближе присматриваться к своему... Венеция и Флоренция ничего больше, как скучные города для человека даже умного”. Чехов написал тогда Суворину:

Слева:

Надгробие скульптора Антонио Кановы
во францисканской церкви Фрари.



“Merci, но я не понимаю таких умных людей. Надо быть быком, чтобы, приехав первый раз в Венецию или во Флоренцию, стать «отклоняться от запада». В этом отклонении мало ума. Но желательно было бы знать, кто это старается, кто оповестил всю вселенную о том, будто за граница мне не понравилась? Господи ты, Боже мой! Никому я, ни одним словом, не заикнулся об этом... Что же я должен был делать? Реветь от восторга? Бить стекла? Обниматься с итальянцами и французами?”

Впечатления от Венеции вошли в произведения Чехова: в первую очередь, в “Рассказ неизвестного человека”, где герой и его возлюбленная живут в том же самом отеле “Бауэр”, где жили весной 1891 г. Чехов и Суворины. Литературный герой после тяжелой болезни возвращается в Венеции к жизни... Есть там и рассуждения про надгробие Антонио Кановы во францисканской церкви...

Последний раз Чехов был в Италии в 1901 г. и оттуда написал своей будущей жене О. Л. Книппер:

“Одно скажу, здесь чудесно. Кто в Италии не бывал, тот еще не жил... Ах, какая чудесная страна, эта Италия! Удивительная страна! Здесь нет угла, нет вершка земли, который не казался бы в высшей степени поучительным...”

АЛЬБЕРТ
НИКОЛАЕВИЧ
И
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
БЕНУА

251

АЛЬБЕРТ Николаевич Бенуа (14.03.1852, Санкт-Петербург — 16.05.1936, Париж) — художник, архитектор; Александр Николаевич Бенуа (21.04.1870, Санкт-Петербург — 9.02.1960, Париж) — живописец, график, театральный художник, искусствовед.

Братья Бенуа выросли в семье архитектора Николая Леонтьевича Бенуа и Камиллы Кавос, дочери архитектора венецианского происхождения Альберта Кавоса.

Альберт Бенуа в 1876 г. женился на старшей дочери музыканта и капельмейстера К.И.Кинда, Марии Карловне Кинд. В 1883–1885 гг. они вместе путешествовали



Альберт Николаевич Бенуа.

по Италии (заезжали в Венецию), Франции, Испании. В 1884 г. за акварели “Местечко Болье”, “Город Сан-Ремо” и др. Альберт Бенуа был удостоен звания академика.

Его младший брат, Александр Бенуа, в свою очередь, женился в 1894 г. на младшей сестре — Анне Карловне Кинд и отправился с ней в свадебное путешествие по Италии. “Аня” к тому времени уже бывала в Венеции, а Александр впервые посетил “чудо-город” в ноябре 1894 г.

По рекомендации родных супруги Бенуа остановились тогда в старинном “Albergo Cavaletto” (сегодня это пятизвездочный гостиничный комплекс “Cavaletto — Doge Orseolo”). Гостиница, по удачному выражению



Александр Николаевич Бенуа.

самого Александра Бенуа, находится “как бы в кулисах Пьяццы Сан-Марко” и выходит окнами на стоянку гондол за Старыми Прокурациями на Basino Orseolo (названного в честь венецианского дожа Пьетро Орсеоло, основавшего здесь еще в X в. приют для пилигримов).

А. Н. Бенуа: *“На следующее же утро время года дало себя почувствовать с довольно жестокой стороны. Пошёл снег, отчего получилась не одна мокрота, но и слякоть; в то же время стало сыро и холодно. Нас это скорее потешало. Венеция отложила свой праздничный наряд, в котором она ещё предстала накануне, и теперь явила себя в каком-то будничном, домашнем виде...*



Гостиница "Cavalletto", в которой в 1894 г. останавливались Александр и Анна Бенуа.

А Для более интимного знакомства так, пожалуй, было и лучше. Это напоминало Россию, Петербург”.

Молодые супруги прожили в Венеции две с половиной недели и, по словам Александра Бенуа, “прожили бы дольше, но надлежало исполнить обещание вернуться к русскому Рождеству”. Уезжая, Бенуа подвёл итог пребывания в Венеции:

“Особенно поразила и пленила меня красочная красота внутренности собора Св. Марка, красота красок и живописи в картинах и плафонах Тинторетто и Паоло Веронезе во Дворце Дожей, и опять то красочное песнопение, что представляет собой картина первого — «Чудо Св. Марка» в Академии. Глубоко тронула нас тогда же «Мадонна» Джованни Беллини в сакристии церкви Фрари, и в какую-то сказочную страну нас увели циклы картин Карпаччо в Академии и в церковке San Giorgio. На какой-то особенно радостно-торжественный лад настроили нас фрески Тьеполо в плафоне церкви Скальци и в зале дворца Лабиа, совершенно же опьянил нас восторг от всей архитектуры и от всего орнаментального убора мраморной церкви Santa Maria dei Miracoli. А впрочем, дальнейшее перечисление бессмысленно, и я его прекращаю...”

ПЕТР ПЕТРОВИЧ ПЕРЦОВ

256

ПЕТР ПЕТРОВИЧ ПЕРЦОВ (4.06.1868, Казань — 19.05.1947, Москва) — писатель, искусствовед, литературный и художественный критик. Окончил юридический факультет Казанского университета. Один из зачинателей символистского движения. Впервые посетил Венецию в 1894 г. и с тех пор многократно бывал там, работая над большим исследованием о венецианской культуре.

Перцов: *“Сперва начал записывать, потом писать, а потом уж забыл и глядеть, и только знай себе пишу. В конце концов получается статья о Венеции и главным образом о венецианской живописи... — чуть не целая книга”*.

Письмо отцу, 24 октября 1897 г.

257

Книга “Венеция” была в целом закончена к концу 1897 г., публиковалась в российских журналах в виде серии очерков, а в 1905 г. вышла отдельным изданием. В 1912 г. под названием “Венеция и венецианская живопись” вышло второе, переработанное и дополненное издание этой книги.

Помимо богатых исторических и искусствоведческих разделов в книгах Перцова есть и страницы о его личной жизни в Венеции:

“В Венеции живешь совсем особенной жизнью. Утром просыпаешься с мыслью о дворцах, о картинах — о том, на чем заснул вчера. Соображаешь, куда идти и что смотреть; совещаешься с Бедкером. Сколько бы ни видел накануне, как бы ни сосредоточились мысли — сегодня чувствуется новая жажда впечатлений, нетерпеливое любопытство, какой-то духовный голод. Наконец, то или другое блюдо — церковь, музей — выбрано для его утоления. Выходишь на крыльцо; берешь гондолу... Выходишь на берег; блуждаешь по церквям, то светлым и просторным, как общественные залы, то темным, как молельня в частном доме, и темным до того, что их образа-картины едва разглядишь и в полдень. Обычно визит совершается свободно: только изредка пристанет какой-нибудь ретивый причетник или сторож и начнет пояснять, что на этом полотне изображено воскрешение Лазаря, а на том Страшный суд. И в конце концов приходится оплачивать эти ценные сведения... В массе предметов и впечатлений, незаметно для себя,



Петр Петрович Перцов.

делаешь выбор, останавливаясь на чем-нибудь одном. Этот подбор меняется каждый день. Как в Риме «дни Микель-Анджело» чередуются с рафаэлевскими, а те, в свою очередь, с «классическими», так и здесь сегодня почему-то особенно смотрится ясность и нега Тициана, завтра, напротив, тревожный сумрак Тинторетто, или веронезовская роскошь, или, может быть, строгая религиозность Беллини... К завтраку дневной урок окончен. После полудня почти все церкви закрыты, для музеев тоже слишком поздно. Да и довольно на сегодня. После

табль д'ота отправляешься на легкую partie de plaisir < прогулку — фр. >. Сворачиваешь с Пьяццы куда-нибудь в первую встречную щель бокового переулка. Блуждаешь в лабиринте узких коридоров, переплетающихся, как венецианские каналы, среди высоких стен домов. В иных уже темно и сыро. Отвратительный воздух, спертый и пропитанный всеми испарениями нечистоплотного южного города, стоит в этих труппах... Беспреданно поднимаешься и спускаешься по ступеням дугообразных мостов, заходишь в тупик, проходишь в туннелях под домами. Наконец, запутаешься в этом каменном лесу, и первый встречный мальчишка с гиком и свистом выводит тебя на большую дорогу. За свою услугу он получает пять центезими, но этого ему мало, и, чтобы заслужить другое су, он шумит и кричит, зовет ненужного гондольера, вызывается провести в закрытую церковь, и когда все это не помогает, начинает показывать чудеса гимнастики и бежит впереди, кувыркаясь через голову”.

Блестящие венецианские работы П. Перцова, широко используемые во второй части нашей книги, в начале XX в. были едва ли не главным источником знаний о Венеции и венецианской культуре (по крайней мере, до появления “Образов Италии” П. Муратова) для каждого русского, посещавшего в те годы Венецию.

МАКСИМИЛИАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВОЛОШИН

260

Максимилиан Александрович Волошин (настоящая фамилия — Кириенко-Волошин; 28.05.877, Киев — 11.08.1932, Коктебель) — поэт, критик, переводчик, эссеист, художник. Впервые посетил Венецию (а также Милан и Верону) в сентябре 1899 г. вместе с матерью, Еленой Оттобальдовной Кириенко-Волошиной. Там молодой поэт набросал четверостишие:

*Венеция — сказка. Старинные зданья
Горят перламутром в обливах тумана.
На всем — бесконечная грусть увяданья
Осенних тонов Тициана...*

Позднее на основе этих набросков уже зрелый поэт написал в январе 1910 г. стихотворение “Венеция”:

*Резные фасады, узорные зданья
На алом пожаре закатного стана
Печальны и строги, как фрески Орканья, —
Горят перламутром в отливах тумана...*

*Устало мерцают в отливах тумана
Далеких лагун огневые сверканья...
Вечернее солнце, как алая рана...
На всем бесконечная грусть увяданья.*

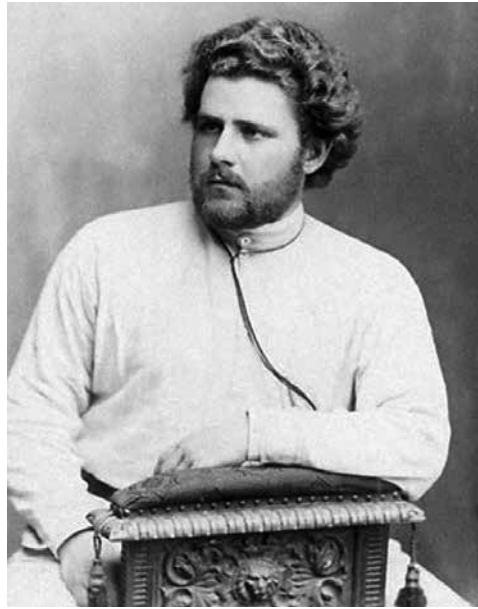
*О пышность паденья, о грусть увяданья!
Шелков Веронезе закатная Кана,
Парчи Тинторетто... и в тучах мерцанья
Осенних и медных тонов Тициана...*

*Как осенью листья, с картин Тициана
Цветы облетают... Последнюю дань я
Несу облетевшим страницам романа,
В каналах следя отраженные зданья...*

*Венеции скорбной узорные зданья
Горят перламутром в отливах тумана.
На всем бесконечная грусть увяданья
Осенних и медных тонов Тициана.*

В начале 1900 г. Волошин составил планы нового обстоятельного путешествия в Италию с непременно посещением Венеции. В одном из писем того времени

261



Максимилиан Александрович Волошин.

он вспоминал об обстановке домашнего театра в знакомом ему доме И. К. Айвазовского в Феодосии, где на заднике импровизированной сцены был изображен вид Венеции:

“Мне сейчас так и представляется та знаменитая гондола в зале Айвазовского, которая со скрипом выползает из-за задней кулисы...”

Однако летом 1900 г., путешествуя по Италии с друзьями-студентами В. Ишеевым и Л. Кандауровым, он, экономя средства и стремясь поскорее увидеть Рим, жертвует Венецией. М. Волошин снова посетил Венецию во время следующего итальянского путешествия (вместе с драматургом А. И. Косоротовым) летом 1902 г. В маршрут входили как уже виденные им места (Милан, Венеция, Неаполь, Рим, Пиза, Генуя), так и новые для Волошина (острова Сардиния и Капри). К сожалению, сведения об этой поездке не сохранились.

СЕРГЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ
ГЛАГОЛЬ

264



Сергей Сергеевич Глаголь.

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ГЛАГОЛЬ (настоящая фамилия — Голоушев; 1855-1920) — литератор, искусствовед, литературный и художественный критик. Стал известен в литературно-художественных кругах как автор серии беллетризованных биографий о знаменитых русских художниках.

Побывал в Венеции летом 1900 г., сняв номер в одном из пансионатов на набережной Скъявони. В конце того же года издал в Москве мемуарные заметки “На юг. Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь, Рим и Венецию”, в которых содержатся интересные мысли о судьбе Италии и Венеции, в частности. Рассуждая в

становившемся модном жанре “антиутопии”, С. Глаголь писал, что недалеко то время, когда на месте исчезнувшей исторической Венеции предприимчивые американцы устроят “искусственную Венецию”, во много раз масштабнее модного в те годы аттракциона “Венеция в Вене”: *“возьмут лагуны на откуп, настроят здесь бутафорских дворцов, наделают гондол и т.п.”*

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОЗАНОВ

266

Василий Васильевич Розанов (20.04.1856, Ветлуга Костромской губ. — 5.02.1919, Сергиев Посад) — философ, литератор. Весной 1901 г. вместе с женой Варварой Дмитриевной и падчерицей А. М. Бутягиной предпринял путешествие по Италии и Германии. В первой половине мая 1901 г. Розановы приехали в Венецию, имея рекомендательные письма к русскому консулу в Венеции, И. А. Сунди, от известного искусствоведа, профессора А. В. Прахова.

Венеция произвела на Розанова сильнейшее впечатление:

“До чего это красиво, — золото по мрамору, по металлу, по стеклу, в наружных украшениях дома. Вся Венеция

точно осыпана золотистой пылью, как некоторые красивейшие южные птицы — колибри или африканская «райская птица». Нельзя представить тогдашнего свежего сияния, но и в старине, в обветшалости — это неизгладимо”.

Особенно любил Розанов площадь и собор Св. Марка, который, по его словам, настолько прекрасен, “точно обливает душу материнским молоком”:

“Это что-то вечное и старое; не личное, а народное, не сделанное, а как бы само собой родившееся. Ни одним храмом на Западе я так не любовался”.

Сообщение о том, что башня Сан-Марко обрушилась летом 1902 г. от удара молнии, пришедшее спустя несколько месяцев после посещения Розановым Венеции, стало для него личным потрясением. В опубликованном в июле 1902 г. в “Новом времени” очерке о Венеции Розанов писал:

“С падением башни навсегда испортилось единственное по красоте, значительности и воспоминаниям место на земном шаре — площадь Св. Марка. Боль не в ее исчезновении, а в том, что площадь эта вдруг потеряла тысячелетний свой вид. Необходимость ее восстановить — абсолютна. Для европейской цивилизации потерять площадь Св. Марка — то же, что Афинам потерять Пропилеи или статую Афины Промахос на Акрополе”.

Тогда же Розанов публично выступил с идеей “всемирной подписки” на восстановление башни Сан-Марко:

267





Василий Васильевич Розанов.

“Непреренно — в прежних размерах, в полной копии с древнего. От реставрации она ничего решительно не потеряет, ибо архитектурных украшений на ней не было. Все дело в пропорциях и отношении к соседним зданиям”.

В том же 1902 г. Розанову даже пришлось вступить в историко-богословскую полемику на тему судьбы упавшей башни Сан-Марко и судьбы Венеции в целом. В “Приложении” к “Церковным ведомостям” за 1902 г. была напечатана статья протоиерея Кл. Фоменко, в которой он сравнивал башню Сан-Марко с Вавилонской башней. Причина крушения “венецианского колосса”, по его мнению, лежала *“в гордыне католиков вообще и венецианцев в частности”.*

На предыдущем развороте:
Остров San Giorgio. Фото XIX в.

В ответ на это В. Розанов, находившийся в сложных отношениях с церковным официозом, отмечал, что логика оппонента имела бы некоторые основания, если бы башня Сан-Марко не простояла почти целое тысячелетие, то есть так долго, как на Руси не стоит ни одно здание.

“Венецианцы, — писал Розанов, — очевидно, могут сказать, что Бог скорее хранит их и дела их рук, может быть даже потому отчасти, что они без всякой ревности и презрения относились как к древним римлянам и грекам, так и к своим современникам всех вер, например взяв многое из Византии для плана и живописи Св. Марка. Они верили слову, что «солнце восходит над добрыми и злыми», тогда как прот. Фоменко хотел бы закрыть его своими ладонями и оставить для Венеции, да и вообще для Запада, только ночь, а свет весь проглотить для себя и своих. Только как бы не поперхнуться”.

Прошло десять лет, и В. Розанов одним из первых приветствовал восстановление венецианской башни Св. Марка в 1912 г.

ВАЛЕРИЙ
ЯКОВЛЕВИЧ
БРЮСОВ

272

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ (13.12.1873, Москва — 9.10.1924, Москва) — поэт, прозаик, литературовед, переводчик.

В первый раз Брюсов побывал в Италии в мае-июле 1902 г. и отдал предпочтение Венеции, где жил совсем рядом с площадью Сан-Марко на Calle Vallagesso, 1326 (Брюсов называл свою улицу “улицей вина”, а соседнюю улицу San Moise — “улицей разврата”). Письма Брюсова из Венеции полны восторгов:

“Венеция — город единственный и настоящий. Буду жить в ней месяц, два и вообще пока не надоест, может быть, всю жизнь”; “Гондолы, базилики, итальянская речь и итальянское небо — хорошо! Но лев святого Марка — лучше всего!”

Подводя итоги своему итальянскому путешествию, В. Брюсов записал в своем дневнике:



Валерий Яковлевич Брюсов.

273

“Всего более по сердцу прилась мне Венеция. Люди выведены здесь из обычных условий существования людей и стали поэтому немного не людьми. При всей своей базарности Венеция не может стать пошлой. И потом: это город ненужный более, бесполезный, и в этом прелесть. Еще: это город единственный — без шума, без пыли. Прекрасно в нем деление на две части: город для всего грязного — это город каналов; город для людей — это улицы. Мечта Леонардо! Только иностранцы пользуются гондолами да очень богатые собственники. Средний венецианец живет на улице. Венецианцам не было пути в ширину — и они ушли вглубь, в мелочь, в миниатюру. Каждая подробность в их создании прекрасна, и именно подробности-то и прекрасны. Из художников очаровали меня здесь Беллини и Тинторетто... Венецию мы узнали, как Москву (нас было трое: я, жена, Надя се-

стра), полюбили ее, гордились своим знанием и любовью. До сих пор изо всей Италии мне жаль одной Венеции... «Зачем я не там!»»

Брюсов и его спутницы уже уехали из Венеции во Флоренцию, когда в июле 1902 г. узнали о падении от удара молнии венецианской башни Сан-Марко:

“Узнав о падении колокольни, мы опять поехали туда, провели там сутки, почти плакали на развалинах. Без *satrapile piazza* потеряла единство: задний план был декорацией, фасадом *S. Marco*; теперь впечатление дробится, ибо виден дворец дождей. С моря Венеция принизилась, словно изувечена. В Венеции мы жили одни. Работал я мало. Целые часы мы проводили в церквах, на вечерне, или на мостах, следя гондолы”.

Во время пребывания в Венеции в 1902 г. Брюсов написал два стихотворения:

ЛЕВ СВЯТОГО МАРКА

Pax tibi, Marce, evangelista meus.
 <Мир тебе, Марк, мой евангелист — лат.>
 Надпись на книге, которую держит
 в лапах лев святого Марка

*Кем открыт в куске металла
 Ты, Святого Марка лев?
 Чье желанье оковало
 На века — державный гнев?*

*“Мир тебе, о Марк, глашатай
 Вечной истины моей”.*
*И на книгу лев крылатый
 Наступил, как страж морей.*

*Полузверь и полуптица!
 Охраняема тобой,
 Пять веков морей царица
 Насмехалась над судьбой.
 В топи илистой лагуны
 Встали белые дворцы,
 Пели кисти, пели струны,
 Мир судили мудрецы.*

*Сколько гордых, сколько славных,
 Провожая в море день,
 Созерцали крыл державных
 Возрастающую тень.*

*И в святые дни Беллини
 Ты над жизнью мировой
 Так же горд стоял, как ныне
 Над развенчанной страной.*

*Я — неведомый прохожий
 В суете других бродяг;
 Пред дворцом, где жили дожи,
 Генуэзский вьется флаг;*

*Не услышишь ты с канала
Тасса медленный напев;
Но, открыт в куске металла,
Ты хранишь державный гнев.*

*Над толпами, над веками,
Равен миру и судьбе,
Лев с раскрытыми крылами
На торжественном столбе.*

276

ВЕНЕЦИЯ

*Почему под солнцем юга в ярких красках и цветах,
В формах выпукло-прекрасных представлял
пред взором прах?*

*Здесь пришлец я, но когда-то здесь душа моя жила,
Это понял я, припомнив гондол черные тела.*

*Это понял, повторяя Юга полные слова,
Это понял, лишь увидел моего святого Льва!*

*От условий повседневных жизнь свою освободив,
Человек здесь стал прекрасен и как солнце горделив.*

*Он воздвиг дворцы в лагуне, сделал дожем рыбака,
И к Венеции безвестной поползли, дрожа, века.*

*И доныне неизменно все хранит здесь явный след
Прежней дерзости и мощи, над которой смерти нет.*

В августе 1908 г. В. Брюсов снова приехал в Венецию поездом из Вены. В его дорожном дневнике есть запись: “Сначала Вена. Летний сад. «Венеция в Вене» < популярный аттракцион >. Потом подлинная Венеция. «Опять в Венеции». Люблю Венецию любовью не стареющей. Все мило в этих мраморах, самая пошлость и грязь”.

277

Тогда в Венеции Брюсов написал еще одно стихотворение, посвященное “чудо-городу”:

ОПЯТЬ В ВЕНЕЦИИ

*Опять встречаю с дрожью прежней,
Венеция, твой пышный прах!
Он величавей, безмятежней
Всего, что создано в веках!*

*Что наших робких дерзновений
Полет, лишенный крыльев! Здесь
Посмел желать народный гений
И замысл свой исчерпать весь.*

*Все грезят древние палаты,
Являя мраморные сны,
Не горько вспомнить мне несжатый
Посев моей былой весны,*

*И над руиной Кампаниле,
Венчавшей прежде облик твой,
О всем прекрасном, что в могиле,
Мечтать с поникшей головой.*

*Пусть гибнет все, в чем время вольно,
И в краткой жизни, и в веках!
Я вновь целую богомольно
Венеции бессмертный прах!*

АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
БЛОК

279

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Блок (28.11.1880, Петербург — 7.08.1921, Петроград) — поэт, драматург, эссеист. Посетил Венецию вместе с женой Любовью Дмитриевной (урожденной Менделеевой) во время большого заграничного путешествия весной-летом 1909 г. (затем побывал также в Равенне, Флоренции, Сеттиньяно, Перудже, Ассизи, Фолиньо, Сполето, Орвието, Сиене, Пизе, Марине-ди-Пиза, Милане).

В том году Блок переживал острый семейный и творческий кризис:

“Болтливая зима и всё прочее привели меня опять к опустошению, у меня не хватает творчества на четыре стиха. Надеюсь — не навсегда”.

Письмо матери, 23 февраля 1909 г.



Александр Александрович Блок.

“В Петербурге — серо, то снег, то ливень. Мрак и слякоть. Иногда весна похожа на осень... Новых стихов нет пока. А вот, я думаю, в Венеции, Флоренции, Равенне и Риме — будут”.

Ей же, 13 марта 1909 г.

Вечером накануне отъезда в Италию Блок смотрел в Художественном театре чеховских “Трех сестер”:

“Несчастливы мы все, что наша родная земля приготовила нам такую почву — для злобы и ссоры друг с другом. Все живем за китайскими стенами, полупрезирая друг друга, а единственный общий враг наш — россий-

ская государственность, церковность, кабаки, казна и чиновники — не показывают своего лица, а натравляют нас друг на друга. Изю всех сил постараюсь я забыть начистоту всякую русскую «политику», всю российскую бездарность, все болота, чтобы стать человеком, а не машиной для приготовления злобы и ненависти. Или надо совсем не жить в России, плюнуть в ее пьяную харю, или — изолироваться от унижения — политики, да и «общественности» (партийности)”.

Письмо матери, 13 апреля 1909 г.

В Венеции Блок с женой поселились в одном из пансионов на острове Лидо. В те дни Блок писал матери:

“Я здесь очень много воспринял, живу в Венеции уже совершенно как в своем городе, и почти все обычаи, галереи, церкви, море, каналы для меня — свои, как будто я здесь очень давно. Наши комнаты выходят на море, которое видно сквозь цветы на окнах. Если смотреть с Лидо, весь север окаймлен большими снежными вершинами, часть которых мы проехали... Жить спокойно, просто и дешево... Люба ходит в парижском фраке, я — в венском белом костюме и венецианской панаме. Рассматриваю людей и дома, играю с крабами и собираю раковины. Все очень тихо, лениво и отдохновительно...” И далее: *“Очень многие мои мысли об искусстве здесь разъяснились и подтвердились, я очень много понял в живописи и полюбил ее не меньше поэзии за Беллини и Боккаччио Боккачино, окончательно отвергнув Тициана,*



Купание на острове Лидо. Фото начала XX в.

Тинторетта, Веронеза и им подобных (за исключением некоторых деталей)... Всякий русский художник имеет право хоть на несколько лет заткнуть себе уши от всего русского и увидеть свою другую Родину — Европу, и Италию особенно”.

Блок много ходил по церквям и музеям Венеции и в одном из писем отмечал, что среди венецианских галерей и музеев ему “вспоминается Чехов в Художественном театре, — и не уступает Беллини; это тоже предвестие великого искусства...”

Находясь под впечатлением от Венеции, Блок посвятил ей три стихотворения из знаменитого цикла “Итальянские стихи” (1909):

ВЕНЕЦИЯ

*С ней уходил я в море,
С ней покидал я берег,
С нею я был далеко,
С нею забыл я близких...*

*О, красный парус
В зеленой дали!
Черный стеклярус
На темной шали!*

*Идет от сумрачной обедни,
Нет в сердце крови...
Христос, оставший крест нести...*

*Адриатической любви —
Моей последней —
Прости, прости!*

ВЕНЕЦИЯ

Евг. Иванову

*Холодный ветер от лагуны.
Гондол безмолвные гроба.
Я в эту ночь — больной и юный —
Простерт у львиного столба.*

*На башне, с песнею чугунной,
Гиганты бьют полночный час.
Марк утопил в лагуне лунной
Узорный свой иконостас.*

*В тени дворцовой галереи,
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой.*

*Все спит — дворцы, каналы, люди,
Лишь призрака скользкий шаг,
Лишь голова на черном блюде
Глядит с тоской в окрестный мрак.*

ВЕНЕЦИЯ

*Слабеет жизни гул упорный.
Уходит вспять прилив забот.
И некий ветер сквозь бархат черный
О жизни будущей поет.*

*Очнусь ли я в другой отчизне,
Не в этой сумрачной стране?
И памятью об этой жизни
Вздохну ль когда-нибудь во сне?*



Купание на острове Лидо. Фото начала XX в.

*Кто даст мне жизнь? Потомок дождя,
Купец, рыбак иль иерей
В грядущем мраке делит ложе
С грядущей матерью моей?*

*Быть может, венецейской девы
Канцоной нежной слух пленя,
Отец грядущий сквозь напевы
Уже предчувствует меня?*

*И неужель в грядущем веке
Младенцу мне — велит судьба
Впервые дрогнувшие веки
Открыть у львиного столба?*



Купание на острове Лидо. Фото начала XX в.

*Мать, что поют глухие струны?
Уж ты мечтаешь, может быть,
Меня от ветра, от лагуны
Священной шалью оградить?*

*Нет! Всё, что есть, что было, — живо!
Мечты, виденья, думы — прочь!
Волна возвратного прилива
Бросает в бархатную ночь!*

В октябре 1909 г. А. Блок написал и очерк “Немые свидетели”, вошедший в книгу “Молнии искусства”. В этом очерке Блок противопоставляет “живую Венецию” всей остальной, по ощущениям Блока, “предавшей себя” Италии:

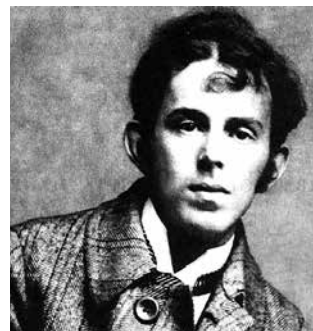
“Туда, в холод воспоминаний невозвратных, зовет русского современника северная и средняя Италия. На земле — лишь два-три жалких остатка прежней жизни, истовой, верующей в себя: молодая католичка, отходящая от исповедальни с глазами, блестящими от смеха; красный парус над лагуной; древняя шаль, накинутая на ловкие плечи венецианки. Но все это — в Венеции, где сохранились еще и живые люди и веселье; в Венеции, которая еще не Италия, в сущности, а относится к Италии как Петербург к России — то есть, кажется, никак не относится”.

ОСИП
ЭМИЛЬЕВИЧ
МАНДЕЛЬШТАМ

288

Осип Эмильевич Мандельштам (15.01.1891, Варшава — 27.12.1938, пересыльный лагерь вблизи Владивостока) — поэт, переводчик. Впервые побывал в Италии летом 1908 г., когда после путешествия по Франции и Швейцарии на один день заехал в Геную. Короткая поездка в Венецию состоялась через два года — осенью 1910 г.

В 1909–1910 гг. О. Мандельштам проучился два семестра на романо-германском отделении Гейдельбергского университета. В числе его любимых курсов были лекции профессора новейшей истории искусств Генриха Тоде (1857–1920); этот горячий любитель и признанный знаток Венеции читал, в частности, курс “Великие венецианские художники XVI века”. С июля по октябрь 1910 г. Мандельштам находился в санатории в Целендорфе, от-



Осип Эмильевич Мандельштам.

289

куда на короткое время выезжал в Швейцарию и Италию. Под впечатлением от этого путешествия Мандельштам позднее написал стихотворение о Венеции (его точная датировка неизвестна).

*Венецйской жизни, мрачной и бесплодной,
Для меня значение светло.
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло.*

*Тонкий воздух кожи. Синие прожилки.
Белый снег. Зеленая парча.
Всех кладут на кипарисные носилки,
Сонных, теплых вынимают из плаща.*

*И горят, горят в корзинах свечи,
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече
Умирает человек.*

*Ибо нет спасенья от любви и страха:
Тяжелее платины Сатурново кольцо!
Черным бархатом завешенная плаха
И прекрасное лицо.*

*Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла.*

*Только в пальцах роза или склянка —
Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?*

*Черный Веспер в зеркале мерцает.
Всё проходит. Истина темна.
Человек рождается. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна.*

АННА АНДРЕЕВНА
АХМАТОВА
И
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУМИЛЕВ

291

Анна Андреевна Ахматова (настоящая фамилия — Горенко; 23.06.1889, под Одессой — 5.03.1966, Москва) — поэтесса, переводчик, литературовед; Николай Степанович Гумилев (3.04.1886, Кронштадт — в августе 1921 г. обвинен в участии в антисоветском заговоре и расстрелян близ Бернгардовки под Петроградом) — поэт, драматург.

16 апреля 1912 г. А. А. Ахматова и Н. С. Гумилев выехали в Италию. Вместе были в Генуе, Пизе, Флоренции (оттуда Гумилев один выезжал в Рим и Неаполь), потом в Болонье, Падуе и, наконец, Венеции. В том же 1912 году каждый из них написал по стихотворению о Венеции.



А. А. АХМАТОВА

ВЕНЕЦИЯ

*Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.*

*Сколько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.*

*Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое...
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.*



Н. С. ГУМИЛЕВ

ВЕНЕЦИЯ

*Поздно. Гиганты на башне
Гулко ударили три.
Сердце ночами бесстрашной,
Путник, молчи и смотри.*

*Город. Как голос наяды
В призрачно-светлом былом,
Кружев узорней аркады,
Воды застыли стеклом.*

*Верно, скрывают колдуний
Завесы черных гондол
Там, где огни на лагуне —
Тысячи огненных пчел.*

*Лев на колонне, и ярко
Львиные очи горят.
Держит Евангелье Марка,
Как серафимы, крылат.*

*А на высотах собора,
Где от мозаики блеск,
Чу, голубинога хора
Вздых, воркованье и плеск.*

*Может быть, это лишь шутка,
Скал и воды колдовство,
Марево? Путнику жутко,
Вдруг... никого, ничего?*

*Крикнул. Его не слышали,
Он, оборвавшись, упал
В зыбкие, бледные дали
Венецианских зеркал.*

БОРИС
ЛЕОНИДОВИЧ
ПАСТЕРНАК

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК (10.02.1890, Москва — 30.05.1960, Переделкино под Москвой) — поэт, прозаик, переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1958).

Летом 1912 г. Пастернак выехал из Германии (где учился философии в Марбургском университете) в Италию, где в “русском пансионе” в поселке Марина-ди-Пиза отдыхала тогда его семья. Поездка в Италию сопровождалась долгими колебаниями и сомнениями:

“Наши поедут в Италию. Зовут с собой. Поехать сейчас туда значило бы совершить грязный поступок: с такой душой и Италия, с такой сухой тряпкой. Этим я испортил бы ее вконец”.

Пастернак приехал в Венецию поездом, поздно вечером 6 августа 1912 г. Позднее в автобиографическом эссе “Охранная грамота” (1929) он вспоминал о том, что проехал по Большому каналу на “varoretto” от вокзала до Академии, долго искал, где бы переночевать, и, наконец, устроился в каморке прислуги на чердаке дешевой гостиницы в районе Campo Morosini (это другое название площади Сан-Стефано). Судя по подробному описанию венецианского обиталища (читатель найдет его, вместе с другими венецианскими мемуарами Пастернака, во второй части данной книги), Пастернак поселился где-то на берегу Rio del Santissimo, выходящей, в свою очередь, на Canal Grande.

Б. Л. Пастернак пробыл в Венеции пять дней и все это время без устали исследовал город. Е. Б. Пастернак, много слышавший в детстве о Венеции, писал об отце:

“Он переходил из дворца во дворец, из музея в музей, осматривая их с достойной обстоятельностью. Каталоги и путеводители с пометками, помнится, в детстве попадались мне на глаза. На страницах “Охранной грамоты”, посвященных Венеции, Пастернак говорил о творческой эстетике христианства и покоящихся на ней нравственных основах европейской истории. По его словам, мысли, вызванные тогдашними впечатлениями, зрели и оформлялись в ходе времени”.

Сам Б. Л. Пастернак написал позже в “Охранной грамоте” об огромной роли, которую сыграла в его творческой судьбе та поездка в Венецию:



Борис Леонидович Пастернак.

“И осталась живопись Венеции. Со вкусом ее горячих ключей я был знаком с детства по репродукциям и в возможном музейном разливе. Но надо было попасть на их месторождение, чтобы, в отличие от отдельных картин, увидеть самое живопись, как золотую топь, как один из первичных омутов творчества... Наконец, я узнал, как мало нужно гению, чтоб взорваться. Кругом — львиные морды, всюду мерещащиеся, сующиеся во все интимности, все обнюхивающие, — львиные пасти, тайно сглатывающие у себя в берлоге за жизнью жизнь. Кругом львиный рык мнимого бессмертья, мыслимого без смеху только потому, что все бессмертное у него в руках и взято на крепкий львиный повод. Все это чувствуют, все

это терпят. Для того чтобы ощутить только это, не требуется гениальности: это видят и терпят все. Но раз это терпят сообща, значит, в этом зверинце должно быть и нечто такое, чего не чувствует и не видит никто. Это и есть та капля, которая переполняет чашу терпенья гения. Кто поверит? Тождество изображенного, изобразителя и предмета изображенья, или шире: равнодушие к непосредственной истине, вот что приводит его в ярость. Точно это пощечина, данная в его лице человечеству. И в его холсты входит буря, очищающая хаос мастерства определяющими ударами страсти. Надо видеть Микеланджело Венеции — Тинторетто, чтобы понять, что такое гений, то есть художник”.

11 августа 1912 г. Б. Л. Пастернак выехал поездом из Венеции во Флоренцию, а уже 13-го к завтраку был у родителей в Марине-ди-Пиза. Вспоминая Венецию, он через некоторое время написал стихотворение, которое затем переделывал в 1928 г.:

В Е Н Е Ц И Я

(1913, 1928)

*Я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.*

*Все было тихо, и, однако,
Во сне я слышал крик, и он
Подобьем смолкнувшего знака
Еще тревожил небосклон.*

*Он вис трезубцем Скорпиона
Над гладью стихших мандолин
И женщиною оскорбленной,
Быть может, издан был вдали.*

*Теперь он стих и черной вилкой
Торчал по черенок во мгле.
Большой канал с косою ухмылкой
Оглядывался, как беглец.*

*Туда, голодные, противясь,
Шли волны, шлендая с тоски,
И гондолы рубили привязь,
Точа о пристань тесаки.*

*Вдали за лодочной стоянкой
В остатках сна рождалась явь.
Венеция венецианкой
Бросалась с набережных вплавь.*

МИХАИЛ
АНДРЕЕВИЧ
ОСОРГИН

300

Михаил Андреевич Осоргин (настоящая фамилия Ильин; 19.10.1878, Пермь — 27.11.1942, Шабри, Франция) — прозаик, эссеист, публицист. Окончил юридический факультет Московского университета. Состоял в партии социалистов-революционеров; в 1905 г. был арестован, приговорен к ссылке, но выпущен под залог. Вместе с группой друзей-революционеров тайно переправился в Финляндию, а оттуда через Данию, Германию, Швейцарию перебрался в Италию, где несколько лет проработал корреспондентом “Московских ведомостей” и других либеральных российских изданий. За несколько лет приобрел большую популярность у читателя в России; из более четырехсот итальянских корреспонденций наиболее значительными Осоргин считал

свои статьи о громких судебных процессах в Италии, об итало-турецкой войне, Балканской войне 1912 г., о современной итальянской литературе, искусстве, театре.

В те годы, проживая главным образом в Риме, Осоргин много путешествовал по Италии. В своем мемуарном эссе “Времена. Автобиографическое повествование”, написанном во Франции в 1942 г. незадолго до смерти, он вспоминал:

301

“Когда мне делалось тоскливо в Риме, я садился в вагон прямого поезда и ехал в один из знакомых или еще незнакомых городов, иногда выходя, чтобы переночевать в живописном местечке. Я только в первые годы нуждался и покупал на завтрак пиццу, на обед тыквенное семя; дальше работа в крупных русских издательствах сделала мою жизнь легкой... Для здоровых ног был одинаково легок и подъем и спуск, а проводник мне не был нужен: можно ли запутаться в карликовой стране уроженцу тысячеверстных лесов? И вся западная Европа — не резная ли табакерка, умещающаяся в кармане?”

Что касается Венеции, то, по воспоминаниям Осоргина, он бывал там не реже двух раз в год — “но, конечно, не в июле, когда на Лидо полощут свои тела англичане”.

В 1913 г. М. Осоргин издал книгу “Очерки современной Италии”, куда вошли, в частности, и эссе о Венеции, использованные во второй части настоящего издания. Сам Осоргин так написал о своей книге:

“Книга эта — плод незаконной любви к стране одного из ее загостившихся поклонников. Любви незаконной,



Михаил Андреевич Осоргин.

302

так как она не была любовью сыновней, — слишком славянин душой, он не мог и не может забыть о другой, родной по крови матери, не такой прекрасной и не такой — ох! — далеко не такой ласковой и приветливой”.

С 1909 г. Осоргин работал итальянским представителем созданного в России графиней В. А. Бобринской Фонда по организации экскурсий русских земских учителей в Европу. Уже летом 1909 г. более 400 русских учителей несколькими группами посетили Италию — маршрут, как правило, начинался в Венеции. Писатель Б. Зайцев вспоминал об Осоргине:

303

“Изящный, худощавый блондин. Нервный, много курил, элегантно разваливаясь на диване, и потом вдруг взъерошит волосы на голове, станут они у него дыбом, и он делает страшное лицо... Очень русский человек, очень интеллигент русский — в хорошем смысле, очень с устремлениями влево, но без малейшей грубости, жестокости, позднейшей левизны русской. Человек мягкой и тонкой души... Лучшего водителя по городам Италии, чем Осоргин, нельзя было и выдумать: он очаровывал юных приезжих вниманием, добротой, неутомимостью. Живописно ерошил волосы свои. Несомненно, некие курсистки влюблялись в него на неделю, учителя почтительно слушали”.

Об одной из таких групп (итальянцы называли их в шутку “*caravani russi*”) М. Осоргин написал в автобиографической новелле “Воспоминанье”, вошедшей в сборник итальянских впечатлений “Там, где был счастлив”. Осоргин, в частности, вспоминает о своем мимолетном романе в Венеции с “голубоглазой девушкой Женей” и о прогулке с ней на гондоле по венецианским каналам:

“Я не люблю обычного маршрута: по Каналь-Гранде, через Риальто и малыми каналами обратно под Мостом Вздохов. Подъедем лучше к Св. Георгию, а после назад — по самым запутанным каналам. Мы лежали на черных подушках, слушали Венецию, и я рассказывал Жене венецианские сказки. Тысячи раз тысячи возлюбленных измышляли особый маршрут, говорили особые слова, считали свой случай единственным. Только гондольеру

известно, сколь давно раз навсегда проложены по лагуне любовные рельсы. Он плыл тихо, не плеща веслом, глухо окликая на поворотах. Я уже ничего не рассказывал Жене, и давно жизнь перестала быть действительностью. Я не был ни взрослым, ни покровителем, — был студентом, но только очень робким. Я держал ее руку, и все вниманье, все чувства ушли в это легкое и многоговорящее прикосновение. Тысячи раз тысячи думали, что лишь на их долю выпало такое пугливое и сказочное счастье. Потом мы шли домой через уснувшую площадь Марка. Я опять был покровителем, Женья опять послушной девочкой. Потом мы простились:

— Ну пора спать. До завтра, Женья.

В номере отеля на полу стоял раскрытый чемоданчик и лукаво мне подмигивал: — Когда обратно? Не пора ли? Кажется, дела закончены...

К 1914 г. число “туристов” из России превысило три тысячи человек. Драматична была история возвращения в Россию последних пяти групп экскурсантов, застрявших в Венеции после объявления войны и лишенных возможности проехать через Австрию. Осоргин, с большими трудностями и проявив большую волю и настойчивость, устроил их на пароход, отплывающий в Константинополь.

В 1916 г. Осоргин полулегально, кружным путем через Скандинавию, возвратился в Петроград. Февральская революция застала его в Москве. Твердо решив не

связывать себя официальной государственной или партийной службой, он отклонил почетное предложение Временного правительства занять пост посла демократической России в Италии. После Октябрьской революции Осоргин не пошел и на активное сотрудничество с большевиками. (Известный русский писатель-эмигрант Марк Алданов сказал однажды, что “*Михаил Осоргин был, вероятно, единственным русским публицистом, который политику и презирал, и терпеть не мог...*”.)

Тем не менее после революции Осоргин продолжает активно печататься в ряде пока еще свободных периодических изданий и, имея высокий авторитет в литературной среде, избирается первым председателем Всероссийского союза журналистов и товарищем (заместителем) председателя Союза писателей. Активно участвует он и в работе “*Studio Italiano*” — независимого италофильского кружка (вместе с П. Муратовым, Б. Зайцевым, А. Дживелеговым, Б. Грифцовым, М. Хусидом и др.). Он был и одним из организаторов писательской кооперативной книжной лавки, чтобы, по его собственным словам, “*быть около книги и, не закабалая себя службой, иметь лишний шанс не погибнуть от голода*”.

В 1917–1919 гг. Осоргин написал серию новелл, вошедших в сборник “*Из маленького домика*”. В новелле “*Любовь*” он, в частности, писал:

“Почему-то лучшее из пережитого мною вставлено в рамку чужих стран, чаще всего той страны, которая мне стала не совсем чужой, совсем не чужой, совсем, со-



всем не чуждой... Был мрамор каналов, золотая мозаика собора и черный блеск гондолы. Хотя все это для меня было обычным, почти обывательским, но я так люблю Италию, что, живя в ней и вспоминая о ней, — пьян ею. Люблю ее за то, что вся она святая, драгоценная и светлая”.

308

Вскоре М. Осоргин, как редактор печатного органа Комиссии помощи голодающим, был арестован, приговорен к расстрелу, замененному потом ссылкой в Казань. О поведении Осоргина в чекистском застенке, известном всей Москве как “Корабль смерти”, Б. Зайцев вспоминал в своих мемуарах:

“На Лубянке, в камере, где мы сидели, его избрали старостой, или старшиной, чем-то в этом роде, и он был превосходен: весел, услужлив, ерошил волосы ежеминутно на голове, представлял за нас перед властями...”

В 1922 г. постановлением коллегии ГПУ М. Осоргин (вместе с семьюдесятью другими известными писателями, философами, общественными деятелями) был выслан за границу. В Берлине он долго добивался визы в Италию для того, чтобы принять участие в знаменитых “русских лекциях” осенью 1923 г., организованных в Риме итальянским русистом Этторе Ло Гатто. В составе русской делегации в Риме были тогда такие корифеи русской мысли (в те годы уже эмигранты), как Николай Бердяев, Борис Вышеславцев, Павел Муратов, Семен Франк, Борис Зайцев.

В 1923 г. Осоргин написал о своем возвращении в Италию:

“Лучшие годы молодости я прожил в Италии. Жил там вынужденно и томился по России, куда вернуться было нельзя. Томился, и все же — как теперь, с отдаленья вижу — был счастлив. Это очень много — сказать самому про себя: был счастлив. А когда, потрепан-бросав, судьба опять увела меня за отечественные пределы и когда, после лет жизни тяжкой, душу повытрясшей, захотелось закусить бочку дегтя ложкой меда, — решил испробовать старого лекарства: среди серых олив — макарон итальянских на античном блюде. Вкус их остался в памяти, как вкус поцелуя у того, кто целовал — любя, как аромат духов на пожелтевших строчках в узком конверте. Макароны-поцелуи-духи... такие несхожие образы, а понимающий поймет: нас, единомышленников-италофилов, немало”.

309

В самом конце 1923 г. М. Осоргин, резко отрицательно воспринявший приход к власти в Италии фашистов, окончательно обосновался в Париже. В 20-40-е годы он стал одним из самых значительных писателей русского зарубежья (например, его роман “Сивцев Вражек” был издан беспрецедентным для эмиграции тиражом в 40 тысяч экземпляров и переведен на все основные европейские языки).

Во время Второй мировой войны, после капитуляции Франции, М. Осоргин вместе с третьей женой, Татьяной Алексеевной (урожденной Бакуниной), уехал из

оккупированного немцами Парижа в местечко Шабри на юге Франции. Оттуда он, уже тяжело больной, с риском для жизни переправлял в Америку и нейтральные страны Европы статьи, разоблачающие фашистский режим. Михаил Андреевич Осоргин скончался в Шабри 27 ноября 1942 г. и был похоронен на местном кладбище.

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ

311

БОРИС Константинович Зайцев (10.02.1881, Орел — 21.01.1972, Париж) — прозаик, мемуарист, переводчик, общественный деятель. С 1922 г. — в эмиграции.

Начиная с 1904 г., во время своих многочисленных поездок по Италии, молодой литератор Б. Зайцев неоднократно бывал в Венеции вместе с женой Верой Алексеевной (урожденной Смирновой). Зайцевы приобщили к «итальянским паломничествам» Павла Муратова, посвятившего именно Зайцеву свои знаменитые «Образы Италии». Много позднее ставший уже известным писателем Б. Зайцев написал, что означала для него и людей его круга Италия:

«Мы любили свет, красоту, поэзию и простоту этой страны, детскость ее народа, ее великую и благодатную



Борис Константинович Зайцев.

роль в культуре. То, что давала она в искусстве и в поэзии, означало, что «есть» высший мир. Через Италию шло откровение творчества».

Летом 1916 г. Зайцев был призван в армию, окончил артиллерийское училище, но после тяжелой болезни демобилизован. В разгар войны он начал в своем имении Притыкино многолетнюю работу над ритмическим переводом «Ада» из «Божественной комедии» Данте.

В апреле 1918 г. в Москве был создан Институт итальянской культуры — «Studio Italiano», основателями которого были итальянец Одоардо Кампо (живший с 1913 г. в Москве и работавший в библиотеке Румянцевского музея) и Павел Муратов. Зайцев с первых же дней

стал активным участником институтских сессий и неоднократно выступал с докладами на итальянские темы. Тогда же, в 1918 г., ему удалось совершить новое путешествие по городам Италии.

В 1921 г. Б. Зайцев был избран председателем Московского отделения Всероссийского союза писателей. Летом того же года он вошел во Всероссийскую комиссию помощи голодающим («Помгол»). Через несколько недель был арестован по обвинению в «антисоветской деятельности», но вскоре выпущен на свободу.

В 1922 г. Б. К. Зайцев с женой и дочерью покинул Россию, официально — «для поправки здоровья» (Зайцев тяжело переболел сыпным тифом). В получении виз помогли Каменев и Луначарский, с которыми Зайцев еще до революции встречался в Италии. В этот первый год эмиграции Зайцевым снова удалось побывать в Венеции.

Очерки Б. Зайцева о Венеции, явившиеся результатом многократных путешествий и обильно цитируемые во второй части этой книги, были написаны в 1920 г., печатались в журнале «Московский альманах», а впоследствии вошли в книгу «Италия», изданную в Берлине в 1923 г.

Планам Зайцевых обосноваться в любимой ими Италии помешала муссолиниевская диктатура. Вспоминая Италию 1923 г., Зайцев в очерке «Латинское небо» написал о фашистах:

«На родине мы навидались товарищей. Эти — тоже товарищи, только навыворот».

В течение последних двадцати пяти лет своей жизни Б. К. Зайцев, проживавший с семьей в Париже, являлся бессменным председателем Союза русских писателей за рубежом. Последний раз Зайцев побывал в Венеции в 1949 г. в возрасте шестидесяти восьми лет. Он скончался в Париже в 1972 г. в возрасте девяноста лет и был похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

ПАВЕЛ
ПАВЛОВИЧ
МУРАТОВ

315

ПАВЕЛ Павлович Муратов (март 1881, Бобров Воронежской губ. — 5.02.1950, Уотерфорд, Ирландия) — писатель, искусствовед, переводчик. Первые искусствоведческие работы Муратова явились результатом его поездок в Европу, где он серьезно занимался изучением французского постимпрессионизма. Друг Муратова — писатель Борис Константинович Зайцев (ему впоследствии Муратов посвятит свои знаменитые “Образы Италии”) писал о том времени:

“Помню весну 1906 года, московский журнальчик «Зори» — Муратов присылал нам из Парижа статьи о новейших художниках. В то время Италии еще не знал и к тому азарту, с каким мы с женой восхищались Ита-

лией на всех перекрестках Москвы, относился довольно равнодушно. Его занимали Матиссы, Гогены. Однако же вскоре и он попал в Италию и так же, как мы, навсегда попался. Это была роковая встреча: внесла его имя в нашу культуру и литературу — в высокой и благородной форме”.

316

В 1908 г. П. П. Муратов впервые побывал в Венеции вместе с первой женой Евгенией Владимировной. С ноября 1911 по август 1912 г. он (вместе со второй женой, Екатериной Сергеевной Грифцовой) находился в новой командировке в Италии от Румянцевского музея для написания двухтомника “Новеллы Итальянского Возрождения” (вышел в Москве в 1912 г.) и снова был в Венеции. Очерки Муратова на итальянские темы публиковались в “Русских ведомостях”, “Зорях”, “Аполлоне”, “Золотом руне”, “Старых годах” и составили впоследствии большую книгу “Образы Италии”. По словам писателя Б. Зайцева, успех “Образов” был “большой и непререкаемый”:

“В русской литературе нет ничего им равного по артистичности переживания Италии, по познаниям и изящности исполнения. Идут эти книги в тон и с той полосой русского духовного развития, когда культура наша в некоем недолгом «ренессансе» или «серебряном веке» выходила из провинциализма конца XIX столетия к краткому, трагическому цветению начала XX-го”.

В предисловии к “Образам Италии” Муратов писал:

“Италия с особенной силой пробуждает в душе каждого способность воспоминаний. Дни, прожитые там,



Павел Павлович Муратов.

317

не исчезают бесследно, и прошлое отдельного существования выступает отчетливее на фоне неумирающего прошлого. Прошлое Италии представляет главную тему этой книги. В нем больше жизни, настоящей вечной жизни, чем в итальянской современности. Она не внушает вражды, мешающей верить в будущее итальянского народа, сохранившего многие прекрасные черты. Но, думается, душа этого народа полнее и вернее выражена в его старом искусстве, в судьбе его исторических героев и в религиозной древней связи с картинами окружающей природы. Италия принадлежит к великим темам, не устанным привлекать мысль и воображение различных людей и сменяющихся поколений. Это целый

мир, и каждый, кто вступает в него, проходит в нем отдельной дорогой”.

Очерки, посвященные Венеции, вошли в первый том муратовских “Образов Италии” (они широко использованы во втором разделе нашего издания). Среди них “Летейские воды”, “Гинторетто”, “Век маски”, “Казанова”. В своих венецианских “образах” (многие справедливо считают, что это — лучшее, что написано в русской литературе о Венеции) Муратов соединяет блестящие описания города с не менее интересными рассуждениями об истории величия и упадка венецианской государственности:

“В 1514 году... венецианский сенат решил обложить налогом всех куртизанок. По переписи их оказалось около одиннадцати тысяч. Эта цифра сразу вводит нас в несколько головокружительный масштаб тогдашней венецианской жизни. Чтобы нарядить и убрать всех этих женщин и всех патрицианок, сколько нужно было золота, сколько излюбленного венецианками жемчуга, сколько зеркал, сколько мехов, кружев и драгоценных камней! Никогда и нигде не было такого богатства и разнообразия тканей, как в Венеции XVI века. В дни больших праздников и торжеств залы дворцов, церкви, фасады домов, гондолы и сами площади бывали увешаны и устланы бархатом, парчой, редкими коврами. Во время процессий на Большом Канале сотни гондол бывали покрыты алым шелком. Но нам трудно, почти невозможно представить себе все это. Нами уже утрачено понимание красоты цветных драгоценных тканей, покрываю-

щих огромные поверхности или падающих каскадом с высоких потолков. Современная жизнь не дает таких праздников глазу, и мы знаем не ткань, а только кусочки ткани. Вот почему наше понятие об убранстве венецианского праздника может быть лишь отдаленным, как отдаленно понятие о море у человека, знающего только ручьи и мелкие реки... Трудно забыть, что времена наибольшего великолетия совпадают как раз с наибольшим развитием тягостей венецианской государственности. Сенат не только облагал налогом куртизанок, он во всем точно определял их ремесло. Государство надзидало за всем; не преувеличивая, можно сказать, что ему был известен каждый шаг каждого человека. Оно следило за нарядами, за семейными нравами, за привозом вин, за посещением церквей, за тайными грехами, за новыми модами, за старыми обычаями, за свадьбами, похоронами, балами и обедами. Оно допускало только то, что находило нужным, и как раз в оценке того, что можно и чего нельзя, оно и проявляло свою изумительную мудрость. Каждый человек был тогда, желал ли он того или нет, на службе у «яснейшей» республики, и каждый делал для нее какое-то дело. И во всем, что теперь на картинах кажется случайным и счастливым соединением богато одетых людей, заморских слуг и дорогих тканей, был когда-то скрытый государственный смысл, и «польза отечества» присутствовала незримо во всех событиях. Может быть, даже оргии в саду Тучиана только потому могли происходить, что чей-то



умный глаз видел в этом родину «Венер» и «Вакханалий», которым суждено было прославить Венецию...»

С началом Первой мировой войны П. Муратов (окончивший в свое время кадетский корпус и санкт-петербургский Институт путей сообщения) был призван в действующую армию, служил офицером в гаубичной батарее на Австрийском фронте; затем был переведен на Кавказ. Весной 1915 г. отвечал за воздушную оборону Севастополя, военным комендантом которого был его брат.

После большевистской революции, весной 1918 г., П. Муратов стал одним из организаторов (с 1921 г. — председателем) Института итальянской культуры — “Studio Italiano”, который просуществовал в Москве около пяти лет. (Его первым директором был Одоардо Кампо, гражданин Италии, живший с 1913 г. в Москве и работавший в библиотеке Румянцевского музея.) В Институте помимо самого Муратова и таких уже известных литераторов, как М. Осоргин и Б. Зайцев, работали молодые преподаватели университета и сотрудники Музея изобразительных искусств: А. Габричевский, Б. Виппер, Н. Романов, А. Сидоров, М. Хусид, С. Шервинский. Лекции Института итальянской культуры проводились в аудиториях Университета Шанявского, во 2-м Московском государственном университете (бывших Высших женских курсах в Мерзляковском переулке, д. 1/5), в Российской академии истории материальной культуры на Малой Никитской, 12.

На предыдущем развороте:
Мост Риальто. С картины С. Праута.

Просветительская и общественная деятельность Муратова привлекла внимание властей — в августе 1921 г. он был арестован. В Лубянской тюрьме Муратов оказался в одной камере с Б. Зайцевым и М. Осоргиным.

Зайцев: *“Первую ночь на Лубянке, в камере «Контора Аванесова», мы провели рядом, на довольно жестких нарах. В третьем часу привели молодого Виппера, книгу которого “Тинторетто” я купил здесь в прошлом году, и тотчас вспомнил ту ночь и как Павел Павлович сонно приподнялся, посмотрел на вошедшего, опять усмехнулся, сказал: «Ну, вот, вот и еще». Отодвинувшись слегка, указал ему место с собою рядом”.*

Для развлечения себя и других Муратов, Зайцев, Осоргин, другие заключенные читали в камере друг другу лекции об искусстве, литературе, истории.

В начале 1922 г. Муратов как сотрудник отдела по делам музеев и охраны памятников искусства Наркомата просвещения вместе с семьей выехал в заграничную командировку в Германию, из которой в Россию не вернулся. Жил в основном в Париже, побывал в Японии и Америке, а незадолго до войны перебрался в Англию, где пережил налеты германской авиации на Лондон. Умер П. П. Муратов в 1950 г. в имении друзей в Ирландии.

ВЛАДИСЛАВ
ФЕЛИЦИАНОВИЧ
ХОДАСЕВИЧ

324

Владислав Фелицианович Ходасевич (28.05.1886, Москва — 14.06.1939, Париж) — поэт, литературный критик, мемуарист. Побывал в Венеции в 1911 г. и в начале эмиграции в 1924 г. В своем творчестве неоднократно возвращался к воспоминаниям о Венеции 1911 г. В 1915 г., в разгар мировой войны, в первой книжке сборника “Арион” было опубликовано навеянное Венецией малоизвестное (не вошедшее в прижизненные сборники) стихотворение Ходасевича, написанное, по-видимому, в 1914 г.:

*“Вот в этом палаццо жила Дездемона...”
Все это неправда, но стыдно смеяться.
Смотри, как стоят за колонной колонна
Вот в этом палаццо.*

*Вдали затихает вечерняя Пьяцца,
Беззвучно вращается свод небосклона,
Расшитый звездами, как шапка паяца.*

*Минувшее — мальчик, упавший с балкона...
Того, что настанет, не нужно касаться...
Быть может, и правда — жила Дездемона
Вот в этом палаццо?..*

325

В мае 1918 г. по просьбе редактора газеты “Власть народа” М. Осоргина участвовал в составлении специального — “итальянского” — выпуска газеты и написал для него стихотворение “Встреча”:

*В час утренний у Santa Margherita
Я повстречал ее. Она стояла
На мостике, спиной к перилам. Пальцы
На сером камне, точно лепестки,
Легко лежали. Сжатые колени
Под белым платьем проступали слабо...
Она ждала. Кого? В шестнадцать лет
Кто грезится прекрасной англичанке
В Венеции? Не знаю — и не должно
Мне знать того. Не для пустых догадок
Ту девушку припомнил я сегодня.
Она стояла, залитая солнцем,
Но мягкие поля панамской шляпы
Касались плеч приподнятых — и тенью*



Владислав Фелицианович Ходасевич.

*Прохладною лицо покрыли. Синий
И чистый взор лился оттуда, словно
Те воды свежие, что пробегают
По каменному ложу горной речки,
Певучие и быстрые... Тогда-то
Увидел я тот взор невыразимый,
Который нам, поэтам, суждено
Увидеть раз и после помнить вечно.
На миг один является пред нами
Он на земле, божественно вселяясь*

*В случайные лазурные глаза.
Но плещут в нем те пламенные бури,
Но вьются в нем те голубые вихри,
Которые потом звучали мне
В сиянье солнца, в плеске черных гондол,
В летучей тени голубя и в красной
Струе вина.
И поздним вечером, когда я шел
К себе домой, о том же мне шептали
Певучие шаги венецианок,
И собственный мой шаг казался звонче,
Стремительней и легче. Ах, куда,
Куда в тот миг мое вспорхнуло сердце,
Когда тяжелый ключ с пружинным звоном
Я повернул в замке? И отчего,
Переступив порог сеней холодных,
Я в темноте у каменной цистерны
Стоял так долго? Ощупью взбираясь
По лестнице, влюбленностью назвал я
Свое волненье. Но теперь я знаю,
Что крепкого вина в тот день вкусил я —
И чувствовал еще в своих устах
Его минутный вкус. А вечный хмель
Пришел потом.*

В записной книжке Ходасевича от 13 мая 1918 г. есть пометка об этом стихотворении: “Англичанка, впрочем, была в 1911, как и все прочее”.

Следующая поездка Ходасевича в Венецию состоялась весной 1924 г. Именно тогда Ходасевич написал еще одно известное венецианское стихотворение (в записной книжке есть уточняющая пометка: “19 марта, кафе «Флориан», площадь Сан-Марко”):

Интриги бирж, потуги наций.

Лавина движется вперед.

А всё под сводом Прокураций

Дух беззаботности живет

И беззаботно так уснула,

Поставив туфельки рядком,

Неограчимая Урсула

У Алинари за стеклом.

И не без горечи сокрытой

Хожу и мыслю иногда,

Что Некто, мудрый и сердитый,

Однажды поглядит сюда,

Нечаянно развеселится,

Весь мир улыбкой озаря,

На шаль красоты заглядится,

Забудется, как нынче я, —

И всё исчезнет невозвратно

Не в очистительном огне,

А просто — в легкой и приятной

Венецианской болтовне.

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ДЯГИЛЕВ

329

СЕРГЕЙ Павлович Дягилев (1872, Санкт-Петербург — 1929, остров Лидо, Венеция) — театральный и художественный деятель, организатор “Русских сезонов”, создатель труппы “Русский балет Дягилева” (1911–1929).

Окончив в 1890 г. гимназию в Перми, поступил в Петербургский университет на юридический факультет. В преддверии университетских занятий совершил со своим другом Дмитрием Философовым (будущим известным общественным деятелем) путешествие по Европе, посетив Берлин, Париж, Венецию, Рим, Флоренцию, Вену. По свидетельству друзей, по возвращении в Петербург Дягилев не переставал восхищаться Венецией и с гордостью показывал всем большую фотографию, изображающую его в гондоле вместе с Философовым.



Сергей Павлович Дягилев.

В марте 1894 г. состоялась вторая поездка Дягилева в Италию. Друг Дягилева, П. Г. Корибут-Кубитович, вспоминал:

“В конце марта мы с Сергеем поехали в Италию и посетили много городов, в том числе Геную, Милан, Венецию, Болонью и Флоренцию. В Венеции и Флоренции Сергей начал покупать столы и мебель xv и xvi веков. Мы бегали по старьевщикам, и нам удалось найти чудесные вещи. Особенно хороши были кресла, покрытые кожей, и низкие кресла «Савонарола», затем замечательный длинный стол с ящиками и несколько сту-



Общий вид отеля “Excelsior” на острове Лидо.
Фото начала XX в.

льев; в Неаполе и в Риме мы приобрели несколько чудесных бронзовых ваз и статуэток... Когда все купленное нами прибыло в Петербург и было расставлено в новой квартире в Замятином переулке, то все друзья Сергея пришли в восторг и Сергей был необыкновенно горд своей обстановкой”.

Впоследствии Дягилев многократно бывал в Венеции (которая стала его любимым городом), в том числе сопровождая организованные им выставки. Известный литератор и мемуарист С. Маковский встретился как-то с Дягилевым в Венеции в 20-х годах:

“Дягилев был щеголем... Он держался с фатоватой развязностью, любил порисоваться своим дендиизмом... При случае и дерзил напоказ, не считаясь à la Oscar Wilde с «предрассудками» добронравия и не скрывая необычности своих вкусов, назло ханжам добродетели... Вспоминается, как я встретил его однажды в Венеции... Он подплыл в гондоле к ресторану с террасой на Canale Grande. Гондола причалила не к пристани, а к невысокому парапету с перилами, отделявшими террасу от канала. Дягилев перебрался через перила на террасу и протянул руку молодому красавцу гондольеру, приглашая его с собой позавтракать. Чопорную публику за столиками явно покорило... Но, признаюсь, в этом «жесте» была подкупающая непосредственная грация”.

В конце августа 1924 г. Дягилев впервые привез в Венецию своего ученика, будущего знаменитого танцовщика и балетмейстера, девятнадцатилетнего Сержа Лифаря.

Лифарь: “Приезжаем поздно вечером, выходим из вокзала: — Ну, на чем же ты хочешь ехать в город, выбирай: на извозчике или в гондоле? — Я стал умолять Сергея Павловича взять гондолу — Сергей Павлович по-итальянски рассмеялся, — я не понял почему. Мы поехали в гондоле по городу великого молчания, и я вдруг понял великую, ночную, какую-то благовещающую Венецию с ее глубоким темным небом, отражающимся в едва шелестящих каналах, — и принял ее в себя на всю жизнь. Все стало в жизни другим. Другим стал и Сергей



Терраса отеля “Excelsior” на острове Лидо. Фото начала XX в.

Павлович — таким, каким я никогда его раньше не знал (и каким впоследствии всегда видел в Венеции): Дягилев превратился в дожа-венецианца, с гордостью и радостью показывающего свой родной, прекрасный город. Мы пробыли в Венеции пять дней — пять прекрасных значительных дней, и Дягилев все время был умиленно-добродушным, все время улыбался, все время кивал головой направо и налево, всем улыбочиво говорил «виопгиотто» — все в Венеции были знакомые Сергей Павловича — и сидел на площади Св. Марка — самой радостной площади мира — так, как будто это был его самый большой салон...”



В тот же день вечером в театре “Фениче” Дягилев и Лифарь слушали оперу “Севильский цирюльник”, а после этого ужинали вместе с бывшими тогда в Венеции Сергеем Есениным и Айседорой Дункан.

В 1925-1929 гг. Дягилев неоднократно бывал в Венеции, иногда — по несколько раз в году. В июне 1925 г. в Венеции собралась маленькая “дягилевская труппа”, и Дягилев решил дать концерт в Palazzo Rappadopolì.

Лифарь: *“Этот концерт сопровождался двумя грозами — небесной и дягилевской. Первая разразилась во время репетиции — страшная гроза, потопившая множество лодок в Венеции, вторая — по окончании концерта. Спектакль прошел очень удачно, мы все имели громадный успех, и благодарные, восторженные хозяева к причитавшимся sachets присоединили еще какие-то, не помню какие, подарки. Это обстоятельство почему-то вызвало невероятный прилив злобы в Сергее Павловиче: «Как они смели делать подарки моим артистам, мои артисты не нуждаются в их подачках!» Как разъяренный лев, бросился Дягилев на площадь святого Марка «громить» хозяев спектакля и устроил невероятнейший скандал, о котором говорила вся Венеция...”*

В 1929 г. Дягилеву пришла в голову идея построить в Венеции, на острове Лидо, театр специально для небольшой (человек десять-двенадцать) труппы Сержа Лифаря (как он говорил — “для новых художественных исканий”). 7 августа 1929 г. Дягилев выехал из Зальцбурга в Венецию, куда прибыл на следующий день и поселил-

На предыдущем развороте:
Кафе в отеле “Excelsior” на острове Лидо. Фото 20-х гг. XX в.



Серж Лифарь и Бронислава Нижинская
на могиле С. П. Дягилева. 1970 г.

ся на Лидо в “Grand hôtel Excelsior”, где тяжело заболел. Серж Лифарь вспоминал о последних днях великого импресарио, учителя и друга:

“Иногда — особенно по ночам — Сергей Павлович начинал вспоминать свою молодость, свое студенчество, говорил, что это было самое счастливое время всей его жизни, рассказывал свое путешествие по Волге на Кавказ и плакал, вспоминая Волгу — красивейшую русскую реку и левитановские пейзажи, тосковал по России, которую больше никогда не увидит... С нежностью вспоминал о первых выездах за границу, о первом путешествии в Италию, о первой Венеции, о первой Флоренции, первом Риме...”

19 августа 1929 г. Дягилев скончался. Его тело было перевезено на большой, украшенной цветами, траурной гондоле с острова Лидо в Венецию, где в церкви St. Giorgio dei Schiavoni в окружении знаменитых фресок Карпаччо прошло отпевание. Затем траурный кортеж переплыл на остров Сан-Микеле, где гроб с телом Дягилева был захоронен на греческом участке кладбища. На памятнике, установленном над могилой, высечены слова самого Дягилева:

“Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений”.

ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ СТРАВИНСКИЙ

339

Игорь Федорович Стравинский (17.06.1882, Ораниенбаум, близ Санкт-Петербурга — 6.04.1971, Нью-Йорк) — композитор, дирижер. Неоднократно бывал в Венеции. Покинувший Россию Стравинский подолгу жил в Париже, Голливуде (Лос-Анджелес), Нью-Йорке, но особой привязанности к ним не испытывал. В конце жизни предпочтение стал отдавать Венеции: здесь он дирижировал премьерами оперы “Похождения повесы” (1951) и своей Кантаты (1956); здесь он показал “Плач пророка Иеремии” — самое крупное произведение последнего периода его творчества (1958).

Жизненный путь И. Ф. Стравинского окончился в Нью-Йорке, но по его желанию его прах после смерти был перевезен в Венецию. Траурная церемония состо-

ялась в венецианском соборе Santi Giovanni e Paolo. Затем гроб с телом великого композитора и дирижера был установлен на траурной, украшенной цветами гондоле и через Rio dei Mendicanti и Canale delle Fondamente Nuove переправлен на остров Сан-Микеле, где был захоронен на греческом участке кладбища рядом с могилой другого великого русского (которого Стравинский считал своим учителем) — С. П. Дягилева. Рядом с мужем похоронена и Вера Стравинская (урожденная де Боссе).



Игорь Федорович Стравинский на площади Сан-Марко.



Могила И. Ф. Стравинского на кладбище Сан-Микеле.

ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ
ВЕЙДЛЕ

342

Владимир Васильевич Вейдле (13.03.1895, Санкт-Петербург — 5.08.1979, Париж) — поэт, искусствовед, историк-медиевист. Учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета у крупнейших итальянистов И. М. Гревса и Д. В. Айналова. После большевистской революции — профессор Пермского и Петроградского университетов, Института истории искусств. В 1924 г. эмигрировал во Францию, где прожил до конца жизни.

“Русскую любовь” к Италии Владимир Вейдле считал естественной и благотворной. Он был уверен, что итальянские путешествия — “залог европейского бытия России, ибо нет в Европе страны, где не было бы соб-

ственной вереницы итальянских путешествий и своего, одной этой стране присущего вида любви к Италии”.

Свою первую поездку в Италию Владимир Вейдле совершил в 17-летнем возрасте после окончания училища Санкт-Петербурге и перед поступлением в университет — с матерью и школьным другом Александром (“Шурой”) Куренковым. В мемуарах, написанных на закате жизни, Вейдле дал главе, посвященной этому трехмесячному путешествию в марте-мае 1912 г., характерный заголовок: “Сто дней счастья или Моя первая Италия”.

“Обетованная земля! Ничего более решающего для всего дальнейшего в жизни моей не было, и никогда, за всю жизнь, не был я так безмятежно, длительно и невинно счастлив, как на ее заре в эти итальянские сто дней... Здесь, на обетованной земле, отрочество мое в юность перешло. Что ж, влюбился я там впервые по-настоящему, что ли? Вот, вот, но соперниц у нее не было: в одну Италию. Сто дней этих прожил без вожделенья, как и без телячьего влюбленья; ни до того, ни до другого, на удивление потомству, я еще тогда и не дорос. Любовью любил. Первая она была и основная, воспитательница всех любовей, узанных мною позже, и которых без нее не узнал бы я, быть может, никогда, — к странам, провинциям, городам, к очеловеченной природе, к воплощенной в очеловеченьи этом истории. Эрос такого рода захирел и выветривается теперь, но многим был свойствен в прошлом веке и в начале нашего века. Ему

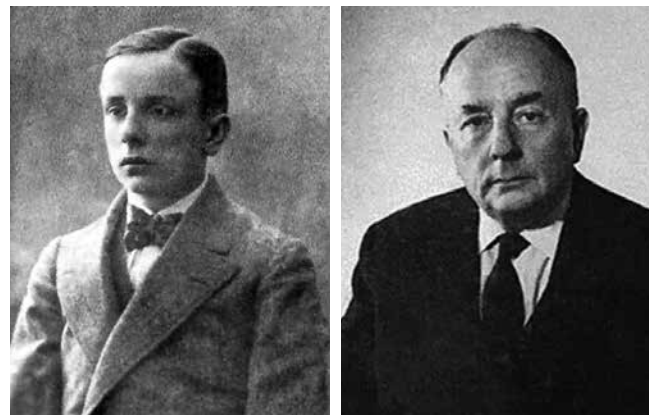
343

научила меня Италия. Если б я ее на пороге юности не встретил, не стал бы я тем, кем я стал...

Планируя весеннее путешествие 1912 г., семья Вейдле обстоятельно продумала маршрут (многое, судя по всему, было подсказано оставшимся в Петербурге отцом — состоятельным предпринимателем и “почетным гражданином” Вильгельмом Вейдле): решено было ехать сразу, без остановок, на итальянский юг, а уже затем, по мере наступления весны, “подниматься” на север и окончить путешествие в Венеции.

В марте путешественники осмотрели побережье Неаполитанского залива, были в Помпеях, на Везувии, съездили на остров Капри, совершили редкую по тем временам поездку к греческим храмам в Пестуме. Затем прожили почти весь апрель в Риме, посетили умбрийские городки Орвьето, Перуджу и Ассизи, в начале мая побывали во Флоренции, а во второй половине месяца приехали поездом в Венецию.

От вокзала Санта-Лючия они приплыли на гондоле к гостинице “Metropole” на углу Riva degli Schiavoni и Rio de la Pietà и прожили там две недели. В 1880-х гг. этот отель разместился в бывших кельях старинного приюта Милосердия (Ospizio della Pietà), знаменитого тем, что здесь в первой половине XVIII в., в течение почти сорока лет музыку воспитанницам-сиротам преподавал Антонио Вивальди (в соседней с отелем церкви Santa Maria della Pietà, знаменитой своей акустикой, ныне проходят музыкальные концерты).



Владимир Васильевич Вейдле в 1912 и 1968 гг.

Каждый день, часам к пяти, ездили на Лидо купаться. Посетили острова лагуны Мурано, Бурано и Торчелло, побывали в Падуе. В дни пребывания семьи Вейдле в Венеции в городе праздновали восстановление рухнувшей десять лет назад башни Святого Марка.

Позднее уже зрелый Вейдле опишет свое юношеское впечатление от первой поездки в Италию:

“Кончилась Италия!.. Нет, не кончилась она! Никогда не кончится! Поселилась во мне навсегда. Предчувствовал я уже, что мою жизнь, мое будущее предопределила она больше, чем все, что было до нее. Уже в Риме, и тверже еще во Флоренции, решил, что научусь итальян-



Рядом с церковью Пьета на Славянской набережной — отель “Метрополь”, где семья Вейдле жила весной 1912 г.

скому языку, буду читать Данте по-итальянски, буду заниматься историей Италии — великих ее веков — и прежде всего историей ее искусства...”

Тогда, в 1912 г., один русский попутчик показал юному Вейдле книгу “Образы Италии” Павла Муратова.

“Имя автора было мне знакомо. Заглавие понравилось. Вскоре по приезде книгу купил, просмотрел довольно внимательно, но читать по-настоящему не стал. Охвачен был странным, непозволительным даже чувством — чем-то вроде ревности. Мальчишкой ведь был, мог бы поучиться у старшего, но не захотел, да и только. Почему же? Учился ведь — и как охотно! — у других; учился и у него, когда он о древнерусских иконах и фресках стал писать. Одно тут и есть объяснение. В той первой книге своей он лирически об Италии, о ее искусстве говорит. Где-то в подсознании сидело у меня, должно быть: сам сумею. А главное: разве стану я слушать, если другой начнет меня учить, как мне мою возлюбленную целовать? Так и не прочитал — до старости; хоть признаться в этом милому Муратову в Париже и постеснялся...”

Осенью 1912 г. Владимир Вейдле стал студентом Санкт-Петербургского университета. В 1924 г. эмигрировал под предлогом научной командировки в июле 1924 г., в октябре приехал в Париж, где прожил до конца жизни.

Будучи искусствоведом по преимуществу, Вейдле искал разгадку культурно-исторического феномена Венеции и нашёл её в уникальности воздействия природного ландшафта на художественную культуру. В 1966 г. в статье “Похвала Венеции” Вейдле писал:

“Венецианская живопись, как все знают, сыграла огромную роль в истории европейского искусства... Лагуна эту живопись породила: влажный её воздух, пере-

менчивый, порою шёлково-голубой или серебристый, но чаще всего жемчужный свет (жемчуга живого, на теле, а не хранимого в ларе), её прогретое солнцем золотое вечернее сиянье. То, что зовётся «колорит» — не просто приятный подбор цветов, а их тайное, ощущаемое глазом, при всей разности, родство, превращение их в тона, сквозь которые даёт о себе знать общая их «тональность» — это почти целиком создание Венеции, её подарок европейскому искусству...”

Эмигрантский писатель Б. К. Зайцев написал в рецензии на получившую известность статью Вейдле “Похвала Венеции”, что она — “в сущности гимн”, “объяснение в любви”:

“Удивительно и радостно видеть, как такой спокойный, казалось бы, «научный», «тяжеловооруженный» Вейдле воодушевился и загорелся Венецией, да и всей лагуной. Как хорошо, что дыхание света и красоты так его взволновало и он так читателя взволновывает этим потоком света!.. Вейдле совершенно заполонен Венецией, она в него вошла, как и сама лагуна, все эти островки Мурано и Торчелло, все вместе вызывает в нем такой подъем, такую грусть при расставании, точно Венеция живое существо, и это волнение его передается — сочувствуешь ему, еще раз хочется взглянуть, попрощаться...”

Еще в 1912 г. любимым храмом Венеции для семнадцатилетнего юноши Вейдле стала Santa Maria dei Miracoli — “чудо из чудес, но всего хитрее запрятанное”. Спустя полвека, близившийся к своему семидесятилетию

Вейдле писал о том, что во время блужданий по Венеции эта церковка всегда возникает неожиданно, “как праздник”, “как невеста в подвенечном мраморном уборе”:

“Если заблудитесь, знайте: капелька досады приправой будет к радостям, вкушаемым здесь, а в воспоминаниях и совсем с ними сольется, как весенний дождик с пронизывающим его солнцем, чьи лучи, сверкнув, вот уже и заиграли на мраморе наконец-то разысканной вами церковки. Пусть это будет — вся она как раз в мраморный футляр и вставлена — Santa Maria dei Miracoli, названная так по чудотворной иконе, которой она служит ризой и киотом. Между переулком и канальчиком пряталась она от вас. Возле ее фасада через канальчик переброшен мост. Взойдя по ступенькам, вы любуетесь теперь с моста закругленным ее фронтоном. Пройдя переулком, обогнув ее со стороны алтаря, войдя и постояв под ее расписным и золоченым, выгнутым по своду потолком, вы убедитесь, что закругленность — это лейтмотив, повторенный на разные лады строившими ее мастерами (из семейства Ломбарди, каменотесов и скульпторов больше, чем зодчих), и что им определена вся ее улыбчивая ласковость. Да еще тем, что разукрашена она, хоть и до крайности старательно — как под венец, но и нежно, светло, именно как невеста”.

Что касается места в Венеции, где Вейдле полюбил отдыхать с первого же юношеского посещения Венеции, то им стала для него стала площадь перед Собором Santi Giovanni e Paolo со статуей кондотьера Коллеони:



“Ах — сколько вдруг неба, и света, и воздуха! Глянь налево, вдоль по каналу — сияет вдали лагуна, но перед тобой, с гордым всадником своим, высоким храмом и венецианнейшим фасадом *Scuola Grande di San Marco*, великолепно-просторный *Campo San Zanipolo*... Бог ты мой, до чего тут хорошо! Позже, в седые дни мои, я площадь эту окончательно выбрал — или она меня выбрала (усилия я тут никакого не приложил). Бесчисленные часы — предзакатные почти всегда — вот тут, за столиком *Caffe Cavallo* провел, ничем, кроме виденья и мечтанья, не занимаясь. Тень моя, никого не пугая, являться будет живым именно здесь, оттого, что нигде на свете я так не отдыхал душою”.

В своем позднем эссе “Похвала Венеции” семидесятилетний Вейдле писал, что при том, что он с юности “влюбился” и в Рим, и во Флоренцию, но именно Венеция “лучше всего врачует”:

“Наилучшее место для такого леченья — мне, по крайней мере, стало это ясно с давних пор — даже не какой-нибудь мало известный укромный уголок (есть их тут еще немало), а просто-напросто *Campo San Zanipolo*. Называют так венецианцы площадь не раз упомянутой уже церкви святых Иоанна и Павла (римских мучеников третьего века), ту самую площадь, на которой стоит великолепный конный памятник предводителя венецианских войск Бартоломмео Коллеони, работы знаменитого флорентийца Андреа Вероккио... Всадник поставлен на высокий пьедестал венецианцем Алессандро

На предыдущем развороте:
Церковь Санта-Мария деи Мираколи.



Вид от кафе “Кавалли” на площадь Свв. Иоанна и Павла — любимое венецианское место В. В. Вейдле.

Леопарди, вследствие чего он не убит розово-кирпичной громадой возвышающейся рядом церкви. Конем его, вот уже скоро пятьсот лет, всего больше любуются венецианцы, отчего и весь памятник прозвали они Cavallo, да и мост через канал против входа в церковь — ponte Cavallo, как и caffe Cavallo, кофейню за памятником сбоку, откуда открывается вид на него, на церковь, на Scuola Grande di San Marco [здесь теперь больница], чей фасад замыкает площадь, на канал с мостом, на дома за каналом... Сядьте за тот столик и, если вы мне друг, вспомните меня... И не Вероккио, не Кодуччи меня тут

лечат, а величественный без высокомерия храм; не искусство, а то, что за ним, та душа, которую вижу я здесь и осязаю, как в бантиках милого Мауро [Жодуччи], так и в желто-сером переливчатом мраморе под ними, как в бронзовом всаднике (здесь он cavallo, детишки у его подножья катят деревянную лошадку), так и в истертых плитах мостовой, на которых вот и столик мой стоит... Гляжу опять на тепло-серый с желтизной мрамор Scuola Grande, рассматриваю церковь, всадника. Замысел всего в отдельности был горд, был величав; но века все это холили, лелеяли, нежили, усыпляли и все это — как ладонью проводят по лицу — сгладилось, поодобрело, породнилось с домами напротив и за каналом, с исшарканным камнем мостовой, с обесцвеченно-легким, лишь сквозь эту бесцветность манящим далекой синевой небом. Кирпичи моста в белой окантовке отвечают таким же кирпичам церкви, светящийся мрамор пьедестала — такому же мрамору соседних порталов и стен. Похожую перекличку ведут повторные звучания красок у Тициана, но никакой, даже его живописи не достигнуть того, что здесь, сквозь тысячи жизней и смертей, достигло время медленной своей работой. Искусство? Да, конечно, без искусства ничего бы этого не было. Красота? Что и говорить, как же не красота. Но все, что я тут вижу, отодвигает вдаль искусство, гасит мысль о красоте и без слов убаюкивает душу. Да и не просто я люблюсь, восхищаюсь; пища здесь не одним моим глазам. Живу во всем этом и всем этим. Если же очень будут

допрашивать меня, скажу, что милосердия тут больше, чем совершенства. Работа времени остановила время. Часы идут, а ты все в Caffè Gavallo, — растворился весь, как сахар в твоей чашке кофе, ушел душою в тишину. Так-то вот — стоит лишь усесться против больницы — лечит, исцеляет наши души душа Венеции”.

В 1960-х годах и до самой смерти Венеция останется самым любимым городом Владимира Вейдле:

“В течение больше чем десяти лет я каждый год ездил в Венецию; в общей сложности провел там месяцев двадцать. Ни одного итальянского города не знаю так хорошо, как ее, потому, что каждый раз осматривал ее всю заново...”

Сочинявший в юности неплохие стихи в духе акмеизма, Вейдле в драматические 1920-е годы перестал заниматься стихотворчеством. Именно Венеция в конце жизни возвратила ему, как когда-то князю Петру Вяземскому, поэтическое вдохновение — произошло это в возрасте семидесяти лет!

RIVA DEGLI SCHIAVONI

Берег славян

(1965)

Золотисто здесь стало и розово:
Ветерок. Он под осень бывает.
Ветерок, ветерок, от которого
Сердце ослабевает.

*Да и биться зачем ему? Незачем.
Заслужило оно благодать
Под крыльцом у цирюльника Чезаре
Розовым камнем спать.*

356

ТАМ ЖЕ ЕЩЕ РАЗ

(1966)

*Темнеет жизнь. Но тут
Милосердный не меркнет свет.
Тут, где не сеют, не жнут,
Внятен зыбкий завет
Всех улетевших лет, —
Всех минувших милых минут
Неисследимый след.*

*Жгучих, жгучих минут...
Камни о них поют,
Ветры возврата их ждут,
Воды им плещут в ответ.
Тут, где не сеют, не жнут,
Небо — нежнее нет.*

ГОВОРИТ ВЕНЕЦИЯ

(1966)

*Забудь свой век, свою заботу,
Себя и всех, и всё забудь,
Сквозь предрассветную дремоту
Скользи, плыви — куда-нибудь,*

357

*Под крутобоками мостами,
Вдоль мраморов и позолот,
Туда, где светлыми шелками
Расшит янтарный небосвод.*

*Ты в гондоле без гондольера,
Во власти ветреной волны
Тебе неверие и вера
В двойном их трепете даны.*

*И помни: не внутри — снаружи
Душа всего, чем ты живёшь,
В узоре тех нездешних кружев,
В улыбке уст, чья ложь — не ложь.*

*Правдивей злата позолота,
Жемчужней жемчуга заря,
С тех пор как опустил в болото
Безвестный кормчий якоря.*

*И воссиял над синевою
Сон, что тебе приснился вновь.
Не просыпайся: я с тобою;
Проснёшься — разметёт грозою,
Зальёт солёною волною
Твою последнюю любовь.*

358

Приложение I

В. В. ВЕЙДЛЕ

Франческо Гварди —
лучший ведутист уходящей Венеции

В последний век Республики, когда устремлялись в ее столицу чужеземцы уже не для дел, а для безделья, и настоящее начинало меркнуть, в величии уступая прошлому, очень хорошо это чувствовали изобразители ее, “ведутисты” (именно и работавшие на этих чужеземцев), и лучше всех Франческо Гварди, самый зоркий из них, и глазом, и душой. Он уже видел свой город неосязаемым за той неясной пленой, оттого и живописал его так безобъемно, так исключительно живописно; но вме-

сте с тем он его видел совсем еще нетронутым, против шерсти не причесанным. Даже одежда и домашняя утварь его времени с тем прошлым, пусть и далеким, при всех отличиях, оставались в ладу, близкого будущего не предвещали. Однако сам он, — суждено ему было умереть накануне конца, и близость конца он в искусстве своим чувствовал. Он писал, что видел и что любил, но тому, что он видел и любил, частью предстояло завтра же исчезнуть: Бучинторо, дожам, празднествам, всем старинным обычаям и нравам; а в остальном уже тогда оно было тем свидетельством о прошлом, каким остается и теперь, свидетельством каменным, долговечным, и все же, как все такие свидетельства, призрачным. Как все? Нет, еще призрачней, оттого, что здесь целый город был таким свидетельством, и продолжал жить, как продолжает жить и сейчас, сквозь эту жизнь являя нам прошлую, неживую, и все-таки живую. Старший Каналетто (его племянник работал больше за границей), а также Карлеварис, Мариески, сладость каменной этой жизни ощущали, но не грусть, а потому и сладость не сполна передавали: неосязаемость не умели передать. Все было для них одинаково живо и реально, если же они разрушению отдавали дань, то лишь потрафляя тогдашней моде на развалины (для тех времен, спору нет, очень характерной). Гварди, один, из какой-нибудь обшарпанной стены умел извлекать то слияние сладости и грусти, которое проступить начало в Венеции уже тогда, и без которого для нас не была бы она Венецией.

359



Празднества писал он по заказу, и писал прекрасно: занимательно и живо, празднично, балетно, но так, что мы, почти участвуя в них, все же видим их в странной, не пространственной только отдаленности, в дымке, делающей их не зрелищем, а видением, и чувствуем, что вот они исчезнут, глянь, и их уж нет, точно знал художник, как знаем мы, что больше таких праздников не будет. Писал, для иностранцев (главным образом англичан), Пьяццу, Пьяцетту, бассейн святого Марка и Большой канал, лучше, чем кто-либо ощущая преображенность воздухом и светом всех этих каменных нагромождений, и вместе с тем их ветхость, на чьем фоне вдвойне забавной кажется суета бесчисленных маленьких фигурок на ладьях, мостах и площадях. Но нигде быть может его гений и самая суть того, что он видел или прозревал, не сказываются острее, чем в тех полотнах его, что написаны как бы для себя и ничего достопримечательного не изображают, вроде небольшой картинки — занесло ее в Москву в Пушкинский музей, откуда наведальась она в Венецию на выставку — где сквозь арку на переднем плане виднеется небольшое сапро с чем-то вроде церковки сбоку, мостиком и неопределенными постройками вдалеке [“архитектурная фантазия с разрушенной готической аркой”], или двух “ведут” (были и они на той же выставке) с левым и правым берегом Большого канала возле церкви св. Лючии, которую вместе с соседними домами срыли, когда начали строить нынешний вокзал. С какой любовью намечен немногими штрихами про-

стенный фасад этой церкви с “палладианским” полукруглым окном вверху и двумя башенками по бокам! Как нежно поцелованы кистью всюду у него старенькие здания, о которых дано нам понять, что исчезла бы их прелесть, если бы они были попрямей и поновей. Столетие пролетело, еще столетие, но кто нынче к этой поэзии останется глух, для того и сама Венеция поглощена будет туристической, покупаемой вместе с путеводителем и билетом прозой.

Гварди первый созерцатель свершившейся, созданной, отходящей в прошлое Венеции. Творящая увенчивается его творчеством; созерцаемой полагает он начало. Но есть и другое, что впервые открылось его дару и его любви: сладчайшее утешение в его и нашей венецианской грусти. Человеческое преходяще, но лагуна и небо над лагуной, переменчивая игра света и воды, они не отходят в прошлое и Венеции не дают уйти: она пребывает с ними, покоится в их лоне. Гварди эту нераздельность почувствовал с небывалой остротой. Есть у него знаменитая скромнейшего вида “Гондола на лагуне”. Почти две трети картины занимает вода, остальное — небо. На горизонте тянутся безвестные “фондамента” с едва различимыми домами и колокольнями. Вода и небо, чуть-чуть более светлое, чем вода, одинакового бутылочно-зеленого тона. Необыкновенно легко лежит он на просвечивающем повсюду холсте, и не однообразным кажется, а играющим, изменчивым. Волшебства лагуны никто, и сам Гварди, лучше нигде не передал.

На предыдущем развороте:
Вид канала Джудекка. С картины Ф. Гварди.

Но присутствует оно и во многих других его холстах, порой и в таких, где лагуна не изображена, потому что особая эта пронизанность влажным воздухом и светом неотъемлема и вообще от его манеры видеть и писать Венецию. И конечно это не выдумка, а открытие его. Мы теперь и не сумели бы видеть Венецию иначе. Любовь наша к ней, это любовь не к архитектурному только, но и к природному, островному, лагунному ее облику... Чем бы она была без вездесущей этой и давшей ей некогда жизнь лагуны? Неразлучна с ней она, как у Гварди, в нашей памяти. По этому небу мы тоскуем, по этим водам, по содружеству неба и вод с этим ни на какой другой не похожим городом. Вдалеке от него, его не видя, мы все еще видим его с воды и на воде.

Вейдле В. В. *Похвала Венеции* // Мосты. Мюнхен, 1966, № 12. С. 139-141

Приложение II

В. В. ВЕЙДЛЕ

Прощальная поездка на Торчелло

Или есть еще Торчелло. Приберегите его напоследок, приготовьтесь к нему... Встаньте пораньше, поезжайте на первом парходике с *Fondamenta nuove*, познакомьтесь с пустошью этой в пустынности ее. Все прочее забудьте... Совсем близко оттуда Торчелло, но Торчелло, это другой мир. Можете, пока вы там, и Венецию забыть. Был там город, когда Венеция была деревней, был собор, есть и сейчас этот собор; такого нет в Венеции. Прямо из травы вырастает высокая его колокольня, да и всюду кругом — шевелящаяся под ветром трава, кустики, низкие деревца. Есть виноградники, огороды, кой-какие жилища, но их немного и широко они разбросаны по болотистому, изрезанному каналами острову... Наискосок от собора — два старинных дома; в одном из них маленький музей. Перед главным входом в собор была крещальная церковь, от которой остался лишь фундамент, но рядом, справа, восьмиугольная умильная Санта Фоска — зайдите внутрь — сохранилась очень хорошо, как и сам простой и величественный базиликальный храм. Его,

или верней, мозаики его и ездят сюда смотреть. Страшный суд на западной стене внушителен, но был реставрирован бесцеремонно; мозаики боковой апсиды весьма интересны — исторически; зато синяя на золоте Мадонна в главной апсиде... Быть может и не греческой она работы, но ничего более византийски высокого по духу нет на венецианских островах. Если вы приедете утром и не торопясь, от пристани по тропинке, вдоль тинистого, мутного канала придете сюда, войдете, сядете против алтаря, против высокого епископского престола, подымите глаза к апсиде над ним, окаймленной двенадцатью апостолами внизу, если дадите проникнуть глубоко в себя этому священному золоту, темной и сияющей этой синеве, этому строгому, прямому, вырастающему в вышину образу Царицы небесной с Младенцем на руках, глядящей вдаль перед собою, а потом выйдете и опять войдете, и опять, после прогулки, после отдыха; и лишь к вечеру уедете, и снова перед отъездом... — тогда видение это будет увидено вами, и с вами останется навсегда. Тихие вечеряющие воды. Скользят по ним, угасая, последние лучи. Вдоль длинного, с длинной улицей, полупустынного Маццорбо, мимо заросшей густым плющом кладбищенской его колокольни, мимо немого заштатно-военного островка, откуда мраморная икона Спаса снятого с креста одна глядит на проплывающий пароходик, — а вот и ближе, по молчаливой, темнеющей, чуть заметной рябью подернутой лагуне, мимо Мурано, мимо острова мертвых, возвращаемся мы в Венецию:



Остров Торчелло в венецианской лагуне.

на те северные ее, уже сумеречные “фондаменты”. Скоро нам и расставаться с ней; завтра... Отойдя от шумной пристани, можно перейти мост и, направо не завернув, пойти дальше по набережной, тут, возле Santa Maria del Pianto, и днем безлюдной. Теперь уж наверняка там не будет ни души. Поглядим на огни Мурано. Прощаемся с лагуной. Темней она теперь, чернзеленей, чем на том маленьком холсте у Гуарди. Другой час, поздний

час. Поздний, прощальный час. И другой век. Поздний век... О чем это я? Ни о чем. Час хоть и поздний, хоть и темней лагуна, но вода и небо, как и там, почти одного тона и так же сливаются в одно. В двойном объятии этом спит Венеция. Не оборачиваюсь, но знаю: она там, за той церковью, за монастырской стеной — за пеленой, вся, со всеми своими переулками, каналами, церквами, дворцами. Единственная и единая. Пусть такой и пребудет. Завтра всю ее, далекую-близкую, преходящую и вечную, закрыв глаза, вспомню, увижу, сохраню, возьму с собой.

Вейдле В. В. *Похвала Венеции* //
Мосты. Мюнхен, 1966, № 12. С.159-160

НАТАН ЯКОВЛЕВИЧ ЭЙДЕЛЬМАН

369

НАТАН ЯКОВЛЕВИЧ ЭЙДЕЛЬМАН (18.04.1930, Москва — 29.11.1989, Москва) — историк, писатель.

В середине 1980-х гг., вместе с другом, врачом и литератором Юлием Крелиным (1929–2006), написал книгу “Итальянская Россия” — об итальянцах, много сделавших для России, — Аристотеле Фиораванти, Растрелли, Росси, Кваренги и др. В 1987 г., стараниями итальянского поэта и драматурга Тонино Гуэрры (1920–2012) книга была опубликована в итальянском переводе Ф. Ланчилотти и Р. Тоскано в типографии таможни Республики Сан-Марино мизерным тиражом в 100 экз. (!). Выход книги стал поводом для месячной поездки в февралю 1989 г. Эйдельмана и Крелина по Италии: друзья-



Натан Яковлевич Эйдельман.

соавторы посетили Венецию, Римини, Сан-Марино, Пистойю, Флоренцию, Рим, Салерно, Сиракузы, Катанью.

Это была первая зарубежная поездка пятидесяти-восьмилетнего Эйдельмана — одного из крупнейших отечественных историков. В своих дорожных мемуарах, вошедших в книгу “Оттуда”, Эйдельман с иронией писал об этом так поздно состоявшемся путешествии:

“До того вообще не бывая «за бугром», этот самый автор будет в дальнейшем пытаться недостаток обернуть достоинством, ибо его ощущения, может быть, никогда не явились бы при первом посещении капстраны, если бы оно случилось на 10, 20, 30 лет раньше”.

В путевом очерке о Венеции, которую путешественники застали в дни венецианского карнавала 1987 г., Эйдельман пишет о великом Пушкине (которому историк посвятил немало трудов) и пушкинских строках о Венеции, найденных в недавно расшифрованных черновиках поэта:

“Пушкин никогда не бывал за границей (не считая турецкой территории в Эрзруме и около него), но прекрасно чувствовал, словно обладая даром дальновидения, экзотические чужие земли...

*В голубом небесном поле
Светит Вesper золотой,
Старый дождь плывет в гондоле
С догарессой молодой.
Воздух полн дыханьем лавра,
..... морская мгла,
Дремлют флаги Бучентавра,
Ночь безмолвна и тепла...*

Эйдельман комментирует:

“Кажется, он < Пушкин > побывал волшебным образом и в Венеции, точно запомнив, как светит Вesper (Венера) на южном голубом небе; вдыхая запах лавра, приглядывался к дремлющим в безветрии флагам, — а там дальше, в Адриатике, морская мгла, и Бучентавр ему хорошо известен — изумительная гондола, украшенная резьбой, изображением быка с человеческой головой. В венецианском музее сегодня хранятся остатки того

старинного бучентавра, на котором дож выплывал в море и бросал в воду кольцо — символическое обручение Венеции с океаном...”

Н. Я. Эйдельман не переставал удивляться этому “итальянскому секрету”, этой “русской способности” “в течение нескольких веков порождать гениев при любом режиме”:

“Всё это одна из точек притяжения России к Апеннинам, хотя, разумеется, далеко не единственная. К тому же, российские чувства к Риму — один сюжет, к Неаполю — другой, к Венеции — третий...”

В 2011 г. переиздание книги уже ушедших из жизни Натана Эйдельмана и Юлия Крелина “Итальянская Россия” вышло в московском издательстве “Гамма-пресс” с предисловием 90-летнего Тонино Гуэрры.

И О С И Ф А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч Б Р О Д С К И Й

373

Иосиф Александрович Бродский (24.05.1940, Ленинград — 28.01.1996, Нью-Йорк) — поэт, эссеист, переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1987). В 1963 г. был арестован и приговорен к пяти годам ссылки с обязательным привлечением к труду по Указу “Об ответственности за тунеядство”. В 1972 г. эмигрировал в США.

В своем знаменитом эссе о Венеции (1989) “*Fondamenta degli Incurabili*” (“Набережная неисцелимых”; перевод с английского Г. Дашевского) Бродский вспоминал о том, что еще в молодости он почувствовал некую мистическую связь с далекой Венецией. Году примерно в 1966 г. один друг дал ему почитать несколько коротких романов француза Анри де Ренья, переведенных М. Куз-

миним. Один из них назывался что-то вроде “Провинциальные забавы”, и действие его происходило в зимней Венеции.

Бродский: *“Атмосфера сумеречная и тревожная, топография, осложненная зеркалами; главные события имели место по ту сторону амальгамы; в каком-то заброшенном палаццо. Подобно многим книгам двадцатых, роман был довольно короткий — страниц 200, не больше — и в бодром темпе. Тема обычная: любовь и измена. Самое главное: книга была написана короткими — длиной в страницу или полторы — главами. Их темп отдавал сырыми, холодными, узкими улицами, по которым вечером спешишь с нарастающей тревогой, сворачивая налево, направо. Человек, родившийся там, где я, легко узнавал в городе, возникшем на этих страницах, Петербург, продленный в места с лучшей историей, не говоря уже о широте. Но важнее всего в том впечатлительном возрасте, когда я наткнулся на роман, был преподанный им решающий урок композиции, то есть: качество рассказа зависит не от сюжета, а от того, что за чем идет. Я бессознательно связал этот принцип с Венецией”.*

На этом, однако, цепь событий, связавших Бродского с Венецией, не закончилась:

“Потом другой друг, еще здравствующий, принес растрепанный номер журнала «Лайф» с потрясающим цветным снимком Сан-Марко в снегу. Немного спустя девушка, за которой я ухаживал, подарила на день рож-



Иосиф Александрович Бродский на фоне старого здания венецианской таможни.

дения набор открыток с рисунками сепией, сложенный гармошкой, который ее бабушка вывезла из дореволюционного медового месяца в Венеции, и я корпел над ними с лупой. Потом моя мать достала бог знает откуда квадратик дешевого гобелена, просто лоскут с вышитым Palazzo Ducale, прикрывший валик на моем диване — сократив тем самым историю Республики до моих габаритов. Запишите сюда же маленькую медную гондолу, которую отец купил в Китае во время службы и которую родители держали на трюмо, заполняя разрозненными пуговицами, иголками, марками и — по нарастающей — таблетками и ампулами. Потом друг, давший романы Ренье и умерший год назад, взял меня



на полуофициальный просмотр контрабандной и потому черно-белой копии «Смерти в Венеции» Висконти с Дирком Богартом. Увы, фильм оказался не первый сорт, да и от самой новеллы я был не в восторге. И все равно, долгий начальный эпизод с Богартом в пароходном шезлонге заставил меня забыть о мешающих титрах и пожалеть, что у меня нет смертельной болезни; даже сегодня я могу пожалеть об этом. Потом возникла венецианка. Стало казаться, что город понемногу вползает в фокус. Он был черно-белым, как и пристало выходящу из литературы или зимы; аристократический, темноватый, холодный, плохо освещенный, где слышен струнный гул Вивальди и Керубини на заднем плане, где вместо облаков женская плоть в драпировках от Беллини/Тьеполо/Тициана. И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол, буду кашлять и пить и на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и не сходя с места вышибу себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин”.

377

И когда зимой 1972 г. Бродский, тридцати двух лет от роду, оказался в эмиграции в Америке, то свою первую университетскую получку он решил потратить на “осуществление лучшей части своей мечты” и купил билет туда-обратно по маршруту Детройт-Милан-Детройт.

Пансион “Сегусо” — один из любимых венецианских отелей Бродского.

И. А. Бродский впервые приехал в Венецию миланским поездом в декабре 1972 г. Сев у вокзала Санта-Лючия на пароходик “varoretto”, он высадился на пристани “Академия” и после недолгих блужданий по узким переулкам дошел до “одноименного, удалившегося от мира пансиона”. (Отель “Академия”, расположенный в старой вилле Magavege, в которой одно время размещалось русское посольство в Венеции, находится на Fondamenta Bellani, в устье одного из канальчиков, выходящих в Canal Grande.)

После этого Бродский бывал в Венеции почти ежегодно:

“За двумя или тремя исключениями из-за моих или чьих-то еще сердечных приступов и подобных происшествий, каждое Рождество или накануне я сходил с поезда / самолета / парохода / автобуса и тащил чемоданы, набитые книгами и пишущими машинками, к порогу того или иного отеля, той или иной квартиры”.

Бродский предпочитал зимнюю Венецию:

“Летом бы я сюда не приехал и под дулом пистолета. Я плохо переношу жару; выбросы моторов и подмышек — еще хуже. Стада в шортах, особенно ржущие по-немецки, тоже действуют на нервы из-за неполноценности их анатомии по сравнению с колоннами, пилястрами и статуями, из-за того, что их подвижность и все, в чем она выражается, противостоит мраморной статике... Взгляд, видимо, крайний, но я северянин. В абстрактное время года жизнь даже на Адриатике



Любимые венецианские ресторанички Бродского:
“Locanda Montin” на Fondamente Eremita, 1147.



Любимые венецианские ресторанички Бродского:
 “Mascaron” на Calle Lunga Santa Maria Formosa, 5225.

кажется реальнее, чем в любое другое, так как зимой все тверже, жестче”.

Бродский любил останавливаться в Венеции поближе к воде (“водичке”, как он выражался) — например, у своего друга Роберта Моргана на канале Джудекка или в пансионе “Bucintoro” на Riva San Biagio рядом с Морским музеем. Жил он и в гостинице “Londra” на Riva degli Schiavoni (где Чайковский в декабре 1877 г. писал свою Четвертую симфонию и завершал инструментовку “Евгения Онегина”).

Бродский: *“В любом случае я всегда считал, что, раз дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби и — раз я с Севера — к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени, и под всякий Новый год, в несколько языческом духе, стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или океана, чтобы застать всплытие новой порции, нового стакана времени... Вот путь, а в ту пору и суть, моего взгляда на этот город. В этой фантазии нет ничего от Фрейда или от хордовых, хотя, безусловно, можно установить какую-то эволюционную — если не просто атавистическую — связь между рисунком от волны на песке и пристальным на него взглядом потомка ихтиозавров, который и сам чудовище. Поставленное стоймя кружево венецианских фасадов есть лучшая линия, которую где-либо на земной тверди оставило время — оно же — вода. Плюс есть несомненное соответствие — если не*

прямая связь — между прямоугольным характером рам для этого кружева, то есть местных зданий, и анархией воды, которая плюет на понятие формы. Словно здесь яснее, чем где бы то ни было, пространство сознает свою неполноценность по сравнению с временем и отвечает ему тем единственным свойством, которого у времени нет: красотой. И вот почему вода принимает этот ответ, его скручивает, мочалит, кромсает, но в итоге уносит в Адриатику, в общем не повредив”.

Обобщая свои венецианские ощущения, Бродский написал в “Набережной неисцелимых”:

“За эти годы, за долгие пребывания и короткие наезды, я был здесь, по-моему, счастлив и несчастлив примерно в равной мере. Это не так важно уже потому, что я приезжал сюда не с романтическими целями, а поработать, закончить вещь, перевести, написать пару стихотворений, если повезет; просто быть... Я давно заметил, что не превращать свою эмоциональную жизнь в пищу — это добродетель. Работы всегда вдоволь, не говоря о том, что вдоволь внешнего мира. В конце концов, всегда остается этот город, и пока он есть, я не верю, чтобы я или кто угодно мог поддаться гипнозу или ослеплению любовной трагедии... Несмотря на все время, кровь, чернила, деньги и остальное, что я здесь пролил и просидел, я никогда не мог убедительно претендовать, даже в собственных глазах, на то, что приобрел хоть какие-то местные черты, что стал, в сколь угодно мизерном смысле, венецианцем”.



Любимые венецианские ресторанички Бродского:
“Rivetta” на Campo San Provolo.

Возможно, наиболее точно говорит об отношении Бродского к Венеции описание им самим одного венецианского дня:

“Помню один день — день, когда, проведя здесь в одиночку месяц, я должен был уезжать и уже позавтракал в какой-то маленькой траттории в самом дальнем углу Фондамента Нуова жареной рыбой и полбутылкой вина. Нагрузившись, я направился к месту, где жил, чтобы собрать чемоданы и сесть на катер. Точка, перемещающаяся в этой гигантской акварели, я прошел четверть мили по Фондамента Нуова и повернул направо у больницы Джованни и Паоло. День был теплый, солнечный, небо голубое, все прекрасно. И, спиной к Фондамента и Сан-Микеле, держась больничной стены, почти задевая ее левым плечом и щурясь на солнце, я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в тот момент, я бы мякнул. Я был абсолютно, животной счастлив. Разумеется, через двенадцать часов приземлившись в Нью-Йорке, я угодил в самую поганую ситуацию за всю свою жизнь — или так мне тогда показалось. Но кот еще не покинул меня; если бы не он, я бы по сей день лез на стены в какой-нибудь дорогой психиатрической клинике”.

По словам друга Бродского, писателя и публициста Петра Вайля (также поклонника и знатока Венеции), Бродский знал толк в венецианской кухне и был завсегдаем нескольких местных тратторий: “Locanda Mop-tin” на Fondamenta della Eremita (в районе Дорсодуро);



Мемориальная доска Иосифу Бродскому на “Набережной неисцелимых”.

“Mascaron” на Calle Lunga Santa Maria Formosa (рядом с одноименной площадью); “Rivetta” под мостиком San Provolo (недалеко от площади Сан-Марко).

По-видимому, именно Иосифу Бродскому принадлежат лучшие в русской литературе венецианские метафоры: дворцы на Большом канале — “огромные резные сундуки”, “шеренги циклопов, возлежащих в черной воде”; венецианская площадь — “камбала”; улицы — “угри”; купола соборов — “медузы”; пассажирские пароходики — “помесь консервной банки с бутербродом”; лагуна — “гигантское жидкое зеркало”, “черная клеенка”; суденышки в лагуне — “раскиданная старая обувь” и т. д. и т. п.



Могила И. А. Бродского на кладбище Сан-Микеле.



Palazzo Mocenigo на Большом канале. Здесь, в бывших апартаментах лорда Байрона, был организован поминальный вечер И. А. Бродского после перезахоронения в Венеции.

28 января 1996 г. И. А. Бродский скончался в Нью-Йорке от сердечного приступа. Утром 1 февраля состоялось отпевание в церкви Благодати в Бруклине, вблизи последней нью-йоркской квартиры Бродского. Прах нобелевского лауреата был первоначально помещен в мраморный склеп на Trinity Church Cemetery при церкви Святой Троицы на 153-й улице в верхнем Манхэттене, на крутом берегу Гудзона. Писатель П. Вайль вспоминал о тех днях:

“Через день я пришел к церкви Благодати — она в трех кварталах от дома, где Бродский прожил последние два

года, — просто взглянуть еще раз — на память. Здание храма было обставлено нарядными полосатыми столбами, на манер тех, к которым привязывают гондолы. В церкви шел благотворительный аукцион, проходивший под знаком венецианского карнавала. «Странные сближения» продолжались...”

388

21 июня 1997 г. прах И. Бродского был перезахоронен в Венеции, на острове Сан-Микеле, на протестантском участке кладбища. На церемонии присутствовали друзья поэта — Евгений Рейн, Анатолий Найман, Михаил Барышников, Юз Алешковский, Чеслав Милош, Петр Вайль. А вечером в палаццо Мочениго на Большом канале, в комнатах, где когда-то жил лорд Байрон, был устроен вечер памяти Иосифа Бродского.

Иосиф Александрович Бродский посвятил любимой им Венеции несколько прекрасных стихотворений:

ЛАГУНА

(1973)

I

*Три старухи с вязаньем в глубоких креслах
толкуют в холле о муках крестных;
пансион “Аккадемиа” вместе со
всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот
телевизора; сунув гроссбух под локоть,
клерк поворачивает колесо.*

389

II

*И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще.*

III

*Венецйских церквей, как сервизов чайных,
слышен звон в коробке из-под случайных
жизней. Бронзовый осьминог
люстры в трельяже, заросшем ряской,
лижет набрякший слезами, лаской,
грязными снами сырой станок.*

IV

*Адриатика ночью восточным ветром
канал наполняет, как ванну, с верхом,
лодки качает, как люльки; фиш,
а не вол в изголовье встает ночами,
и звезда морская в окне лучами
штору шевелит, покуда спишь.*

V

*Так и будем жить, заливая мертвой
водой стеклянной графина мокрый
пламень граппы, кромсая леца, а не
птицу-гуся, чтобы нас насытил
предок хордовый Твой, Спаситель,
зимней ночью в сырой стране.*

VI

*Рождество без снега, шаров и ели,
у моря, стесненного картой в теле;
створку моллюска пустив ко дну,
пряча лицо, но спиной пленяя,
Время выходит из волн, меняя
стрелку на башне — ее одну.*

VII

*Тонуций город, где твердый разум
внезапно становится мокрым глазом,
где, сфинксов северных южный брат,*

*знающий грамоте лев крылатый,
книгу захлопнув, не крикнет “ратуй!”,
в плеске зеркал захлебнуться рад.*

VIII

*Гондолу бьет о гнилые сваи.
Звук отрицает себя, слова и
слух; а также державу ту,
где руки тянутся хвойным лесом
перед мелким, но хищным бесом
и слюну леденит во рту.*

IX

*Скрестим же с левой, вобравшей когти,
правую лапу, согнувши в локте;
жест получим, похожий на
молот в серпе, — и, как чорт Солохе,
храбро покажем его эпохе,
принявшей образ дурного сна.*

X

*Тело в плаще обживает сферы,
где у Софии, Надежды, Веры
и Любви нет грядущего, но всегда
есть настоящее, сколь бы горек
ни был вкус поцелуев эбрé и гоек,
и города, где стопа следа*

XI

не оставляет — как челн на глади
водной, любое пространство сзади,
взятое в цифрах, сводя к нулю —
не оставляет следов глубоких
на площадях, как “прощай” широких,
в улицах узких, как звук “люблю”.

392

XII

Шпиль, колонны, резьба, лепнина
арок, мостов и дворцов; взгляни на-
верх: увидишь улыбку льва
на охваченной ветром, как платьем, башне,
несокрушимой, как злак вне пашни,
с поясом времени вместо рва.

XIII

Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым
лицом, сравнимым во тьме со снятым
с безымянного пальца кольцом, грызя
ноготь, смотрит, объят покоем,
в то “никуда”, задержаться в коем
мысли можно, зрачку — нельзя.

XIV

Там, за нигде, за его пределом
— черным, бесцветным, возможно, белым —
есть какая-то вещь, предмет.

*Может быть, тело. В эпоху тренья
скорость света есть скорость зренья;
даже тогда, когда света нет.*

ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ (1)

(1982)

393

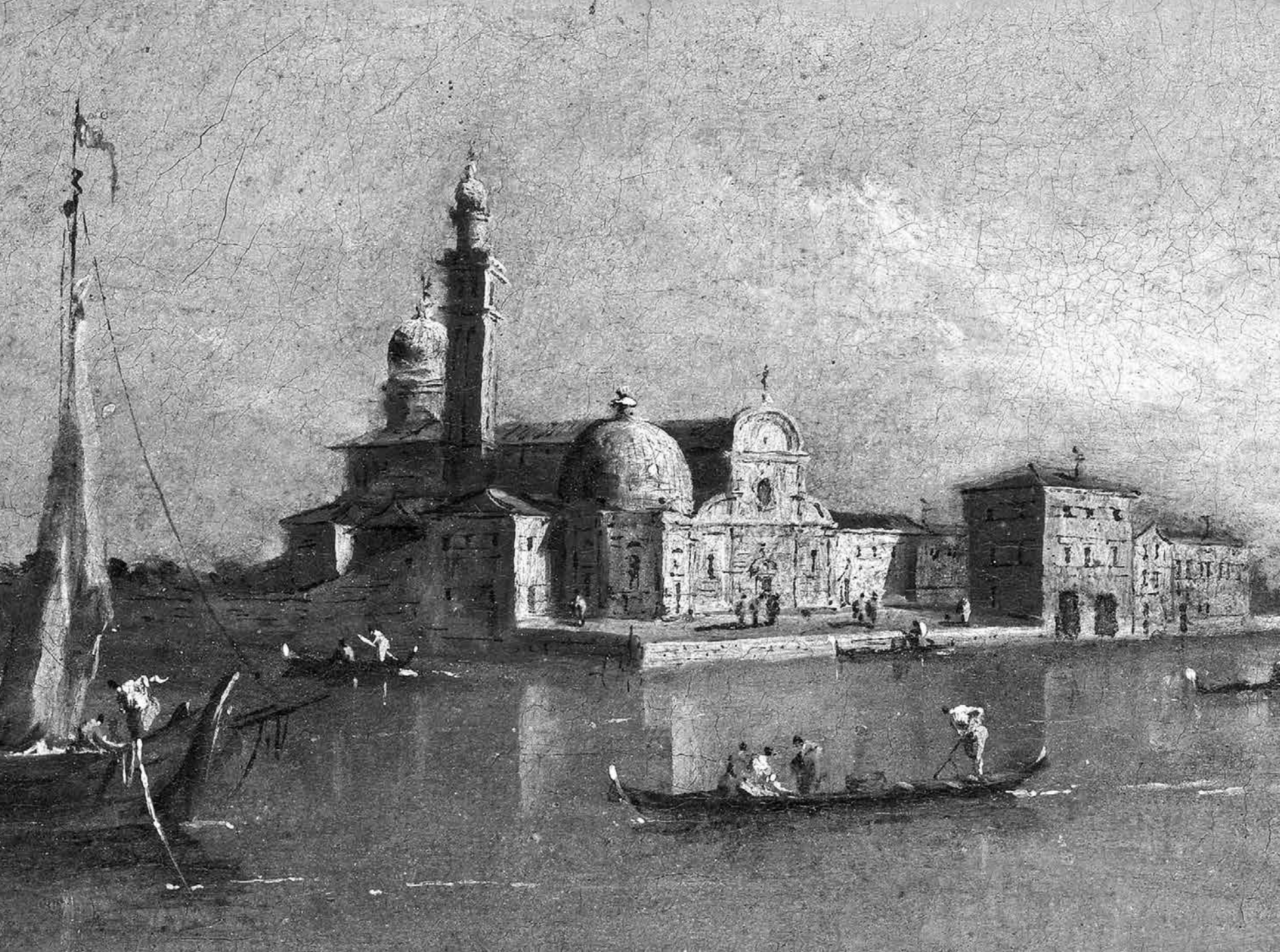
Сюзанне Зонтаг

I

*Мокрая коновязь пристани. Понурая ездовая
машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну.
Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая
вразнобой тишину.
Чем доверчивей мавр, тем чернее от слов бумага,
и рука, дотянуться до горлышка коротка,
прижимает к лицу кружева смятого в пальцах Яго
каменного платка.*

II

*Площадь пустынна, набережные безлюдны.
Больше лиц на стенах кафе, чем в самом кафе;
дева в шальварах наигрывает на лютне
такому же Мустафе.
О, девятнадцатый век! Тоска по востоку! Поза
изгнанника на скале! И, как лейкоцит в крови,
луна в твореньях певцов, сгоравших от туберкулеза,
писавших, что — от любви.*



III

Ночью здесь делать нечего. Ни нежной Дузэ, ни арий.
 Одинокий каблук выстукивает диабаз.
 Под фонарем ваша тень, как дрогнувший карбонарий,
 отшатывается от вас
 и выдыхает пар. Ночью мы разговариваем
 с собственным эхом; оно обдает теплом
 мраморный, гулкий, пустой аквариум
 с запотевшим стеклом.

396

IV

За золотой чешуей всплывших в канале окон —
 масло в бронзовых рамах, угол рояля, вещь.
 Вот что прячут внутри, штору задернув, окунь!
 жаброй хлопая, лец!
 От нечаянной встречи под потолком с богиней,
 сбросившей все с себя, кружится голова.
 И подъезды, чье небо воспалено ангиной
 лампочки, произносят “а”.

V

Как здесь били хвостом! Как здесь лещами вились!
 Как, вертясь, нерестясь, или косяком в овал
 зеркала! В епанче белый глубокий вырез
 как волновал!
 Как сирокко — лагуну. Как посреди панели
 здесь превращались юбки и панталоны в щи!
 Где они все теперь — эти маски, полишинели,
 перевертни, плащи?

На предыдущем развороте:
 Вид на остров Сан-Микеле в венецианской лагуне.
 С картины Дж. Гварди.

VI

Так меркнут люстры в опере; так на убыль
 к ночи идут в объеме медузами купола.
 Так сужается улица, вьющаяся как угорь,
 и площадь — как камбала.
 Так подбирает гребни, выпавшие из женских
 взбитых причесок, для дочерей Нерей,
 оставляя нетронутым желтый бесплатный жемчуг
 уличных фонарей.

397

VII

Так смолкают оркестры. Город сродни попытке
 воздуха удержать ноту от тишины,
 и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры,
 плохо освещены.
 Только фальцет звезды меж телеграфных линий —
 там, где глубоким сном спит гражданин Перми*.
 Но вода аплодирует, и набережная — как иней,
 осевший на до-ре-ми.

VIII

И питомец Лоррена, согнув колено,
 спихивая, как за борт, буквы в конец строки,
 тщится рассудок предохранить от крена
 выпитому вопреки.
 Тянет раздеться, скинуть суконный панцирь,
 рухнуть в кровать, прижаться к живой кости,
 как к горячему зеркалу, с чьей амальгамы пальцем
 нежность не соскрести.

* С. Дягилев.

ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ (2)

(1982)

Геннадиию Шмакову

I

Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус.
От пощечины булочника матовая щека
приобретает румянец, и вспыхивает стеклярус
в лавке ростовщика.
Мусорщики плывут. Как прутьями по ограде
школьники на бегу, утренние лучи
перебирают колонны, аркады, пряди
водорослей, кирпичи.

II

Долго светает. Голый, холодный мрамор
бедер новой Сусанны сопровождает при
погружении под воду стрекотом кинокамер
новых старцев. Два-три
грузных голубя, снявшихся с капители,
на лету превращаются в чаек: таков налог
на полет над водой, либо — поклеп постели,
сонный, на потолок.

III

Сырость вползает в спальню, сводя лопатки
спящей красавицы, что ко всему глуха.

398

Так от хрустнувшей ветки ежатся куропатки
и ангелы — от греха.
Чуткую бязь в окне колеблют вдох и выдох.
Пена бледного шелка захлестывает, легка,
стулья и зеркало — местный стеклянный выход
вещи из тупика.

IV

Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную
раковину затопляет дребезг колоколов.
То бредут к водопою глотнуть речную
рябь стада куполов.
Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий,
крепкий кофе, скомканное тряпье.
И макает в горло дракона золотой Егорий,
как в чернила, копье.

V

День. Невесомая масса взятой в квадрат лазури,
оставляя весь мир — всю синеву! — в тылу,
припадает к стеклу всей грудью, как к амбразуре,
и сдается стеклу.
Кучерявая свора тщится настигнуть вора
в разгоревшейся шапке, норд-ост суля.
Город выглядит как толчея фарфора
и битого хрустала.

399

VI

*Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,
как непарная обувь с ноги Творца,
ревностно топчут шпиль, пиллястры, арки,
выраженье лица.
Все помножено на два, кроме судьбы и кроме
самой H₂O. Но, как всякое в мире “за”,
в меньшинстве оставляет ее и кровли
праздная бирюза.*

400

VII

*Так выходят из вод, ошеломляя гладью
кожи бугристый берег, с цветком в руке,
забывая про платье, предоставляя платью
всплескивать вдалеке.
Так обдают вас брызгами. Те, кто бессмертен, пахнут
водорослями, отличаясь от вообще людей,
голубей отрывая от сумасшедших шахмат
на торцах площадей.*

VIII

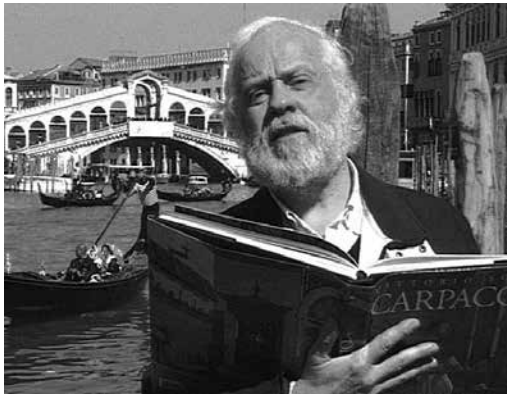
*Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
под открытым небом, зимой, в одном
пиджаке, поддав, раздвигая скулы
фразами на родном.
Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня.*

ПЕТР
ЛЬВОВИЧ
ВАЙЛЬ

401

ПЕТР Львович Вайль (29.09.1949, Рига — 7.12.2009, Прага) — литератор, искусствовед, путешественник. Родился и вырос в Риге. В своей книге “Карта родины” (2007) писал: “Москвич-отец с эльзасскими корнями и ашхабадка-мать из тамбовских молокан поженились в Германии...”

В 1964 г. поступил на судомеханический факультет Рижского мореходного училища, но через несколько месяцев бросил учебу и уехал в Москву. Окончил редакторский факультет Московского полиграфического института. Вернувшись в Ригу, сотрудничал в латышской комсомольской газете “Советская молодежь”.



Петр Львович Вайль на фоне моста Риальто.

“Тебе 27 лет. Ты работаешь в газете, хорошей газете... Но ты просматриваешь свою дальнейшую жизнь до конца, до пенсии, до смерти. Все предсказуемо. Все известно. В 27 лет это чувство совершенно невыносимое. И что же я вот так и проживу всю свою жизнь? И что я так никогда ничего и не увижу? Вот то, о чем я мечтаю, о чем я читал. Какую-нибудь там Италию или Париж, или еще что-нибудь такое...”

В 1977 г. эмигрировал вслед за своим другом, филологом Александром Генисом; четыре месяца прожили “тамбурной жизнью” под Римом, ожидая виз в Америку. Тогда же П. Л. Вайль впервые побывал в Венеции, приняв участие в знаменитой “Биеннале инакомыслящих”,

посвященной диссидентскому искусству в СССР и странах Восточной Европы. Познакомился с участниками выставки — Иосифом Бродским, Александром Галичем, Ефимом Эткингом.

До 1991 г. Вайль жил в США, где вместе А. Генисом написал ряд книг, принесших известность: “Современная русская проза” (1982), “Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета” (1983), “Русская кухня в изгнании” (1987), “60-е: Мир советского человека” (1988), “Родная речь” (1990), “Американа” (1991). Рассказывали, что книги друзья-соавторы писали “посменно”: пока один писал главу, другой зарабатывал деньги на две семьи. Сотрудничали в эмигрантских газетах “Новое русское слово” и “Новый американец”, где работали под руководством Сергея Довлатова.

С конца 1980-х гг. П. Л. Вайль начал печататься в российской периодике как эссеист, работал в нью-йоркском бюро радио “Свобода”, где впоследствии возглавил отделение Русской службы. В 1995 г. переехал вслед за штаб-квартирой радио “Свобода” в Прагу. Был членом-основателем Академии русской современной словесности, членом редсоветов журналов “Иностранная литература” и “Знамя”.

П. Л. Вайль многократно бывал, а затем долго жил в Венеции. Был автором сборника путевых эссе “Тени места”, ведущим одноименного цикла телепередач на российском телеканале “Культура” (2005–2006). Лауреат нескольких литературных премий.



Место захоронения урны с прахом П. Л. Вайля
на кладбище Сан-Микеле.

Скончался 7 декабря 2009 г. в Праге, проведя перед смертью более года в состоянии комы, произошедшей в результате инфаркта. Урна с прахом П. Л. Вайля захоронена в колумбарии на кладбище острова Сан-Микеле в венецианской лагуне.

Приложение I

ПЕТР ВАЙЛЬ

Костюм Казановы

Желание раздеться и желание одеться — два главных искушения человека и человечества. Первый соблазн ярче всего явлен в Рио-де-Жанейро, второй — в Венеции. Если Рио — самый раздетый город планеты, то Венеция — самый одетый... Дивное зрелище являет собой эта толпа, в особенности зимняя. Летняя — парадоксальным образом ярче, но монотоннее: на тех клочках, которые составляют одежду, не развернуться фантазии. Зимой же многовариантность покровов шуб, пальто, плащей, фасонов туфель, ботинок, сапог — ошеломляет. Общее здесь лишь одно — гармония и адекватность. У меня не хватает смелости утверждать, что женщины Северной Италии красивее других, но то, что они элегантнее и привлекательнее — готов отстаивать с тупой отвагой или более современно: в суде любой инстанции... Венеция не превосходит нарядами богатые соседние города. Не шикарнее и не изысканнее упомянутых улиц набережная Рива-дельи-Скьявони (по иронии истории, в переводе — Славянская набережная). Но нет города в мире, где бы одежда стала живой мифологией — благодаря карна-

валу. Карнавал — удвоение наряда. Точнее — одежда в квадрате.

406

В XVIII веке карнавальная жизнь продолжалась месяцами, и около двухсот дней в году венецианцам позволено было носить маскарадный костюм. Сейчас этот праздник длится — правда, с бешеной интенсивностью — всего десять дней. Но именно традиция карнавала, выпадающего — в зависимости от Пасхи — на февраль или начало марта, заложила отношение к зимнему наряду. А поскольку истинный венецианец к самому карнавалу относится пренебрежительно, как к туристскому шоу (тем не менее великолепному!), то старательнее всего Венеция одевается к Рождеству и Новому году. Лучшие витрины на Мерчери — в декабре. На рынке Риальто в предрождественские дни глазеешь вовсе не на бесконечное разнообразие даров земли и моря, а на тех, кто складывает эти дары в сумки. На периферии памяти маячат покупки в купальниках, но покупки в шубах их затмевают — и это правильное качание маятника.

Два главных соблазна — желание раздеться и желание одеться. Первая страсть определяет демографическую картину мира, а демография — в конечном счете, важнейшая из наук, имеющая отношение к повседневному бытию: чем гуще селится человек — тем хуже живет. Второй соблазн всегда был движущей силой цивилизации: не ради хлеба насущного воевал и плавал мужчина, а чтобы украсить себя и своих женщин. Что искали навигаторы и землепроходцы, совершая вели-

кие открытия? Пряности, золото, драгоценные камни, меха. Не кукурузу же. Неистребимое влечение к излишествам правит миром. Цивилизацию следует отсчитывать с того момента, когда наш непричесанный и неумытый предок, руководствуясь бесполезными эстетическими соображениями, подрезал наброшенную на себя длинную теплую шкуру каменным ножом (так подлинное искусство кино началось не со съемки, а с монтажа). Крой шкуры — знак самоощущения личности. Цивилизация и есть одежда: голый человек покрывал себя слой за слоем религией, моралью, правом, культурой, этикетом, нарядами. Одевался.

407

Никто никогда в истории не одевался так тщательно и с таким осознанием важности наряда, как венецианцы. И наивенецианнейший из всех — Джакомо Казанова. Казанова оказался так задрапирован предрасудками, что только в последнее время усилиями историков, культурологов, литературоведов превратился из Луки Мудищева в философа и писателя, автора увлекательной и мудрой книги мемуаров — «История моей жизни». Он и был философом жизни, утверждавшим, что потерял лишь один день, когда после маскарада в Санкт-Петербурге в декабре 1764 года проспал 27 часов подряд. Казанова довел до высочайшего мастерства природный дар итальянцев — умение извлекать смысл не из жизни вообще, а из каждого конкретного дня. В таком высоком ремесле значимо все. Одевался Казанова продуманно, рассчитывая, какое впечатление следует

произвести. Он так увлечен идеей наряда, что для него и презерватив — одежда: “Маленький костюм из очень тонкой и прозрачной кожи, длиной в восемь дюймов и без выходного отверстия, который завязывался на входе узкой розовой ленточкой”.

408

В “Истории моей жизни” все мало-мальски существенные персонажи — одеты. То есть Казанова отмечает их наряд, тем самым помещая в точный социально-психологический контекст. Как писал на сто лет позже Оскар Уайльд, только очень поверхностные люди не судят по внешности. Естественно, тщательнее всего одет герой, он же автор мемуаров. Сохранилась расписка 1760 года: Казанова заложил кое-что из своей одежды — бархат, горностаи, атлас, гипюр, кружева... Когда венецианская инквизиция пришла в 1755 году арестовать Казанову за вольнодумство, он долго и тщательно совершал туалет, будучи уверен, что красиво и дорого одетый человек не может выглядеть виновным. Однако инквизиторы оказались лишены эстетического чувства, и 15 месяцев Казанова просидел в Пьомби — страшной тюрьме под свинцовой крышей Дворца дождей. И вот тут — лучший в “Истории моей жизни” пассаж. Казанова совершает невозможное — побег из Пьомби: героический поступок, который для любого другого стал бы содержанием и рассказом всей жизни. Совершив акробатические трюки и атлетические подвиги, изодранный, окровавленный Казанова вырывается на волю, наскоро переодевается и выходит к лагуне: свобода! “Повязки, выделявшиеся на

коленях, портили все изящество моей фигуры” Кто еще в мире способен на такую фразу?!

Казанова не хвастлив — слишком красноречива сама его жизнь. Оттого так заметно выделяется трогательное самодовольство, с которым он рассказывает, как дарил своим любовницам наряды, сам выбирая их: “В размерах я не ошибся ни разу”. Так вот и хотелось бы прожить — чтобы не было мучительно больно за ошибки в размерах. Прежде всего — в своих собственных. Я говорю, разумеется, о масштабе личности.

409

Вайль П. *Слово в пути*. М. Астрель. 2011

Приложение II

ПЕТР ВАЙЛЬ

Карпаччо имени Карпаччо

Мне вообще-то в жизни везет, а с этим особенно. Любимая холодная мясная закуска — изобретенное в Венеции карпаччо. Любимый художник любимого города, Венеции, — Карпаччо. Хорошо устроился. От того места, где было придумано карпаччо, — один из лучших ви-

дов на Большой канал и лагуну. Это у самой остановки пароходика-вапоретто “Сан-Марко”, на углу Калле Валларессо. Заведение внешне — да и внутри — скромное, но изысканное и историческое: *Naughty's Bar*. Джузеппе Чиприани открыл *Naughty's Bar* в 1931 году в здании заброшенного склада. До того он работал барменом в отеле “Европа”, чуть дальше по Большому каналу в сторону Риальто. Однажды выручил оставшегося без гроша клиента — Гарри Пикеринга из Бостона. Через два года тот вернулся и дал Джузеппе денег на открытие собственного бара. Название, понятно, — “Гарри”. Так же, только на итальянский лад, Чиприани назвал родившегося через год сына — Арриго. С ним я имел честь познакомиться в семьдесят седьмом: русские тогда были в диковину, да еще цитирующие Хемингуэя прямо на месте событий... Но я отвлекся от пятидесятого года. А зря, потому что в том году Джузеппе Чиприани изобрел блюдо для графини Амалии Нани де Мочениго, которой врач запретил есть приготовленное мясо — только сырое. Чиприани нарезал говядину тончайшими широкими ломтями, приправил — и процесс пошел. Тартар — сырой говяжий фарш — был известен давно. О нем сообщал венецианец Марко Поло, поживший в XIII веке в Китае. Гамбургские моряки познакомились с сырым фаршем в России. Этот баснословный мир — Китай, Россия, что Там еще — проходил под именем Татария. Отсюда и *steak tartare*, стейк по-татарски. Отсюда же — парадоксально — гамбургер. Название лепешки из поджаренного фарша без добавок

(в отличие от рубленой котлеты) восходит к тем гамбургским мореходам. Тартар тартаром, но просто резать сырое мясо — пусть и очень тонко! — в голову до 1950 года не приходило...

У “Гарри” делают карпаччо из поясничной части говядины. Можно и из вырезки — с ней проще обращаться, но знатоки полагают, что вкус не совсем тот. Есть школа, рекомендующая заморозить мясо перед нарезкой. У “Гарри” это начисто отрицают: только охладить. Нарезанное мясо подается сразу — не позже, чем через час-полтора. Встречается совет: пласт говядины накрыть пластиковой пленкой и прокатать скалкой. Профанация: мясо станет тоньше, но фактура его будет безнадежно нарушена. Ломти поливаются оливковым маслом, сбрызгиваются лимоном и посыпаются тончайшими пластинками пармезана. Можно — зеленью: мелконарезанной петрушкой, поострее — руколой. Допустимая приправа, помимо этого, — такая смесь: полчашки свежеприготовленного майонеза, чайная ложка вустерского соуса, чайная ложка лимонного сока, щепотка белого перца. Карпаччо допускает участие капель концентрированного бальзамического уксуса, нескольких каперсов. Но не лука!!! Мне приходилось встречать и такое — не скажу где: гуманность мешает.

Название блюда дал Витторе Карпаччо, лучший не только в Венеции, а в мировой живописи художник города. Он с равным мастерством преподносил грандиозную городскую панораму и ее крохотные детали, вроде

тетки, выбивающей на балконе ковер, и кровельщика, приколачивающего черепицу. Ему одному, пожалуй, был бы под силу современный Нью-Йорк. Но Карпаччо родился за полтысячи лет до изобретения Карпаччо. Считается, что блюдо из сырой говядины так названо, потому что Карпаччо замечательно передает оттенки красного. Вообще-то из великих венецианцев виртуозом этого цвета считается Тициан, есть даже в искусствоведении понятие “тициановский красный”. Надо отметить тонкий вкус того, кто придумал название. Тициан прославлен картинами на библейские сюжеты, так что прожевывание тициана отдавало бы кощунством, чего лишено поедание карпаччо, коль скоро главная сила Карпаччо — городские сцены, яркие и сочные. А может, все проще: в пятидесятом в Венеции проходила большая выставка Витторе Карпаччо, имя было на слуху... Вскоре после классического говяжьего карпаччо появилось телячье, потом из тунца и меч-рыбы — это хоть логично: консистенция схожа. Но потом драгоценное имя пошло в разнос — с любым сырым продуктом: карпаччо из лосося, лангустов, форели, осьминога, помидоров, ананасов. Даже из свеклы, причем извращенно отварной. Это бывает даже и вкусно, но при чем тут карпаччо? Будущее этих фальшивомонетчиков предрешиено: их будут нарезать тонкими ломтями хохочущие черти.

Вайль П. *Слово в пути*. М. Астрель. 2011

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РУССКИЕ О ВЕНЕЦИИ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ВЕНЕЦИЕЙ

415

П. ТОЛСТОЙ

1697

Венеция — место зело великое и предивное, цесарского столичного города Вены многим двою болши. Около Венеции стен городских и башен, проезжих и глухих, нет. Домовное строение все каменное, преудивительное и зело великое, каких богатых в строении и стройных домов мало где на свете обретается. В Венеции по всем улицам и по переулкам везде вода морская, и ездят во все дома в судах, а кто похочет иттить пеш, также по всем улицам и переулкам проходы пешим людям изрядные ко всякому дому; и во всяком дому двою ворота: одни в водяные улицы, а другие на сухой путь; и многие улицы и переулки разделены на двою половина: водяного пути, а другая — сухаго. В Венеции лошадей и никакого скота нет, также корет, колясак, телег никаких

Д. ФОНВИЗИН

1785

416

нет, а саней и не знают. В Венеции по улицам чрез воды поделано множество мостов каменных и деревянных... В Венеции воздух тягостен и бывает дух зело грубой от морской воды... Товаров на пищу, то есть хлеба и харчу всякого, мяс, рыб и живности всякой, в Венеции множество, а паче всего премногое множество всяких фруктов и трав, которые употребляютца в пищу и зело дешево; и во весь год, в лете и в зиме, фрукты, то есть гроздие, и травы не переводятся; также и цветы во весь год бывают, и много цветов продают всяких для того, что венецыянки, жены и девицы, употребляют цветы в уборы около своих голов и около платья.

П. А. Толстой. *Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе 1697–1699.*
 <Запись 15 июня 1697 г. > М., 1992, с. 51, 54.

417

Мы теперь в Венеции. Город пречудный, построен на море. Вместо улиц каналы, вместо карет гондолы. Большую часть времени плаваем... Первый вид Венеции, подъезжая к ней морем, нас очень удивил; но скоро почувствовали мы, что из доброй воли жить здесь нельзя. Вообрази себе людей, которые живут и движутся по одной воде, для которых вся красота природы совершенно погибла и которые, чтоб сделать два шага, должны их переплыть. Сверх же того, город сам собою безмерно печален. Здания старинные и черные; многие тысячи гондол выкрашены черным, ибо другая краска запрещена. Разъезжая по Венеции, представляешь погребение, тем наипаче, что сии гондолы на гроб похожи и италианцы ездят в них лежа. Жары, соединяясь с пристрашною воною из каналов, так несносны, что мы больше двух дней еще здесь не пробудем.

Письмо сестре, 28 мая 1785 г.

М. ПОГОДИН

1839

418

Я выходил беспрестанно на палубу любоваться морем, небом и месяцем. К 6 часам выползли из своих нор и прочие путешественники, с заспанными глазами. Вот начинает алеть заря, вот поднимается и солнце, вслед за румяной зарею... А вот из глубины встает и Венеция, Венеция, любовница морей, как Венера из морской пены. Верно, это сравнение уже сделано сто раз. Приближался в каком-то недоумении: душа, будто запертая, не имеет силы вырваться, обрадоваться, развернуться, — и молчит, не смеет шевельнуться. Пароход плыл тихо. Приближаемся, минуем несколько домов, остановились. Гондолы окружили пароход со всех сторон. Отчего они все черные? Гондольеры, в полосатых шараварах, кричат, зазывают пассажиров и перебивают их друг у друга. Надо ехать в полицию. Станный распорядок: все пассажиры должны забрать пожитки и ехать в полицию, везти паспорта, а потом уже разъезжаться по квартирам. Все едут к одному, — не лучше ли бы полицейскому комиссару приехать на пароход, рассмотреть паспорта, сделать, что ему нужно, и тотчас пропустить в город приезжих? Австрийская провололочка.

М. П. Погодин. *Год в чужих краях.*
Дорожный дневник 1839. М., 1844, т. 1, с. 185-186.

П. АННЕНКОВ

1841

419

В Венецию прибыл я на пароходе 14-го марта нового стиля и встал ранехонько, во-первых, для того, чтобы не пропустить восхождения солнца на море, а во-вторых, чтоб посмотреть, как станет выплывать из воды этот чудный город; но солнце на этот раз всходило так туманно и обыкновенно, что я предпочитаю этому восхождению таковое же в балете “Сильфида”. Впрочем, оно и естественно: там больше издержек. Город выказался удивительно. Сперва проехали мы остров Лидо, где Байрон держал верховых лошадей и гулял по берегу моря; с одного холма этого острова направо видна необозримая пелена Адриатики, налево Венеция, плавающая на поверхности воды, как мраморная лодка, по выражению Пушкина. Потом мы вступили в канал Св. Марка, а через несколько минут, оставив налево Сан-Жоржио с церковью постройки Палладио, пароход наш остановился при входе в Большой канал, эту удивительную улицу Венеции, где мраморные лестницы готических, мавританских и времен Возрождения дворцов вечно обмываются волнами моря, мутными и зелеными в канавах, как будто с досады, что отвели их от родимого, широкого ложа... Я порывался на берег; но австрийские чиновники ос-



С. УВАРОВ

1843

422

матривали наши паспорта; наконец, все формальности кончились, гондолы примчали нас к великолепной пристани Пиацетты, и вот я очутился на площади Св. Марка, которой, по признанию всех туристов, нет подобной в Европе.

П. В. АННЕНКОВ. *Письма из-за границы 1841* // Парижские письма 1841. М., 1983, с. 19.

423

Нет ничего столь печального, как первый облик новейшей Помпеи, которую называют Венецией. Представьте себе город, пораженный недавним бедствием, пощадившим стены и сгубившим жителей; тогда поймете ощущение, сжимающее сердце; не то животворное ощущение, какое внушают развалины римские, а ту грусть неопределенную, ту глубокую тоску, овладевающую вами при виде храмин пышных и запустелых, коих обитатели были тут, кажется, сей час, или театра полуосвещенного, лишенного зрителей, или бальной залы на другой день после пиршества... Эти громадные жилища, эти пышные здания, полуитальянские, полумавританские, просят милостыню воспоминания. Нынешняя Венеция знаменуется австрийским часовым, медленно расхаживающим у подошвы дворца Пизани или дворца Фоскари и под ружьем, кажется, ожидающим последнего вздоха изнывающего города.

С. С. УВАРОВ. *Рим и Венеция в 1843-м году*. Дерпт, 1846, с. 30, 32.

На предыдущем развороте:
Венецианская гавань. С картины Каналетто.

В. ЯКОВЛЕВ

1850-е

424

Около полудня черноглазая фея Моргана, околдовавшая всех пассажиров, произнесла магическое слово — Venezia! И чародейский город, как будто вызванный с морского дна, уже выдвигал из волн свои башни и куполы. Навстречу нам неслись желтые и алые паруса: это были не победоносные галеры венециан, а мирные ладьи рыбаков. Серые форты Лидо приветствовали нас выстрелами. Эти мшистые стены не хуже гряды гранитных скал выдерживают натиск валов не всегда ласковой Адриатики. Пароход наш вошел в зеленоватые воды лагун. Дворцы и храмы посередине моря... Колонны, аркады, встающие из волн... Море, наполнившее улицы, волнующееся перед балконами... Мне казалось, что я очутился в центре совершенно новой, своеобразной цивилизации. Черные гондолы с железным зубчатым носом, скользящие по водяным улицам; тишина, необыкновенная в большом городе; фантастическая архитектура зданий, омываемых волнами, поэтическое небо, цвета свежей сирени; какая-то упоительная мягкость воздуха — все это действует на воображение с поразительностью миража, с причудливостью грез.

В. Д. Яковлев. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя.* СПб., 1855, с. 2-3.

А. ЧЕХОВ

1891

425

Одно могу сказать: замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни. Вместо улиц и переулков каналы, вместо извозчиков гондолы, архитектура изумительная, и нет того местечка, которое не возбуждало бы исторического или художественного интереса. Плынешь в гондоле и видишь дворцы дожей, дом, где жила Дездемона, дома знаменитых художников, храмы... А в храмах скульптура и живопись, какие нам и во сне не снились. Одним словом, очарование... Русскому человеку, бедному и приниженному, здесь, в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество. Великолепны усыпальницы Кановы и Тициана. Здесь великих художников хоронят, как королей, в церквях; здесь не презирают искусства, как у нас: церкви дают приют статуям и картинам, как бы голы они ни были.

Письмо И. П. Чехову, 5 апреля 1891 г.

А. БЕНУА

1894

426

И вот мы в Венеции, в этом чудо-городе. Ничто не сравнится с тем чувством, которое испытываешь, когда, покинув дымный поезд и выйдя из вокзала, впервые садишься в гондолу, а перед глазами высится несуразно вытянутый купол церкви San Simeone Piccolo. Удивительно действуют зыбкость и валкость той черной лодки, на кожаные подушки которой усаживаешься при любезной помощи гондольера и древнего старичка с багром *garrino*. Таких старичков с багром встречаешь затем всюду, где имеется перевоз через канал *traghetto*, или там, где вообще толпятся гондолы, — это характерные персонажи всего венецианского спектакля. Странно сразу действует в Венеции тишина и бесшумность, и в этом есть что-то удивительно успокаивающее. Даже предложения услуг делаются с особой дискретностью... Не спеша носильщики-факины уложили наши довольно многочисленные чемоданы, и вот мы уже плывем, сначала мимо не очень казистых построек, мимо барочной церкви Скальцо в которой тогда еще развертывался божественный плафон Тьеполо, погубленный в первую мировую войну, а там, после мягкого поворота, появляются один за другим чудесные мраморные дворцы,

427

из которых иные мне кажутся старинными знакомыми. Вот *Labia*, вот *Vendramin Callergi*, вот *Ca'd'Ogo*, вот и “родной” мост Риальто. У грандиозного, почерневшего мраморного палаццо Гримани гондольер сворачивает в боковой, узкий и темный канал. То и дело теперь подплываешь под небольшие мосты, по которым тянутся в том и другом направлении вереницы прохожих; шаги их отчетливо слышатся в общей тишине. Это тоже мне представляется чем-то родным... И еще каким-то “воспоминанием” представляется мне крик “поппэ!”, которым гондольер дает о себе знать, подплывая к какому-либо повороту или к перекрестку. И до чего же все красиво наша гондола была открытая, и стоял чудный, светлый “не по сезону” теплый вечер.

А. БЕНУА. *Мои воспоминания 1894*. М., 1990, кн. 4, с. 39.

В. РОЗАНОВ

1901

428

Венеция поражает вас новизною того, что вы видите, как целый город представляет убранство и утонченность, которые вы предполагали возможным только во внутренних покоях небольшого дома. Как хозяин трудится и обдумывает и не щадит средств, размещая картины, статуи, драпировки, краски и металлы по углам и стенам небольшой комнаты, немногих комнат, так вся Венеция в длинном сновидении веков своей истории 1000 лет одному Св. Марку убралась наружными стенами своих домов и храмов совершенно внутренно, домашне-семейно. И вот что сообщает городу уютность и нежность. И отчего вздохи проходивших по Ponte dei sospiri <Мосту Вздохов> еще углублялись. Кто горячо любит — жестоко наказывает; а когда жестокость еще от любимейшего — наказание пылает, как пытка.

В. В. Розанов. *Итальянские впечатления 1901*. СПб., 1909, с. 232–233.

П. ПЕРЦОВ

1905

429

Первое впечатление от Венеции не в ее пользу. Это впечатление не рассеивается и на другой день, в лучах солнца, в ясной, бледно-голубой атмосфере весны и моря. Это впечатление покинутого, нежилого дома. Чем бы этот дом ни манил к себе, — первый взгляд на него будет всегда невольной вспышкой отчужденности, почти враждебности. Это неприязнь живого к мертвому. Переступая порог, нужно перешагнуть и через это впечатление, чтобы встретиться с другими — там, внутри... Венеция — именно огромный, заброшенный дом, без хозяина. Его теперешние жильцы не более как случайные пришельцы, которых не замечаешь, глядя на него, и забываешь, думая о нем.

П. Перцов. *Венеция*. СПб., 1905, с. 4.



Б. ПАСТЕРНАК

1912

432

Когда я вышел из вокзального здания с провинциальным навесом в каком-то акцизно-таможенном стиле, что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги. Что-то злокачественно темное, как помой, и тронутое двумя-тремя блестками звезд. Оно почти неразличимо опускалось и подымалось и было похоже на почерневшую от времени живопись в качающейся раме. Я не сразу понял, что это изображение Венеции и есть Венеция. Что я — в ней, что это не снится мне. Привокзальный канал слепой кишкой уходил за угол, к дальнейшим чудесам этой плавающей галереи на клоаке. Я поспешил к стоянке дешевых пароходиков, заменяющих тут трамвай... Катер потел и задыхался, утирал нос и захлебывался, и тою же невозмутимой гладью, по которой тащились его затонувшие усы, плыли по полукругу, постепенно от нас отставая, дворцы Большого канала. Их зовут дворцами и могли бы звать чертогами, но все равно никакие слова не могут дать понятия о коврах из цветного мрамора, отвесно спущенных в ночную лагуну, как на арену средневекового турнира... Я не помню, перед каким именно из этих бесчисленных Вендраминов, Гримани, Корнеров, Фоскари и Лореданов увидел я первую, или первую поразившую

меня, гондолу. Но это было уже по ту сторону Риальто. Она бесшумно вышла на канал из бокового проулка и, легши наперерез, стала чалить к ближайшему дворцовому portalу. Ее как бы подали со двора на парадное на круглой брюшине медленно выкатившейся волны. За ней осталась темная расселина, полная дохлых крыс и пляшущих арбузных корок. Перед ней разбежалось лунное безлюдье широкой водной мостовой. Она была по-женски огромна, как огромно все, что совершенно по форме и несоизмеримо с местом, занимаемым телом в пространстве. Ее светлая гребенчатая алебарда легко летела по небу, высоко несомая круглым затылком волны. С той же легкостью бежал по звездам черный силуэт гондольера. А клубочок кабины пропадал, как бы вдавленный в воду в седловине между кормой и носом... Уже и раньше, по рассказам о Венеции, я рассудил, что всего лучше будет поселиться в районе близ Академии. Тут я и высадился. Не помню, перешел ли я по мосту на левый берег или остался на правом. Помню крошечную площадь. Ее обступили такие же дворцы, что и на канале, только серее и строже. И они упирались в сушу... Мы шли по каменным переулочкам не шире квартир-

433

На предыдущем развороте:

Здание железнодорожного вокзала. Фото конца XIX в.

ных коридоров. От времени до времени они подымали нас на короткие мосты из горбатого камня. Тогда по обе руки вытягивались грязные рукава лагуны, где вода стояла в такой тесноте, что казалась персидским ковром в трубчатом свертке, едва втиснутом на дно кривого ящика. По горбатым мостам проходили встречные, и задолго до ее появления о приближении венецианки предупреждал частый стук ее туфель по каменным лещадкам квартала. В высоте поперек черных, как деготь, щелей, по которым мы блуждали, светлело ночное небо, и все куда-то уходило, точно по всему Млечному Пути тянул пух семенившегося одуванчика, и будто ради того лишь, чтобы пропустить колонну-другую этого движущегося света, расступались порою переулки, образуя площади и перекрестки. И, удивляясь странной знакомости своего спутника, я беседовал с ним на несуществующем наречьи и переваливался из дегтя в пух, из пуха в деготь, ища с его помощью найдешевейшего ночлега. Но на набережных, у выходов к широкой воде, царили другие краски, и тишину сменяла суতোлка. На прибывавших и отходивших катерах толпилась публика, и маслянисто-черная вода вспыхивала снежной пылью, как битый

мрамор разламываясь в ступках жарко работавших или круто застопоривавших машин. А по соседству с ее клокотаньем ярко жужжали горелки и палатки фруктощиков, работали языки и толклись и прыгали фрукты в бестолковых столбах каких-то недоварившихся компотов. В одной из ресторанных судомоев у берега нам дали полезную справку. Указанный адрес возвращал к началу нашего странствия. Направляясь туда, мы проделали весь наш путь в обратном порядке. Так что когда провожатый водворил меня в одной из гостиниц близ Campo Morosini, у меня сложилось такое чувство, будто я только что пересек расстоянье, равное звездному небу Венеции, в направлении, встречном его движенью. Если бы у меня тогда спросили, что такое Венеция, — «Светлые ночи, — сказал бы я, — крошечные площади и спокойные люди, кажущиеся странно знакомыми.

Б. ПАСТЕРНАК. *Охранная грамота 1912, 1929* //
Б. ПАСТЕРНАК. *Доктор Живаго. Автобиографическая проза. Избранные письма*. М., 1999, с. 55–57.

Б. ЗАЙЦЕВ

1920

436

На твоей зыбкой, таинственной земле, Венеция, впервые слышит путник голос, видит облик, ощущает дух Италии. К тебе приходишь ночью. Увитая туманом легким, в безоблачности каналов, ты — чудо задремавшее. Твоя стихия — божество, вода, нежно струится за веслом гондольера; узкая, черная гондола! Образ изящества, траурной женщины, темного призрака, в тумане бредущего. Стройный ее повелитель, дож гондолы, налегает на корме, гибким силуэтом на весло гибкое; лишь влажное шуршание воды да смутно проплывающие очерки домов дадут понять, что ты в движении... Вот мостик. Мы проходим под него; по нему, слегка постукивая каблучками, пробегают ножки; увидишь две фигуры в шалях, знаменитых zendaletto. Это девушки венецианские, ди-настия такая же древняя, как древен гондольер. Там, неподалеку, таверна с розовыми фонарями; и заезжие матросы, рыбаки, ремесленники веселятся в ней и пляшут под раскаты тамбурина. Снова тихо. Канал сонный; сонный плеск встречной гондолы, мягкий оклик, мягкий ответ; черный и тонкий гриф, будто приветствующий кивком плавным. Деревцо, нежданно свесившееся из расщелины; новый мост, жаркая перебранка на нем —

и запах влаги, плесени, дыхание морей, тонкое плетение тумана, смутные видения домов, плывущих, все плывущих, медленно — беззвучно. Таков первый твой покров — Ночи.

437

Б. К. ЗАЙЦЕВ. *Венеция 1920* //Собрание сочинений в 7 тт. Петербург; Берлин, 1923, т. 5, с. 9.

И. БРОДСКИЙ

1972

438

Много лун тому назад доллар равнялся 870 лирам, и мне было 32 года. Планета тоже весила на два миллиарда душ меньше, и бар той Стасьоне, куда я прибыл холодной декабрьской ночью, был пуст. Я стоял и поджидал единственное человеческое существо, которое знал в этом городе. Она сильно опаздывала... Ночь была ветреной, и прежде чем включилась сетчатка, меня охватило чувство абсолютного счастья: в ноздри ударил его всегдашний — для меня — синоним: запах мерзнувших водорослей. Для одних это свежескошенная трава или сено; для других — рождественская елка с мандаринами. Для меня — мерзлые водоросли: отчасти из-за звукоподражательных свойств самого названия, в котором сошлись растительный и подводный мир, отчасти из-за намека на несовместимость и тайную подводную драму содержащегося в понятии. “Где камень темнеет над пеной”, как сказал поэт. В некоторых стихиях опознаешь себя; к моменту втягивания этого запаха на ступенях Стасьоне я был уже большим специалистом по несовместимости и тайным драмам. Привязанность к этому запаху следовало, вне всяких сомнений, приписать детству на берегах Балтики... Весь задник был в

439

темных силуэтах куполов и кровель; мост нависал над черным изгибом водной массы, оба конца которой обрезала бесконечность. Ночью в незнакомых краях бесконечность начинается с последнего фонаря, и здесь он был в двадцати метрах. Было очень тихо. Время от времени тускло освещенные моторки проползали в ту или другую сторону, дробя винтами отражение огромного неоновоего Cinzano, пытавшегося снова расположиться на черной клеенке воды. Тишина возвращалась гораздо раньше, чем ему это удавалось... Все отдавало приездом в провинцию — в какое-нибудь незнакомое, захолустное место — возможно, к себе на родину, после многолетнего отсутствия. Не в последнюю очередь это объяснялось моей анонимностью, неуместностью одинокой фигуры на ступенях Стасьоне: хорошей мишенью забвения. К тому же была зимняя ночь, и я вспомнил первую строчку стихотворения Умберто Сабы, которое когда-то давно, в предыдущем воплощении, переводил на русский: “В глубине Адриатики дикой...” В глубине, думал я, в глуши, в забытом углу дикой Адриатики... Стоило лишь оглянуться, чтобы увидеть Стасьоне во всем ее прямооугольном блеске неона и изысканности, чтобы увидеть

печатные буквы: VENEZIA. Но я не оглядывался. Небо было полно зимних звезд, как часто бывает в провинции. Казалось, в любую минуту вдали мог залаять пес, не исключался и петух. Закрыв глаза, я представил себе пучок холодных водорослей, распластанный на мокром, возможно — обледеневшем камне где-то во вселенной, безразличный к тому — где. Камнем был как бы я, пучком водорослей — моя левая кисть. Затем ниоткуда возникла широкая крытая баржа, помесь консервной банки и бутерброда, и глухо ткнулась в причал Стасьоне. Горстка пассажиров выбежала на берег и устремилась мимо меня к станции. Тут я увидел единственное человеческое существо, которое знал в этом городе; картина была сказочная... Медленное движение лодки сквозь ночь напоминало проход связанной мысли сквозь бессознательное. По обе стороны, по колено в черной как смоль воде, стояли огромные резные сундуки темных палаццо, полные непостижимых сокровищ — скорее всего, золота, судя по желтому электрическому сиянию слабого накала, пробивающемуся сквозь щели в ставнях. Общее впечатление было мифологическим, точнее циклопическим: я попал в ту бесконечность, которую во-

ображал на ступенях Стасьоне, и теперь двигался мимо ее обитателей, вдоль шеренги спящих циклопов, возлежавших в черной воде, время от времени подымая и опуская веко... Таким был мой первый приезд сюда. Ни дурным, ни благим предзнаменованием он не оказался. Если та ночь что и напорочила, то лишь то, что обладателем этого города я не стану никогда; но таких надежд я и не питал.

И. БРОДСКИЙ. *Fondamenta degli Incurabili*
Набережная неизлечимых 1989. М., 1992, с. 205-210.

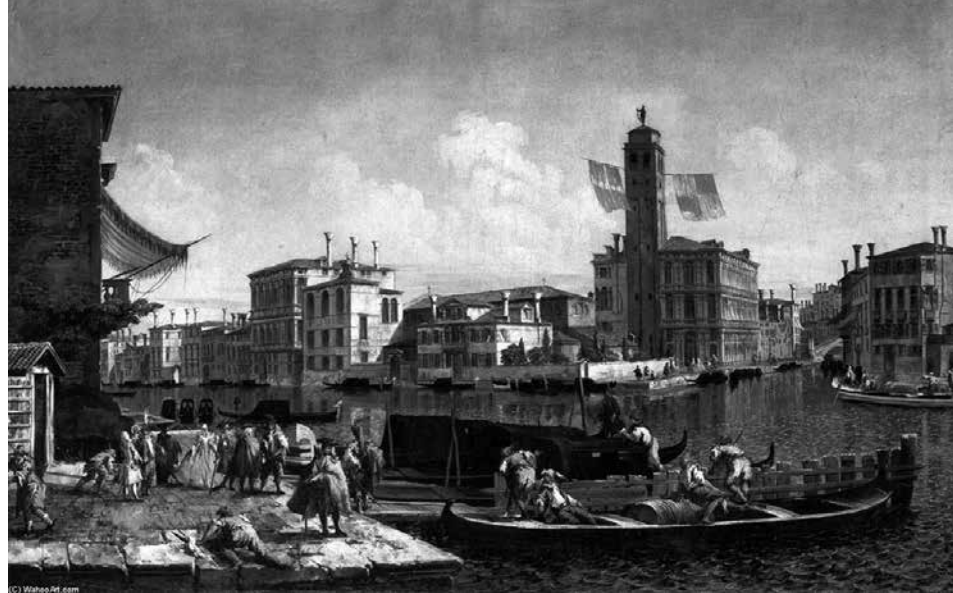
ОБЩИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕНЕЦИИ

442

С. УВАРОВ

1843

В Венеции, как и в иных городах Италии, надо уметь жить с самим собою. Сколь ни могущественны впечатления внешние, они все, вполне или вполнину, задумчивые призраки; нужно известное напряжение ума тому, кто хочет предаваться чудесам, его обступающим, и постигать их говор. Италия представляет обширное поле для дум, поручая вам самим труд — возделывать его по воле; она не требует у наблюдателя ни пощады, ни сострадания: ей ли заботиться о его суде, ей, столько раз побежденной, так долго попираемой и доселе не узнанной. В пренебрежении к мнению путешественников от-



Большой канал в Венеции. С картины М. Мариески.

зывается скорее гордость, нежели забвение; молчание удрученного народа красноречиво, и действительно, что можно, с одной стороны, присовокупить к похвалам, расточаемым Италии веками, с другой — к оскорблениям, коих она стала жертвой? Какое величие в прошедшем сравнится с ее величием, но, в то же время, какой скорби, какого унижения недостает ей?.. Венеция прекрасная, богатая, могущественная, самовластная; Венеция, ныне страждущая, обобранная и подвергшаяся оскорблениям времени более жестоким, нежели иго ее победителей... Половина Европы сделалась данницей

П. ВЯЗЕМСКИЙ

1853

444

города, рожденного из лона лагун; ничто не останавливало исполинского честолюбия горсти людей, трепетавших перед излишеством собственного могущества; когда же издалека валил флот Левантский, нагруженный сокровищами мира, тогда забывались жертвы глухой, непреклонной тирании: целая Венеция увешивалась флагами при воплях народа, упоенного радостью и располагавшего, по воле, всею роскошью, всеми богатствами земли... Там умирали тихомолком, но жили шумно.

С. С. УВАРОВ. *Рим и Венеция в 1843-м году*. Дерпт, 1846, с. 41.

445

Что сказать тебе о Венеции, чего бы ты не знал, чего не знал бы каждый? Мне она очень нравится. Я наслаждаюсь тишиною ее, болезненным видом, унылостью. Пышная, здоровая, могучая, шумная, может быть, менее нравилась бы она мне. На праздник можно заглянуть мимоходом и порадоваться, но вечно праздновать — скука смертельная. Я почти благодарен австрийцам, которые утомонили этого льва и эту львицу. Париж несносен мне своим ежедневным тезоименитством, вечным именованным пирогом и вечными шкаликами во изъявление всеобщей радости. Там нет будней, а будни нужны моим нервам, нужен отдых, полусвет. Здесь есть праздник, но праздник природы: небеса и море, живые картины, а для охотников — мертвые, которые стоят живых.

Письмо А. Я. Булгакову, 19 сентября 1853 г.

А. ГЕРЦЕН

1867

446

Великолепнее нелепости, как Венеция, нет. Построить город там, где город построить нельзя, — само по себе безумие; но построить так один из изящнейших, грандиознейших городов — гениальное безумие. Вода, море, их блеск и мерцание обязывают к особой пышности: моллюски отделяют перламутром и жемчугом свои каюты. Один поверхностный взгляд на Венецию показывает, что это — город, крепкий волей, сильный умом, республиканский, торговый, олигархический, что это — узел, которым привязано что-то за водами, торговый склад под военным флагом, город шумного веча и беззвучный город тайных совещаний и мер; на его площади толчется с утра до ночи все население, и, молча, текут из него реки улиц в море. Пока толпа шумит и кричит на площади Св. Марка, никем не замеченная лодка скользит и пропадает — кто знает, что под ее черным пологом? Как тут было не топить людей возле любовных свиданий? Люди, чувствовавшие себя дома в Palazzo Ducale, должны были иметь своеобразный закал. Они не оставались ни перед чем. Земли нет, деревьев нет — что за беда! Давайте еще больше резных камней, больше орнаментов, золота, мозаики, ваянья, картин, фресок.

447

Тут остался пустой угол — худого бога морей с длинной мокрой бородой в угол! Тут порожний уступ — еще льва с крыльями и с Евангелием св. Марка! Там голо, пусто — ковер из мрамора и мозаики туда! Кружева из порфира туда! Победа ли над турками или Генуей, папа ли ищет дружбы города — еще мрамору, целую стену покрыть иссеченной занавесью и, главное, еще картин. Павел Веронезе, Тинторетто, Тициан, за кисть, на помост! — каждый шаг торжественного шествия морской красавицы должен быть записан потомству кистью и резцом. И так был живуч дух, обитавший эти камни, что мало было новых путей и новых приморских городов Колумба и Васко да Гама, чтоб сокрушить его. Для его гибели нужно было, чтоб на развалинах французского трона явилась “единая и нераздельная” республика и на развалинах этой республики явился бы солдат, бросивший в льва по-корсикански стилет, отравленный Австрией. Но Венеция переработала яд и снова оказывается живою через полстолетия. Да живую ли?..

А. И. ГЕРЦЕН. *Venezia la bella 1867. Былое и думы* // Собрание сочинений в 8 тт. М., 1975, т. 7, с. 443–444.

П. ПЕРЦОВ

1897

448

Здесь не столько верили и творили, сколько украшали и подражали. Вот мысль, которая надолго остается в голове и часто вспоминается в Венеции. Это — город роскоши и эклектизма; это — нация дилетантов и богачей. Венеция заимствовала и преображала все стили — византийский и готический, ломбардский и мавританский, классический и стиль Возрождения, созданный во Флоренции. Ее Большой Канал — эта улица дворцов — настоящая выставка ее эклектизма.

П. ПЕРЦОВ. *Венеция 1897*. СПб., 1905, с. 11.

В. БРЮСОВ

1902

449

Туристов влекут в Венецию не ее художественные сокровища... Вся прелесть Венеции в своеобразии самого города, в жизни его каналов. Правда, многое из того, что прежде имело смысл, стало теперь игрушкой, которой тешат приезжих. Но черные тела гондол по-прежнему легки и изящны. Гондольеры по-прежнему стройны и ловки, и жесты их, вероятно, не изменились за полтысячелетия... Больше нигде в мире нет города без шума городской езды, совсем без пыли, с площадями, подобными комнатам большого дома, с узкими улицами, на которых не могут разойтись два зонтика, с церквами, сплошь выложенными разноцветными мраморами, с крохотными магазинами, похожими на ящички. В Венеции прежде дорожили местом: все в ней мелко, но отделано, как миниатюра. Венецианцы славились как мозаисты, и весь их город — как большая мозаика: каждая подробность закончена с любовью. После нее даже Флоренция кажется грубой и тяжелой.

В. БРЮСОВ. *Венеция 1902* // Русский листок, 1902, № 149.

П. МУРАТОВ

1911-1912

450

Есть две Венеции. Одна — эта та, которая до сих пор что-то празднует, до сих пор шумит, улыбается и лениво тратит досуг на площади Марка, на Пьяцетте и на набережной Скьявони. С этой Венецией соединены голуби, приливы иностранцев, столики перед кафе Флориана, лавки с изделиями из блестящего стекла. Круглый год, кроме двух-трех зимних месяцев, здесь идет неутомонно-праздная жизнь, такая праздная, какой нет нигде. Надо только видеть движение человеческих волн утром по мосту делла Палья, надо слышать легкий шум разноязычного говора и легкий шорох шагов по мраморным плитам... Так летит здесь время, точно дитя, без забот и без мыслей. В этой жизни есть своя прелесть. Но она неизменно приносит минуты печали. Можно легко утомиться музыкой, блестящими окнами, вечным рокотом чужой толпы. Венеция часто дает испытывать одиночество, она не утешает и не просветляет, как Флоренция или Рим. Да и не вся Венеция на Пьяцце и на Пьяцетте. Стоит немного отойти вглубь от Сан-Марко, чтобы почувствовать наплыв иных чувств, чем там, на площади. Узкие переулки вдруг поражают своим глубоким, немим выражением. Шаги редкого прохожего звучат



На мосту Риальто. Фото начала XX в.

Б. ПАСТЕРНАК

1912

452

здесь как будто очень издалека. Они звучат и умолкают, их ритм остается как след и уводит за собой воображение в страну воспоминаний. То, что было на Пьяцетте лишь живописной подробностью, — черная гондола, черный платок на плечах у венецианки, — выступает здесь в строгом, почти торжественном значении векового обряда. А вода! Вода странно приковывает и поглощает все мысли, так же как она поглощает здесь все звуки, и глубочайшая тишина ложится на сердце. На каком-нибудь мостике через узкий канал на Понте дель Парадизо, например, можно забытья, заслушаться, уйти взором надолго в зеленое лоно слабо колеблемых отражений. В такие минуты открывается другая Венеция, которой не знают многие гости Флориана и о которой нельзя угадать по легкой и детски-праздной жизни на площади Марка.

П. П. МУРАТОВ. *Венеция. Летейские воды 1911–1912 // Образы Италии. М., 1994, с. 8–9.*

453

Я проснулся ярким солнечным утром, после десяти часов стремительного, непрерывного сна. Небылица подтверждалась. Я находился в Венеции... Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свиданья с куском застроенного пространства, как с живою личностью. С какой стороны ни идти на пьяццу, на всех подступах к ней стережет мгновенье, когда дыханье учащается и, ускоряя шаг, ноги сами начинают нести к ней навстречу. Со стороны ли мерчерии или телеграфа дорога в какой-то момент становится подобьем преддверья, и, раскинув свою собственную, широко расчерченную поднебесную, площадь выводит, как на прием: кампанилу, собор, дворец дождей и трехстороннюю галерею. Постепенно привязываясь к ним, склоняешься к ощущенью, что Венеция — город, обитаемый зданиями — четырьмя перечисленными и еще несколькими в их роде. В этом утверждении нет фигуральности. Слово, сказанное в камне архитекторами, так высоко, что до его высоты никакой риторике не дотянуться. Кроме того, оно, как ракушками, обросло вековыми восторгами путешественников. Растущее восхищение вытеснило из Венеции послед-

ний след декламации. Пустых мест в пустых дворцах не осталось. Все занято красотой... Однажды под этими же штандартными мачтами, переплетаясь поколеньями, как золотыми нитками, толпились три великолепно во-тканых друг в друга столетья, а невдалеке от площади недвижимой корабельной чашей дремал флот этих веков. Он как бы продолжал планировку города. Снасти высовывались из-за чердаков, галеры подглядывали, на суше и на кораблях двигались по-одинаковому. Лунной ночью иной трехпалубник, уставясь ребром в улицу, всю ее сковывал мертвой грозой своего недвижно развернутого напора. И в этом же выносном величьи стояли фрегаты на якорях, облюбовывая с рейда наиболее тихие и глубокие залы... Этот флот был невымышленной явью Венеции, прозаической подоплекой ее сказочности. В виде парадокса можно сказать, что ее покачивающийся тоннаж составлял твердую почву города, его земельный фонд и торговое и тюремное подземелье. В силках снастей скучал плененный воздух. Флот томил и угнетал. Но, как в паре сообщающихся сосудов, с берега вровень его давлению поднималось нечто ответно-искупительное. Понять это — значит понять, как обманывает ис-

кусство своего заказчика... Замечательно перерождаются понятия. Когда к ужасам привыкают, они становятся основаниями хорошего тона. Пойдем ли мы когда-нибудь, каким образом гильотина могла стать на время формой дамской брошки? Эмблема льва многогранно фигурировала в Венеции. Так, и опуская щель для тайных доносов на лестнице цензоров, в соседстве с росписями Веронеза и Тинторетто, была изваяна в виде львиной пасти. Известно, какой страх внушала эта "босса ди леоне" современникам и как мало-помалу стало признаком невоспитанности упоминание о лицах, загадочно провалившихся в прекрасно изваянную щель, в тех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу огорчения. Когда искусство воздвигало дворцы для порабощенных, ему верили. Думали, что оно делит общие воззрения и разделит в будущем общую участь. Но именно этого не случилось. Языком дворцов оказался язык забвения...

Б. ПАСТЕРНАК. *Охранная грамота 1912, 1929* //
Б. ПАСТЕРНАК. *Доктор Живаго. Автобиографическая проза. Избранные письма*. М., 1999, с. 58-61.

И. БРОДСКИЙ

1989

456

Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе. Распахиваешь окно, и комнату вмиг затопляет та уличная, наполненная колокольным гулом дымка, которая частью сырой кислород, частью кофе и молитвы. Неважно, какие таблетки и сколько надо проглотить в это утро, — ты понимаешь, что не все кончено. Неважно и насколько ты автономен, сколько раз тебя предавали, насколько досконально и удручающе твое представление о себе, — тут допускаешь, что еще есть надежда, по меньшей мере — будущее... Источник этого оптимизма — дымка; ее молитвенная часть, особенно если время завтрака. В такие дни город действительно приобретает фарфоровый вид, оцинкованные купола и без того сродни чайникам или опрокинутым чашкам, а наклонные профили колоколен звенят, как забытые ложки, и тают в небе. Не говоря уже о чайках и голубях, то сгущающихся, то тающих в воздухе. При всей пригодности этого места для медовых месяцев, я часто думал, не испробовать ли его и для разводов — как для тянущихся, так и для завершенных? На этом фоне меркнет любой раз-

рыв; никакой эгоист, прав он или неправ, не сумеет долго блистать в этих фарфоровых декорациях у хрустальной воды, ибо они затмят чью угодно игру. Я знаю, что вышепредложенное может весьма неприятно отразиться на ценах, даже зимой. Но люди любят свои мелодрамы больше, чем архитектуру, и беспокоиться мне не о чем. Странно, что красота ценится ниже психологии, но пока это так, этот город мне по карману — то есть до самой смерти, возможно и после... Глаз в этом городе обретает самостоятельность, присущую слезе. С единственной разницей, что он не отделяется от тела, а полностью его себе подчиняет. Немного времени — три-четыре дня — и тело уже считает себя только транспортным средством глаза, некоей субмариной для его то распахнутого, то сощуренного перископа. Разумеется, любое попадание оборачивается стрельбой по своим: на дно уходит твое сердце или же ум; глаз выныривает на поверхность. Причина, конечно, в местной топографии, в улицах, узких, вьющихся как угорь, приводящих тебя к камбале площади с собором посередине, который оброс ракушками святых и чьи купола сродни медузам. Куда бы ты, уходя здесь из дому, ни направился, ты заблудишься в этих длинных

457

витках улиц и переулков, манящих узнать их насквозь, пройти до неуловимого конца, обыкновенно приводящего к воде, так что его даже не назовешь cul-de-sac < тупик >. На карте город похож на двух жареных рыб на одной тарелке или, может быть, на две почти сцепленные клешни омара Пастернак сравнил его с размокшей баранкой; но у него нет севера, юга, востока, запада; единственное его направление — вбок. Он окружает тебя как мерзлые водоросли, и чем больше ты рыщешь и мечешься в поисках ориентиров, тем безнадежнее их теряешь. И желтые стрелки на перекрестках мало помогают, ибо они тоже изогнуты. В сущности, они играют роль не проводника, а водяного... Запутавшаяся в водорослях сеть — более точное сравнение. Из-за нехватки пространства люди здесь существуют в клеточной близости друг к другу, и жизнь развивается по имманентной логике сплетни. Территориальный императив человека в этом городе ограничен водой; ставни преграждают путь не столько солнцу или шуму минимальному здесь, сколько тому, что могло бы просочиться изнутри. Открытые, они напоминают крылья ангелов, подглядывающих за чьими-то делишками, и, как статуи, теснящиеся на карнизах, так и человеческие

отношения здесь приобретают ювелирный или, точнее, филигранный оттенок. В этих местах человек и более скрытен, и лучше осведомлен, чем полиция при тирании. Едва выйдя за порог квартиры, особенно зимой, ты сразу делаешься добычей всевозможных подозрений, фантазий, слухов. Если ты был не один, то назавтра в бакалее или у газетчика тебя встретит взгляд ветхозаветной глубины, которая кажется непостижимой в католической стране. Если подал здесь на кого-то в суд или наоборот, адвоката нужно нанять со стороны. Приезжим, разумеется, все это по душе, местным нет. Горожанина не забавляет то, что зарисовывает художник или снимает любитель. Но все-таки кривотолки как принцип городской планировки которая здесь становится членораздельной только задним числом лучше любой современной решетки и в ладу с местными каналами, взявшими за образец воду, которая, как пересуды за спиной, никогда не кончается... Зимний свет в этом городе! У него есть исключительное свойство увеличивать разрешающую способность глаза до микроскопической точности — зрачок, особенно серой или горчично-медовой разновидности, посрамляет любой хассельбладовский объектив и доводит будущие

воспоминания до резкости снимка в “Нешнл Джиографик”. Бодрая синева неба; солнце, улизнув от своего золотого двойника у подножия Сан-Джорджо, скользит по неслетной чешуе плешущей ряби Лагуны; за спиной, под колоннадой Палаццо Дукале, коренастые ребятишки наяривают “Eine Kleine Nachtmusik” < “Маленькую ночную серенаду” Моцарта >, специально для тебя, усевшегося на белом стуле и щурящегося на сумасшедшие гамбиты голубей на шахматной доске огромного кампо. Эспрессо на дне твоей чашки — единственная, как ты понимаешь, черная точка на мили вокруг. Таков здешний полдень. По утрам этот свет припадает грудью к оконному стеклу и, разжав твой глаз, точно раковину, бежит дальше, перебирая длинными лучами аркады, колоннады, кирпичные трубы, святых и львов — как бегущие сломя голову школьники прутьями по железной ограде парка или сада. “Изобрази”, — кричит он, то ли принимая тебя за какого-то Каналетто, Карпаччо, Гварди, то ли не полагаясь на способность твоей сетчатки вместить то, что он предлагает, тем более — на способность твоего мозга это впитать.

И. Бродский. *Fondamenta degli Incurabili* Набережная неисцелимых 1989. М., 1992, с. 216, 220, 221, 232.

ПЛОЩАДЬ САН-МАРКО, СОБОР САН-МАРКО

П. ТОЛСТОЙ

1697

В Венеции римской веры соборная церковь каменная во имя святого евангелиста Марка. Та церковь зело велика и зделана предивным мастерством, в ней многие столпы мраморные и иные дивные, великие. В той церкви, сказывают католики-венецияне, ныне есть мощи, все целые евангелиста Марка, а где оне лежат, того будто никто не ведает, кроме одного прокуратора. А греки говорят все, что святых Марка-евангелиста мощей в той церкви нет, и явно видимо, что тех святых мощей в той церкви нет. А венецияне то ставят себе за великую укоризну, кто скажет, что мощей ево у них в том костеле нет. Снаружья

М. ПОГОДИН

1839

462

тое церкви над западными дверми на папертной кровле поставлены четыре подобия конских, зделаны из меди и вызолочены, величеством на малую немецкую лошадь, все в одну меру. Те кони зделаны предивным мастерством, а были они прежде в Константинополе, стояли у церкви святыя Софии; и как древле венеты завоевали Константинополь, в то время оттуды тех коней взяли и привезли в Венецию и на вечную славу поставили у соборной католицкой церкви святого Марка.

П. А. Толстой. *Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе 1697–1699.*
<Запись 15 июня 1697 г. > М., 1992, с. 51–52.

463

Св. Марко, Св. Марко — как русскому не восхититься им? Это почти Успенский собор, собор Св. Софии, в том же роде, в том же духе... Величественно, но взор искал напрасно алтаря. Везде золото, серебро, бронза, а мрамору, мрамору! Множество памятников, которые так и охватят тебя древностию, древностию греческою, византийскою. Мозаики точь-в-точь Софийские в Киеве. Никак не могу не вспомнить о наших нелепых скептиках, которые в чужих краях возбуждают во мне негодование еще более, чем дома. Ну когда могли мы получить эти мозаики? Не при монголах, не при поляках, при которых все церкви запустели! Мозаические изображения на золотом поле производят особенное действие. Жаль, что наши новые архитекторы оставляют совершенно эти украшения, греческий род, и гоняются за западным!

М. П. Погодин. *Год в чужих краях 1839 // Дорожный дневник.* М., 1844, т. 1, с. 189–190.

П. АННЕНКОВ

1841

464

Вообразите несколько продолговатый четырехугольник, вымощенный плитами, окруженный с трех сторон великолепнейшею галереей тут кофейни, лавки, магазины, в верхних этажах жили прежде прокураторы Св. Марка или чиновники республики, а с четвертой замыкающийся собором Св. Марка. Его огромные тяжелые куполы, его византийские арки, украшенные мозаиками, его порфиновые, яшмовые и разноцветных мраморов колонны, четыре коня, вывезенные из Ипподрома константинопольского и блистающие над фасадом, его мавританская терраса и готические спицы и украшения — все это составляет такое роскошное смешение всех вкусов, что, право, походит на волшебную сказку. Художники считают эту церковь одним из чудес Европы; колокольня стоит на площади и несколько в стороне, и площадь, таким образом, особливо при ярком освещении кофеен, магазинов и лотков с апельсинами и фруктами, кажется вам огромною, гигантскою залой, которой потолком служит небо. Вторая площадь, известная под уменьшительным именем Пиацетты, примыкает к первой и состоит из продолжения той же великолепной галереи, поворачивающей к морю... Сюда, на



Площадь Сан-Марко в Венеции. С картины Каналетто.

эти две площади, следует присылать всех тех, которые страдают отсутствием энергии, жизненным застоєм, так сказать. Когда итальянское солнце ударит на все эти фантастические постройки, боже мой, сколько тут огня, блеска, красок! Почти нестерпимо для северного глаза, и в этом отношении один только Рим может сравниться с Венецией; но в Риме это нежнее, и притом же, чтобы вполне понять игру света и тени в великолепных его руинах, надо иметь, что называется, художническую душу. Здесь это падает на вас почти с силою какого-нибудь

С. УВАРОВ

1843

466

физического явления — грома, дождя и проч. Их нельзя не чувствовать. Прибавьте ко всему этому, что вечный праздник кипит на этих площадях. Шум и движение в северных городах не могут дать ни малейшего понятия о крике, говоре, песне итальянца. Не правда ли: там производит их какой-нибудь посторонний, чисто материальный двигатель, а если и бывает минута душевного веселья, так это вещь наносная, скоропреходящая. Здесь для этого только живут; веселье постоянно, так постоянно, что всех обратило в нищету. Кто-то сказал, что в Венеции работают одни только присужденные к галерам: это правда. В моральном отношении это дурно: но зато какая чудесная выходит площадь, как полна жизни, как музыкальна! Грешу я, может быть, но мне всегда приятнее смотреть на человека, который веселится, чем на человека, который работает.

П. В. Анненков. *Письма из-за границы // Парижские письма*. М., 1983, с. 19-20.

467

Довольно заметить, что после чудес Италии, после соборов Миланского и Св. Петра в Риме, с церквями, его обставляющими, после Картезианского монастыря в Павии храм Св. Марка ослепляет вас внезапно, причудливостью создания, возникшего под обоюдным влиянием стилей византийского и арабийского, волшебного перевитых изяществом итальянским, подобно восточной поэме, переложенной на европейский язык... Архитектура Св. Марка вместе и греческая, и римская, и готическая, в особенности же мавританская и византийская, но арабийская стихия господствует снаружи, а византийская, явно, в распределении внутреннем. Нет ничего живописнее этой совокупности Рима, Каира, Константинополя и Ахена. Богатство составных частей бесценно: на каждом шагу сияют порфир, яшма, мозаика, бронза, дорогой самоцветный мрамор; целое дышит теплотою, прелестью неподражаемыми... Жизнь Венеции, сколько ее есть, приютилась к собору Св. Марка и окрестностям его. Тут сердце, кажется, бьется, между тем как около — все или оцепенело уже, или цепенеет... Когда роковой час прозвучит для Венеции, собор Св. Марка

П. ВЯЗЕМСКИЙ

1853

468

умрет последний; с ним погрузятся в бездну трофеи ее минувшего величия, выпрени творения ее художников, и от гордого усилия воли человеческой... останется лишь несколько свай, которые корыстолюбие отыщет на дне морском.

С. С. УВАРОВ. *Рим и Венеция в 1843-м году*. Дерпт, 1846, с. 33-34.

469

Теперь следует описать la piazza di S. Marco и ежедневные вечерние ее рауты... Площадь, обставленная великолепными зданиями, с базиликою Св. Марка в оконечном углублении своем, конечно, картина величавая и поразительная. Предпочитаю ее днем, нежели вечером, особенно когда не светит месяц. Она не довольно освещена, хотя кровные венецианцы и жалуются, что газ испортил их площадь и разорвал покров темноты, на ней лежавший и столь благоприятный любовным и прочим тайнам. В Париже, в Лондоне подобная площадь горела бы тысячами солнцев. Другая невыгода: на площади летом и особенно в продолжении нынешних жаров — душно, как в законопаченной большой зале. Под открытым небом невольно думаешь: хорошо бы раскрыть окно. Жене вечерняя эта площадь напоминает залу Московского дворянского собрания с ступенями своими и галереями вокруг. Третья невыгода — ужасная музыка вокальная и инструментальная, которая дерет уши по всем направлениям площади пред кофейнями, когда не играет полковая музыка. Странное дело, как музыкальная натура итальянцев производит подобных мучителей и выносит подобное мученичество... Четвертая невыгода

В. ЯКОВЛЕВ

1850-е

470

площади — это стулья, на которых осуждены сидеть посетители. Эти стулья вроде каких-то пыточных козлов, на которые, вероятно, в старину Совет Трех сажал для допроса гостей своих. Впрочем, тюльерийские стулья не лучше. С изменением нравов эти площадные собрания потеряли свой характер поэтический и романический. Сцена лучше и великолепнее, но действием это те же бульвары парижские. Мороженое — главный интерес. Теперь же высшее общество рассеяно, и по большей части встречаешь среднее и низшее сословия и путешественников. Но и в многолюдные эпохи года, сказывают, все не то, что в старину. Тогда было несколько салонов в домах, окружающих площадь, и хозяйки и гости сходили на площадь, как в свой сад, чтобы освежиться и прогуляться. После полуночи из театра все являлись на площадь. Теперь после 10 часов площадь пустеет.

П. А. Вяземский *. Дневники и письма 1853 //*
 Полное собрание сочинений. СПб., 1886, т. 10, с. 8–9.

471

Я на площади Святого Марка... Шагаю по камням, выложенным сандалиями десятков поколений; по этой мостовой прошли почти все великие люди — от Рафаэля до Кановы, от Петрарки до Гете, от Петра Первого до Наполеона. Полувосхищенный, полуопечаленный стоял я посреди этой великолепной, по-монастырски тихой площади. Группы пешеходов на мостовой, вереницы голубей в воздухе — вот в чем оказывалось все движение венецианского форума. Почерневшие здания старинных прокуратур, со своими аркадами, завешенными от солнца синими полинявшими драпировками, показались мне жилищем — не улыбочивых венецианок — а каких-то молчаливых, унылых призраков... Базилика Св. Марка, раззолоченная ярким майским солнцем, показалась мне баснословным чертогом фей... Вообразите древнюю софийскую базилику, полупревращенную и в мечеть, и в латинскую церковь, и в волшебный терем арабских сказок... В этой архитектуре к готическим легендам привиты все своенравные азиатские фантазии. Фасад базилики Св. Марка — это пышная восточная поэма, переложенная на игривое венецианское наречие...

В. СУРИКОВ

1884

472

Волшебное здание! Но смиренномудрому св. евангелисту Марку не показалось ли бы оно капищем Ваала или чертогом царей ассирийских.

В. Д. ЯКОВЛЕВ. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя*. СПб., 1855, с. 6.

473

Общее впечатление от Св. Марка походит на Успенский собор в Москве: та же колокольня, та же и мощеная площадь. Притом оба они так оригинальны, что не знаешь, которому отдать предпочтение. Но мне кажется, что Успенский собор сановитее. Пол погнувшийся, точно у нас в Благовещенском соборе. Я всегда себя необыкновенно хорошо чувствую, когда бываю у нас в соборах и на мощеной площади их: там как-то празднично на душе; так и здесь в Венеции. Поневоле как-то тянет туда. Да должно быть, и не одного меня, а тут все сосредотачивается — и торговля, и гулянье — в Венеции.

Письмо П. П. Чистякову, 29 мая 1884 г.

В. ВАСНЕЦОВ

1885

474

До сих пор самое милое, самое поэтичное и дорогое впечатление у меня осталось от Венеции. Это волшебное заснувшее царство. Святой Марк меня сильно тронул и утешил... — все, что я слышал о Марке, осталось ниже того, что я увидел. По приезде в Венецию я тотчас отправился на площадь и увидел нечто сказочное, но действительно существующее. Внутренность церкви еще более охватывает душу глубоким художественным и религиозным настроением. В этих темных золотых сводах, так ласково с высоты обнимающих и так глубоко утешительно смотрящих своими маленькими окнами, есть что-то мистическое. Я, по крайней мере, был глубоко взволнован.

Письмо Е. Г. Мамонтовой, 28 мая 1885 г.

П. ПЕРЦОВ

1897

475

Едва приехав в город, где бы путешественник ни остановился, он идет на Пиаццу площадь Св. Марка, как, войдя в дом, попадаешь прежде всего в приемные комнаты. Piazza di San Marco и есть приемная зала венецианской республики. Конечно, другой такой площади не существует. Мраморный пол; три мраморных дворца вместо трех стен; вместо четвертой — та смесь мрамора, гранита, яшмы, порфира, бронзы, мозаики, скульптуры, резьбы, которая называется собором Св. Марка. Если нет потолка, то только потому, что одно небо достойно служить потолком этой залы... Такая площадь возможна, конечно, только в городе, где нет лошадей и, следовательно, их грязи и шума... Я не знаю, существует ли еще в мире собор, на который можно было бы поставить четырех бронзовых коней без риска не только испортить художественное впечатление, но и профанировать здание. Но таков собор Св. Марка. Фантастическое смешение всех настроений и вкусов, всех стилей и эпох. Я знаю еще только одну такую церковь — безобразную в своей красоте и красивой в уродстве. Невозможную и действительную — архитектурный парадокс. Это наш “Василий Блаженный”... Там — та же пестрота и смесь и то же единство в целом, та же подражательность и оригинальность, ассимиля-

В. РОЗАНОВ

1901

476

ция христианского храма и буддийской пагоды. Василий Блаженный был созданием если не одного человека, то во всяком случае одной эпохи, поэтому в его разнообразии и своеобразии более цельности. Св. Марк еще пестрее, еще причудливее и случайнее, как жизнь Венеции была пестрее и богаче “случайностями”, чем жизнь Москвы. Внутри первое впечатление — православной церкви: своды куполов наверху, впереди решетка иконостаса, вокруг со всех сторон глядят с мозаичных стен знакомые строгие фигуры византийских святых. Весь собор покрыт мозаикой. Она сияет в изгибах сводов и в углублениях куполов огромными золотыми полями и, кажется, освещает храм. Характерно это пристрастие венецианцев к мозаике. Создание международного, западно-восточного творчества, она как нельзя лучше отвечала международному складу Венеции — этого перепутья между Европой и Азией. Своей художественной стороной мозаика удовлетворяла требованиям итальянского глаза: элементарностью рисунка, резкостью красок и блеском золотого фона — вкусам далеких гостей. Соединяя утонченность содержания с грубостью формы, она была своего рода серединой между западными картинами и восточным коврами.

П. ПЕРЦОВ. Венеция 1897. СПб., 1905, с. 8–9.

477

Он < собор Сан-Марко > до того цветочен, цветист, стар, светел, в желтом, голубом, более всего в белом, в позолотах, почерневших в веках, — так он весь мягок и нежен, что никакое, кажется, другое здание нельзя сравнить с ним. Венеция оделась в собор, как в Соломоново лучшее одеяние. Ни Св. Петра в Риме, ни Св. Стефана в Вене — храмы, которые по картинкам так хочется увидеть, — нельзя поставить рядом с этим. В действительности на зрителя а не на картинке они не дают впечатления ни ласки, ни души, ни смысла; а Св. Марк точно обливает душу материнским молоком. Это что-то вечное и старое; не личное, а народное, не сделанное, а как бы само родившееся. Ни одним храмом на Западе я так не любовался.

В. В. РОЗАНОВ. *Итальянские впечатления 1901*. СПб., 1909, с. 225.

Б. ПАСТЕРНАК

1912

478

Вечером накануне отъезда на пьядце был концерт с иллюминацией, какие часто там устраивались. Ограничивающие ее фасады сверху донизу оделись остриями лампочек. Ее с трех сторон озарил черно-белый транспарант. Лица слушающих под открытым небом вспарило банной яркостью, как в закрытом, великолепно освещенном помещении. Вдруг с потолка воображаемого бального зала стало слегка накрапывать. Но, едва начавшись, дождик внезапно перестал. Иллюминационный отсвет кипел над площадью цветной мглой. Колокольная Св. Марка ракетой из красного мрамора врезалась в розовый туман, до половины заволакивающий ее верхушку. Несколько подалеже клубились темно-оливковые пары, и в них сказочно прятался пятиголовый остов собора. Тот конец площади казался подводным царством. На соборном притворе золотом играла четверка коней, вскачь примчавшихся из Древней Греции и тут остановившихся, как на краю обрыва. Когда концерт кончился, стал слышен жернов равномерного шарканья, вращавшийся и раньше по галерейному кругу, но тогда заглушавшийся музыкой. Это было кольцо фланеров, шаги которых шумели и сливались, подобно шороху коньков

в ледяной чашке катка. Среди гулявших быстро и гневно проходили женщины, скорее угрожавшие, чем сеявшие обольщение. Они оборачивались на ходу точно с тем, чтобы оттолкнуть и уничтожить. Вызывающе изгибаемая стан, они быстро скрывались под портиками. Когда они оглядывались, на вас уставлялось смертельно насурмленное лицо черного венецианского платка. Их быстрая походка в темпе *allegro irato* < быстро и гневно — итал. > странно соответствовала черному дрожанию иллюминации в белых царапинах алмазных огоньков.

479

Б. ПАСТЕРНАК. *Охранная грамота 1912, 1929* //
Б. ПАСТЕРНАК. *Доктор Живаго. Автобиографическая проза. Избранные письма*. М., 1999, с. 61-62.

Б. ЗАЙЦЕВ

1920

480

Знаменитые голуби сизою стайкой толпятся перед входом ко Святому Марку... Это маленькие божества Венеции, скромные покровители города, смутно и бесконечно воркующие; мягко отблескивающие шелками крыл своих, с сухим треском взлетающие. А за ними пятикупольный, древле-великолепный, выложенный мозаиками, золотом, драгоценностями, в голубом утреннем тумане сияет Св. Марк, полуготический, полувизантийский, запутанный, роскошный, столь венецианский... но насколько христианский? Это нам неизвестно. Но его ризы солнечны; его камни отливают радугой; он воплощенный пышный храм, облик Венеции, древний, но и живой, лишенный холода. Все в нем живое — и сама прохлада, будто влажность воздуха под его сводами, и выхоженные мозаики полов, и в старине своей сидящие паникадила, тонущие в тяжелой роскоши; и гигантские мозаики по стенам, как ковры растопленного золота; и таинственный и разноцветный сумрак грандиознейшей розетки. На зыбях стоит Сан-Марко, на зыбучих хлябях. Кой-где он осел, его поддерживают. Не совсем полы ровны, и иной раз покажется — да не выступит ли влага из-под плит каменных; и не рухнет



Рождественские праздники на площади Сан-Марко.
Фото начала XX в.

ли обветшалый старец, в ризах самоцветных и тиаре? Но старец непоколебим. Купола его потемнели, как седеют волосы. Шпили их вознеслись. Бронзовые кони на портале все летят, летят, и сквозь голубое утро все слепят в лучах мозаики фасада.

Б. К. Заицев. *Венеция 1920* // Собрание сочинений в 7 тт. Петербург; Берлин, 1923, т. 5, с. 11.

В. ВЕЙДЛЕ

1966

482

Когда из атриума по ступенькам вы подыметесь и войдете в храм, первое, что вы скажете, будет: Византия победила... Вы замкнуты в пространство, лишенное четких границ; объемы и выпуклости затушеваны; все пластическое, телесное, силовое, напряженное из этой архитектуры изъято; стены, арки, столбы “говорят” лишь своей поверхностью, выгнутой или прямой; купола и своды не возносятся вверх, а нисходят, спускаются сверху. Вы погружены в нечто потусторонне мерцающее царственными тускло-золотыми, порфирно-пурпурными или промежуточными от золота к багрецу тонами... Поскольку впечатление не нарушает слишком яркий свет из южного окна, оно все еще соответствует исконному византийскому замыслу... Мглистое мерцание золота согревает нас, если не телесно, то душевно, сливаясь, колористически единаясь с тонами утвари и облицовки, колеблющимися между кордобской кожей и утрехтским бархатом. Мы там окутаны красочной на золотом фоне полумглой, а когда выйдем оттуда, нас окутает — светлей и нежней — лагунная перламутровая дымка, бело-облачная, над городом, вокруг города, синева неба и воды.

В. Вейдле. *Похвала Венеции* // Мосты, Мюнхен, 1966, № 12, с. 134-135, 150.

КОЛОКОЛЬНЯ
САН-МАРКО

483

П. ПЕРЦОВ

1897

“Общий взгляд” на Венецию лучше всего бросить с колокольни Св.Марка. Она стоит на углу Пьяццы и Пьяцетты. Высокая и голая, словно маяк. Она и была когда-то своеобразным маяком морской столицы, потому что ее, как акропольскую Афины, далеко видно с моря. На колокольне вместо лестницы нахожу наклонную плоскость, без ступеней, широкую и удобную, но необычайно зловонную. Через некоторое время открываю причину этого зловония. Оказывается, что на каждом повороте в стене устроен резервуар... отнюдь не для ключевой воды. Такая архитектурная подробность на колокольне, т. е. в здании все же религиозного назначения, удивила меня. После, когда я видел такие же резервуары и в стене хра-



Падение башни Сан-Марко. Фото 1902 г.

ма Св. Петра, и на крыше Миланского собора, эта неприятная подробность не остановила бы, конечно, моего внимания, но тогда она была для меня первым “красноречивым” фактом, к которому после прибавилось немало других, для уяснения своеобразных особенностей итальянского благочестия. Венеция с колокольни открывается буквально “как на ладони”. Она лежит внизу одним сплошным пятном. Вокруг — предместия, проливы, мели и широкий пояс моря. Весь город крыт красной черепицей — точно огромное чешуйчатое животное выплыло из глубины погреться на весеннем солнце с семьей своих детей. Но красные пятна тонут в голубом просторе; воздух Венеции, бледный и влажный, сливается с ее бледно-голубым морем. Везде — вода... Сдержанный шум доносится наверх — земноводный город живет своей жизнью.

П. ПЕРЦОВ. *Венеция 1897*. СПб., 1905, с. 6-7.

В. РОЗАНОВ

1902

486

Башня, не имеющая ничего красивого в себе и столь непропорциональная окружающим ее зданиям, удивительно с ними гармонирует. Гармония эта так велика, что просто больно думать, что, выйдя на площадь Св. Марка, не увидишь ее. Выньте из Кремля Ивана Великого — не Бог знает какую красоту, уберите перед Кремлем Василия Блаженного — и целое вдруг потеряет смысл, красоту, целость, гармонию. С падением башни навсегда испортилось единственное по красоте, значительности и воспоминаниям место на земном шаре — площадь св. Марка... Стиль башни — южный. Квадратный колосс, с вертикальной в одну линию ниточкой продолговатых окон, кончался пирамидкой. Башня, может быть, незаметно для ее строителей, являла европейскую и христианскую вариацию египетского обелиска, этой непонятной по мысли квадратной колонны, увенчанной острой башенкой... Что этот мотив собою выражает — неизвестно. Но он совершенно не присущ и не повторяется на севере. В странах тумана, сырости и холода редко смотришь на небо и не хочется ничего послать в небо. Здания здесь широкие, распластанные по земле. Это — мужик, которого порют, а не жаворонок,

который поднимается в лазурь. Может быть, природа действует на историю, на нравы; а история и нравы — на архитектуру... Башня стерегла главную красоту Венеции — Св. Марка и Палаццо Дукале. Нужно было или в яркое утро, или пустынную, молчаливую ночь выйти на площадь и, остановясь в 3/4 ее длины, т. е. не подходя к Св. Марку, — или сесть где-нибудь на каменные плиты, если была ночь, или, если это было утро, — спросить себе на столик кофе; и, не смотря прямо на главную красоту, так сказать, дышать этой площадью, ничего особенного не думать, не вспоминать истории и время от времени нечаянно вглядываться вперед, в направлении Марка и дворца. Все преднамеренное не хорошо. Тогда в ваше непреднамеренное, ленивое дреманье и Марк, и дворец входили незаметно и становились куда нужно. Через несколько времени седина этого места, удивительная его архитектурность, непосильная личному гению и доступная только гению времен, начинала на вас действовать. И минутами сердце наполнялось прямо восторгом, счастьем.

487

В. В. Розанов. *Итальянские впечатления 1901–1902*. СПб., 1909, с. 220.

М. ОСОРГИН

1912-1913

488

Пал — и снова восстал Мессер Сан-Марко, стройная башня, соединяющая Венецию с небом. Восстановлена разрушенная колокольня, — кого это может тронуть? Но нужно знать Венецию, нужно чувствовать ее! Мессер Сан-Марко был ее гордостью и олицетворением. Это не безжизненный шпиг, указывающий на облака людям земли, это — живой гений венецианцев, центр их отвлеченных от земного мыслей, их идеал, основа их миропонимания... Вдумайтесь покрепче в историю Венеции, этого исторического монстра средних веков. Какие поразительные страницы, какая чудовищная устойчивость духа свободы, какие бесподобные приливы и отливы славы, могущества и беспутного и красивого опьяняющего падения! А разве эти сваи дворцов на Большом Канале, обратившиеся теперь в драгоценный камень, водружены не людьми, не предками нынешних “поклонников своей колокольни”? И вы хотите, чтобы такая сила духа умерла или выродилась? Спит — да, но погибнуть она не могла! И, рано или поздно, она возродится в том же блеске, как возродился Messer San Marco с золотым ангелом на верхушке. И вот в весенний день впервые вновь ударил на величавой башне старый коло-



Площадь Сан-Марко и руины упавшей Кампаниллы.
Фото 1902 г.

кол, каким-то чудом оставшийся невредимым. И было сие чудо во пророчество! Весна подхватила его звучный голос и разнесла по лагуне...

М. Осоргин. *Очерки современной Италии*. М., 1913, с. 252, 255.

ДВОРЕЦ ДОЖЕЙ, ТЮРЬМА, МОСТ ВЗДОХОВ

490

П. ТОЛСТОЙ

1697

Близко того костела <Св. Марка> у самых олтарей построен дом венецага князя, которого венецыяне называют своим языком принцепом. Тот дом зделан изрядным мастерством, весь каменной, и резбы в том доме по полатам многие каменные италианской преславной работы, и около того дому также резбы изрядные многие ж. Построены полаты на том дворе, по стенам вместо ограды в тех полатах построены розные приказы для управления всяких дел. На тот княжеский двор зделаны ворота каменные, великие под полаты с площади; в тех воротах сидят многие писари, подобны московским площадным подьячим, которые пишут челобитные и иные всякие нужды, кому что будет потребно.

П. А. Толстой. *Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе 1697–1699*
<Запись 15 июня 1697 г. >. М., 1992, с. 51, 52.

П. АННЕНКОВ

1841

491

Не безызвестно вам, что на свете есть венецианская школа живописи, отличающаяся теплотою колорита, светлостью создания и драматическим элементом в картинах. Все церкви Венеции наполнены ее произведениями, которые много терпят там от сырости. Во Дворце дождей она изобразила всех этих стариков в мантиях и шапках остроконечных, которые то стоят на коленях перед изображением Мадонн, благословляющих их, то коронуются прекрасною женщиной, называемою Венецией, то принимают посланников, то сражаются, — так что весь этот дворец, покрытый сверху донизу картинами, есть не что иное, как длинный и несколько утомительный панегирик бывшим властителям. Из этого следует исключить только удивительную “Венеру” Тициана, “Похищение Европы” Паоло Веронезе и “Рай” Тинторетта; но дворец имеет совершенно другое значение... Великолепною лестницей, которая называется Лестницей гигантов и на площадке которой короновались дожи, вступаешь в верхнюю галерею и на противоположной стене видишь два отверстия: тут были львиные пасти, куда клались доносы... Другую лестницей, именуемойся Золотою, входишь в залу пятисот. Наверху ряд портретов

дожей и черная пустота там, где следовало быть портрету Марино Фальери, с надписью: “Вместо Марино Фальери, казненного за преступления” *pro criminibus*. Рядом зала избрания дожа, с готическим балконом, на который выходил новоизбранный, и человек, поднявшийся на самый спиц колокольни Св. Марка, стремительно спускался к нему по веревке, вручал букет цветов и исчезал таким же образом. Когда аристократия почувствовала необходимость сжаться для сохранения влияния своего, она ограничила совет 200. Вот мы проходим залу этого совета с тронем герцога и другую залу, где принимались посланники. Через коридор или комнату, известную под названием Четырех дверей, вступаете вы в самое страшное отделение дворца: полукруглая комната, в которую входите через одну из дверей, есть Совет десяти, этот ужасный Совет десяти, разивший невидимо, как судьба, знавший, как Орлеанская дева, тайны чужой молитвы и настигавший преступника, как божий гром, везде и всюду. Небольшою комнатой, где каждое утро отворялся маленький шкаф и вынимались доносы, положенные с наружной стороны, переходите к венцу правительственных форм этой грозной республики. Когда



Вид на Дворец Дожей и башню Сан-Марко со стороны острова San Giorgio. Фото начала XX в.

уже и Совет десяти казался слабым и недостаточным, когда признали за нужное еще более централизовать тиранию, образовался Совет четырех, заседавший рядом с пыточной комнатой. Не стану описывать все ужасы, которые рассказывают здесь про эту комнату... Пятью или шестью ступеньками поднимаешься в залу инквизиторов, и дверь, которую видишь налево от себя, отворяется на лестницу, а эта лестница ведет под крышу, в свинцовые темницы! Таким образом, обойдя дворец, вы

получили первые черты истории Венеции. Свинцовые темницы, где заключенные всего более должны были страдать от нестерпимого жара, скопьявшегося в этом чердаке, разделенном на множество клеток, еще ничего не значат в сравнении с так называемыми венецианскими колодцами. Строение, собственно определенное на них, обращено в темницы уголовных преступников и закрыто от любопытства путешественников. Мост вздохов, ведущий к нему из дворца, заколочен, и только осталось предание в народе, что он был разделен глухою стеною надвое для того, чтобы преступники уводимые не могли встречаться с приводимыми. Итак, вы должны довольствоваться только теми колодцами, которые находились в подземельях самого дворца. Хороши и эти! Представьте себе собрание каменных склепов, где своды, кажется, лежат на самой груди вашей, где самый отчаянный плач человека не мог пройти сквозь толщу окон и двойные железные двери даже за порог их и должен был возвратиться опять к тому, от которого вышел. Верхнее отделение определено было для легких преступников и для преступников, подлежащих суду Десяти. Осужденные инквизицией погребались во втором отделении и

уже не выходили оттуда. Тут стояло и роковое кресло, прекращавшее страдания истерзанного пытками преступника одним поворотом колеса, к которому привязан был конец веревки, между тем как другой лежал на шее человека. Огонь в темницы эти вносили только на час, когда давали заключенным хлеб, и с помощью этого радостного и мимолетного гостя несчастные еще чертили гвоздями свои мысли и ощущения на сводах каменных гробов своих... Когда вышел я на белый свет, вздохнул свободнее и совершенно помирился с нынешним упадком Венеции. Необходимость и разумность его мне сделались понятны, и я решительно вылечился от охов и вздохов, которыми все путешественники, по следам Байрона, оканчивают толки о чудном городе.

П. В. АННЕНКОВ. *Письма из-за границы 1841 // Парижские письма.* М., 1984, с. 21-23.

В. ЯКОВЛЕВ

1850-е

496

Вот набережная Славян, живописная смесь халифской роскоши и ладзаронской нищеты... Вот дворец дождей, великолепнейший чертог, оставленный нам средними веками... Деспотически тяготеет эта громадная узорчатая стена над двумя ярусами тонких колонн, точно сильная своим единством каста патрициев, подавлявшая систематически разъединенных граждан. Мост Вздохов — это изящный мраморный саркофаг, висящий высоко над каналом и связывающий темницу с дворцом. Дворец, опирающийся на темницу! — вот формула старинной венецианской политики... Дворец дождей своей арабской архитектурой переносит вас на Восток. Все свидетельствует здесь о колоссальной роскоши Венеции... В глубоком раздумье шагал я по парадным залам старинного дворца. Огромные стены исчезают под бессмертными полотнами и фресками Тициана, Тинторетта, Павла Веронского, Пальмы; почти каждая картина исполнена гордого патриотизма; под сладостною кистью венецианских мастеров даже аллегории утрачивают сродную себе холодность. Но из многих окон дворца видна мрачная стена тюрьмы с таинственным Мостом Вздохов... Зала, где дожди принимали послов, сохранилась в преж-

нем виде. Здесь роскошь, блеск, позолота, бархатные кресла; каждая картина, каждый орнамент выражает могущество Венеции, надменность патрициев... Кто бы мог подумать, что опора этого могущества находилась в двух шагах отсюда, в зловещей храмине, обитой вечным трауром, где заседали три инквизитора, таинственные и беспощадные. Убежище инквизиторов давно лишено своей грозной физиономии, но, едва вхожу сюда, воображение мое наполняется трагическими призраками... Сердце ваше переполнится отвращением, когда взор нечаянно упадет на иззубренные щели, которые некогда были украшены бронзовыми львиными пастями, куда опускались безымянные доносы. Все сокровища искусства, все блестящие страницы венецианской истории едва ли могут искупить вероломство этой политики, с ее переодетыми сбирами <служащими инквизиции>, с легионами шпионов, с ее пытками и темницами, с безответственным судом и скоростижною казнью... Знаменитые своими ужасами темницы таятся в стенах самого дворца, как гнусные страсти в сердце блестящего патриция. В анфиладах пышных зал теснились чудеса искусства, красота, наслаждения жизни; а над

497

П. ПЕРЦОВ

1897

498

этими плафонами, блещущими роскошной фантазией художников, — в свинцовых чердаках стонали государственные преступники; в часы пиров, часто в склепах, под ногами танцующих, гибли тайные жертвы аристократического деспотизма... Узник садился на табурет, прислонял голову к вделанному в стену инструменту, и дыхание пациента прерывалось навеки. Дверь тихо отворялась на канал, выносили безобразный мешок, и таинственная гондола, при лунном сиянии, отплывала в канал Орфано. Покушение закинуть в его струи невод — наказывалось смертью.

В. Д. Яковлев. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя.* СПб., 1855, с. 3, 14, 17-19.

499

При первом взгляде на дворец Дожей кажется, что это здание опрокинуто фундаментом вверх и крышею вниз; два этажа колонн внизу и сплошная стена наверху. Это здание тоже unique, как и собор. Готические стрельы сочетались здесь с романскими кругами, и толстые, низкие египетские колонны первого этажа не имеют базы, но увенчаны капителями из листьев, животных и человеческих голов. Во всех подробностях здания проявляется то же господство случайности: из шести громадных готических окон фасада, выходящего к морю, два правых пробиты ниже других и в свою очередь не согласованы между собою. Фасад Пьяцетты правильнее, но и у него одно окно оказывается ниже остальных. Среди каменной резьбы неожиданно вкраплены аллегорические барельефы. Скульптурные украшения вообще оригинальны, не только по месту нахождения, но и по выполнению... Вхожу во дворец. Ряд пустых торжественных покоев. Золотые резные потолки, в которые, как драгоценные камни, вправлены великолепные плафоны; стены, покрытые картинами; громадные каменные каминь; мраморные ворота вместо дверей, с колоннами, со статуями — целые триумфальные арки... Но после осмо-

500

тра парадных комнат остается еще визит: нужно видеть и обратную сторону медали. Темные узкие коридоры и лестницы приводят в подвалы дворца, где помещалась государственная тюрьма. Сырые каменные ящики без окон, впрочем иногда обшитые тесом — может быть, для почетных узников... Тусклые, коптящие керосиновые лампочки освещают каменное ложе и изъеденные сыростью стены, на которых можно рассмотреть надписи и знаки, оставленные заключенными. Нижние камеры помещаются уже чуть ли не в самой воде. Так медленно изводились между камнями фундамента, в подножии гигантского дворца, враги этого правительства, а может быть, только правителей...

П. ПЕРЦОВ. *Венеция 1897*. СПб., 1905, с. 16-17.

Справа: Мост вздохов. Фото начала XX в.



В. РОЗАНОВ

1901

502

Когда Дворец Дожей был кончен, со всех концов мира потянулись и до сих пор тянутся на него смотреть. Невозможно ни задумать когда-нибудь еще такого ученому архитектору нужно для этого с ума сойти, т. е. все сперва забыть и затем лишиться употребления всяких способностей, ни где-нибудь приблизительно подобное найти. Да, архитектура есть вдохновение. И ей так же невозможно научиться, как писать стихи, молитвы, музыку и великие картины. Бог знает, как и откуда это приходит!.. Часами я простаивал над каналцем, над которым висит “Ponte dei Sospiri” Мост Вздохов, ведущий в темницы в верхний их этаж из залы суда во Дворец Дожей. И по мостику я проходил... Место печали нас привлекает более, чем место радости. Тут было человеку так тяжело. Тем тяжелее, чем радостнее везде вокруг, кроме этой проклятой точки...

В. В. Розанов. *Итальянские впечатления 1901*. СПб., 1909, с. 228.

ГОРОД НА ВОДЕ:
ЛАГУНА, КАНАЛЫ

503

П. ТОЛСТОЙ

1698

В Венецы есть извозничьи лодки, которые называют гундалами, немало тысяч, а все черные и покрыты черными сукнами, с акончинами великими, и во всяком гундале по одному человеку-гребцу, а на ином и по два человека. И кому куды потребно ехать морем в ближние места от Венецы или в самой Венецы по каналам, то есть по улицам, то в тех гундалах ездят, нанимая их; а плата бывает на целый день от гундала, которой с одним гребцом, дукат венецкой, а московских денег 15 алтын; и за тое плату весь день повинен возить, где изволит. А у венецких прокураторей и у знатных купецких людей, также и у духовных особ, есть свои гундалы, которых есть в Венецы не одна тысяча. Те гундалы у многих есть нарядные, резной работы, золоченые, покрыты

В. ЯКОВЛЕВ

1850-е

504

бархатами с круживами и с бахрамами золотными и иными изрядными парчами, и окончины великие; также в них посланы бывают шпалеры, или трипы цветные, или иные изрядные парчи, тому подобные. А зделаны те гундалы особою модою: длинны да не широки, как бывают однодеревые лодки, а нос и корма острые, и на носу железные великие гребни, а на корме железом же оквано, а на середине зделан чердак с окончинами и з завесами изрядными покрытой, и в нем лавки изрядные с подушками. А гребцы - один человек на носу, а другой на корме; а в котором гундале другого гребца нет, в том бывает человек на корме, гребет стоя, тем же веслом и правит, а кормоваго весла, как бывает правило, на тех гундалах нет, однако без него управляют изрядно.

П. А. Толстой. *Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе 1697–1699*
<Запись 15 июня 1697 г.>. М., 1992, с. 109–110

505

Гондола моя скользила уже по сонным струям Большого Канала. Волшебна эта водяная улица, убранная мраморными дворцами. Мрачны, печальны почерневшие их фасады, но поэтически своенравная архитектура этих зданий, выдвинутых из воды, легкие мавританские аркады, узорчатые, случается даже — обвитые виноградной лозой, балконы, под которыми без шуму плывет ваша гондола, — все это создает эффекты магические. Пышность столицы — и тишина пустыни! Перед готическим порталом, вместо экипажей, стоят гондолы, привязанные к полосатым столбам, выставляющимся из воды перед каждым домом. На мраморное крыльцо, опускающееся в волны, прилив бросает пучки морских растений. Изредка гондола, обитая черным сукном, одиноко стремится по смарагдовым струям; еще реже, на каком-нибудь балконе, между чернеющими колоннами, появляется розовое существо, сардонической улыбкой встречающее иностранца, который, как очарованный или как лунатик, в сотый раз мчитя вдоль по водяному проспекту... Картина мрачная, но поразительная... Конечно, вы видели картины Каналетто, значит, знаете, что венецианская роскошь в прежние времена и на



Стоянка гондол у Пьяцетты. Фото начала XX в.

украшение своих лодок расточала пурпур, бархат, позолоту. Теперь, перекрытые черной попоной, каюты — под масть угрюмым, закопченным зданиям. Века стерли с этих пышных фасадов и тициановские, и безымянные фрески, но взамен их наложили на мрамор свой глубоко поэтический колорит. Посмотрите, как время довершает создания художника. Каждый барельеф, каждая капитель, архитрав и кариатида приобрели ту мягкость, оконченность, о какой не смеет и помышлять наше творчество. Красота сапфирного неба над массаами почерневших зданий придает Венеции глубоко трогательный, элегический характер... Встречаются скелеты дворцов

полуоставленных, полуразрушенных; виднеются изувеченные статуи, кариатиды, уставшие поддерживать карниз и сбросив с головы своей вековое ярмо... Когда же моя лодка углубляется в лабиринт тесных водяных закоулков, где потревоженные воды издают запах разрытой могилы, сердце мое сжимается как-то болезненно. Два ряда высоких полупустынных домов и над ними узкая голубая полоска неба; фундаменты, покрытые плесенью, полусгнившие двери, местами клочок зелени, выглядывающей из-за полуразрушенной каменной ограды, — вот декорация этой сцены. Местами на полуразвалившееся крыльцо море разложило свои раковины, и нога пришельца их не потревожит. Встречаются и тут палаццы; но прежде чем станете любоваться их оригинальной красотой, вы посетуете на зодчего, забросившего свою мраморную поэму в такую трущобу. Со многих стен жалким торгашеством сорваны восточные мраморы, и обезображенные дворцы напоминают собою страшную фигуру микеланджеловского Варфоломея. Сострадательный плющ один спешит прикрыть обнаженные члены этих каменных скелетов. Немало здесь окон, заколоченных наглухо полусгнившими до-

П. МУРАТОВ

1911-1912

< О венецианской картине Беллини
“Летейские воды” >

508

сками; из-под готических арок торчат железные печные трубы или жерди, на которых просушивается белье. Я видел изящные балконы, загроможденные “пожитками бледной нищеты”; видел мраморные перила, на которые когда-то облакачивалась красавица и на которых навешана разная ветошь... При виде здешней нищеты и явного упадка во всех отношениях прогрессист пожмет плечами, но художник и тут не останется внакладе; и тут он отыщет свою картину, свою долю наслаждения.

В. Д. ЯКОВЛЕВ. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя.* СПб., 1855, с. 22-23.

509

В той стране, которая открывается за уснувшими зеркальными водами Леты, мы узнаем нашу страну молитв и очарований... Для нас, северных людей, вступающих в Италию через золотые ворота Венеции, воды лагуны становятся в самом деле летейскими водами. В часы, проведенные у старых картин, украшающих венецианские церкви, или в скользкой гондоле, или в блужданиях по неммым переулкам, или даже среди приливов и отливов говорливой толпы на площади Марка, мы пьем легкое сладостное вино забвения. Все, что осталось позади, вся прежняя жизнь становится легкой ношей. Все пережитое обращается в дым, и остается лишь немного пепла, так немного, что он уместается в ладанку, спрятанную на груди у странника. Его ожидает Италия, — Италия, так близко, за этим пространством лагуны! Мысль о прекрасной земле, на которую сейчас опускается ночь там, за тихими водами, за туманными равнинами, где течет Brenta, с особенной силой пробуждается всякий раз при наступлении вечера в Венеции. Среди огней и

И. БРОДСКИЙ

1989



Большой канал у моста Риальто. Фото начала XX в.

движения на Пьяцце она приходит внезапно и уносит далеко, так далеко, что говор и смех праздной толпы звучит в ушах, как слабый шум отдаленного моря. В этой толпе всегда немало людей, только что ступивших на землю Италии и согласно переживающих ту же рассеянную мечту. Свет улыбки в их невидящих взорах выдает освобожденные души, — души, уже испытывавшие силу летейских вод.

П. П. Мурагов. *Венеция. Летейские воды 1911–1912 // Образы Италии.* М., 1994, с. 11–12.

В путешествии по воде, даже на короткие расстояния, есть что-то первобытное. Что ты там, где тебе быть не положено, тебе сообщают не столько твои глаза, уши, нос, язык, пальцы, сколько ноги, которым не по себе в роли органа чувств. Вода ставит под сомнение принцип горизонтальности, особенно ночью, когда ее поверхность похожа на мостовую. Сколь бы прочна ни была замена последней — палуба — у тебя под ногами, на воде ты бдительней, чем на берегу, чувства в большей готовности. На воде, скажем, нельзя забыть, как бывает на улице: ноги все время держат тебя и твой рассудок начеку, в равновесии, точно ты род компаса. Что ж, может, та чуткость, которую приобретает твой ум на воде, — это на самом деле дальнее, окольное эхо почтенных хордовых... Ибо вода тоже хорал, и не в одном, а во многих отношениях. Это та же вода, что несла крестоносцев, купцов, мощи св. Марка, турок, всевозможные грузы, военные и прогулочные суда и, самое главное, отражала тех, кто когда-либо жил, не говоря уже — бывал, в этом городе, всех, кто шел посуху или вброд по его улицам, как ты теперь. Неудивительно, что она мутно-зеленая днем, а по ночам смоляной чернотой соперничает с твердью. Чудо,

что город, глядя ее по и против шерсти больше тысячи лет, не протер в ней дыр, что она прежняя H₂O хотя пить ее и не станешь, что она по-прежнему поднимается. Она действительно похожа на нотные листы, по которым играют без перерыва, которые пребывают в партитурах прилива, в тактовых чертах каналов, с бесчисленными облигатто мостов, высоких окон, куполов на соборах Кодуччи, не говоря уже о скрипичных грифах гондол. В сущности, весь город, особенно ночью, напоминает гигантский оркестр, с тускло освещенными пюпитрами палаццо, с немолчным хором волн, с фальцетом звезды в зимнем небе... Если бы мир считался жанром, то его главным стилистическим приемом служила бы, несомненно, вода... Этот город захватывает дух в любую погоду, разнообразие которой, во всяком случае, несколько ограничено. А если мы действительно отчасти синоним воды, которая точный синоним времени, тогда наши чувства к этому городу улучшают будущее, вносят вклад в ту Адриатику или Атлантику времени, которая запасает наши отражения впрок до тех времен, когда нас уже давно не будет. Из них, как из обтрепанных рисунков сепией, время, может быть, сумеет составить, по прин-

ципу коллажа, лучшую, чем без них, версию будущего. В этом смысле все мы венецианцы по определению, поскольку там, в своей Адриатике, или Атлантике, или Балтике, время, оно же вода, вяжет или ткет из наших отражений они же любовь к этому месту неповторимые узоры, совсем как иссохшие старухи в черном на здешних островах, навсегда погруженные в свое глазоломное рукоделие.

И. Бродский. *Fondamenta degli Incurabili Набережная неизлечимых* 1989. М., 1992, с. 207, 239-240, 250-251.

ВЕНЕЦИАНЦЫ И ВЕНЕЦИАНКИ

514

П. ТОЛСТОЙ

1697-1698

Венецияне — люди умные, политичные, и ученых людей зело много; однако ж нравы имеют видом неласковые, а к приезжим иноземцам зело приемны. Между собою не любят веселиться и в дома друг к другу на обеды и на вечера не съезжаются. И народ самой трезвой, никакова человека нигде отнюдь никогда пьяного не увидишь; а питей всяких, вин виноградных розных множество изрядных, также разолинов и водак анисовых изрядных, из виноградного вина сижены, много, толко мало их употребляют, а болше употребляют в питеях лимонадов, симады, кафы, чекулаты и иных, тому ж подобных, с которых человеку пьяну быть невозможно... Венецияне мужеский пол одежды носят черныя, также и женской пол любят убиратца в черное ж платье. А строй венец-

каго мужскаго платья особой: которые первые люди, называются прокуратори и шляхта, то есть дворяне, носят под исподом кафтаны черные, самые короткие, толко до пояса, камчатые, и тафтяные, и из иных парчей; и около подолу пришивают листы черные многие, а штаны носят узкие и чулки и башмаки черные; а верхние одежды черные ж, долгие, до самые земли, и широкие, и рукава зело долгие и широкие, подобно тому как прежде сего на Москве нашивал женской пол летники; а правую полу у тех верхних одежд опушивают черевами бельми вершка на три шириною, вверх шерстью; и на левом плече носят черные суконные мешки, мерою в длину по аршину с лишком, а поперек поларшина или мало уже. Головы, и бороды, и усы бреют и носят волосы накладные, великие и зело изрядные; а вместо шляп носят шапки черные ж, суконные, опушены овчинами черными, и никогда их на головы не надевают, толко носят в руках. Купецкие люди носят исподнее платье так же, как и вышеписанные дворянских пород, а наверху носят епанчи черные и красные суконные; а иные многие носят епанчи черные камчатые, и тафтяные, и бархатные травчатые для легкости; а которые похотят, купецкаго

515

С. УВАРОВ

1843

516

чину люди носят многие платье французское; а волосы накладные все купцы носят, изрядные, шляпы хорошие носят с перьем; а болши все употребляют в платье цвету черного. Женской пол и девицы всякаго чину убираются зело изрядно особою модою венецкаго убору и покрываются тафтами черными сверху головы даже до пояса, а иные многие убираются по-французски. В женском платье употребляют цветных парчей травчатых болши. И народ женской в Венецы зело благообразен, и строен, и политичен, высок, тонок и во всем изряден, а к ручному делу не очень охоч, болши заживают в прохладах.

П. А. Толстой. *Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе 1697–1699* <Запись 15 июня 1697 г.>. М., 1992, с. 52–53.

Италия Казановы, вертлявая, беззаботная, веселая, умерла, вместе с черными и красными платьями Каналетто. Теперь итальянец степенен, раздумчив, почти уныл; Италия — край порядка, размышления, жизни внутренней, край, ищущий разгадать довольно темную тайну своих исторических судеб.

517

С. С. Уваров. *Рим и Венеция в 1843-м году*. Дерпт, 1846, с. 6.

В. ЯКОВЛЕВ

1850-е

518

Венецианская порода женщин знаменита издавна. Но красоту их надобно искать не только в правильности очертаний лица, сколько в роскошно развитых формах. В глубоко-темных, искристых глазах, в густой, сине-вато-черной косе... Не удовольствуетесь этим, так ступайте в отдаленные кварталы: там, за стеклами своей теплицы, таятся истинно редкие экземпляры женской красоты. Мне встречались там тициановские типы — с золотистыми, кудрявыми волосами, с ослепительным колоритом тела: эти женщины волшебны хороши, и путешественник, любуясь ими, сильно рискует своим сердечным спокойствием.

В. Д. Яковлев. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя*. СПб., 1855, с. 48.

П. ВЯЗЕМСКИЙ

1853

519

Венецианцы дуются на австрийцев, и нет никакого сообщения между ними. Они жалуются, что они убили их общественную жизнь, кажется, жалобы не совсем справедливы. Эта жизнь отжила свой век, преобразовалась, как и везде. Разве парижские салоны те же, что в конце XVIII века? Не австрийцы же лишили венецианок хваленной их красоты. А теперь не встречаешь красавиц — иначе как в рамках знаменитых прежних художников. Видно, и природа по эпохам истощается, и у нее бывают свои периоды либерализма и противодействия.

П. А. Вяземский. *Дневники и письма 1853* // Полное собрание сочинений. СПб., 1886, т. 10, с. 8-9.

А. БЕНУА

1894

520

Венецианцы и изыясняются, и жестикулируют, и ступают иначе, нежели жители других, “более реальных” городов. И это без малейшего принуждения, без остратки. Нарядные и чистенькие, как куколки, карабинеры в своих черных с красным мундирах, в своих кокетливых треуголках, как будто вовсе не несут какой-либо полицейской службы, а разгуливают парочками в качестве пикантного декоративного добавления к остальному. У них тоже удивительно благородный и благовоспитанный вид, это настоящие *filis de famille* <юноши из хорошей семьи — *фр.* >, служащие другим примером хорошего тона. Назойливого гомона, как в других городах Италии, в Венеции нет; даже на ее главном публичном торжище не слышать каких-либо резких криков. Газетки предлагают свои “*Coggiere*” и “*Tribuna*”, продавцы спичек свои *segini*, лотерейные лавочки свои билеты, а продавцы “*saamel*” свои нанизанные на палочки засахаренные черносливы или миндали, но все это делается в “камерных” тонах. Впрочем, здесь и не приходится что-либо перекрикивать: ведь в Венеции нет грохота повозок или гудения конок и трамваев.

А. БЕНУА. *Мои воспоминания 1894*. М., 1990, кн. 4, с. 40–41.

П. ПЕРЦОВ

1897

521

Вот они — тени прошедшего — на великолепных полотнах Тициана и Тинторетто. Совсем другие типы, другие люди, чем те, кто на них смотрит, — совсем другой склад лица. Много скрытой силы, сосредоточенности, самосохранения; мало личной сложности и нашего постоянного “рефлекса”... Тогда люди жили полнее и ярче, чем теперь. Жизнь вызывала наружу все силы, напрягала все способности человека. В этих залах собирались люди, обладавшие изящным сердцеведением придворного и дипломата, повелительной энергией полководца и вельможи, личным мужеством и физической силою солдата, предприимчивостью и находчивостью моряка, сдержанностью и расчетливостью купца. Сравнительная несложность общественной жизни делала разносторонним и многосложным частного человека. Между государством и лицом не стояло еще современной сложной передаточной цепи всевозможных специальных установлений и органов. Война не была делом особой армии, дипломатия — особого “корпуса”, торговля — торговых фирм и банкирских домов. Одни и те же люди торговали и плавали, вели переговоры и создавали законы, исследовали дальние страны и завоевывали близкие...



С. ГЛАГОЛЬ

1900

524

Особенно характерны портреты дожей — старые, морщинистые, испытанные жизнью лица. Угрюмые, подзрительные глаза близоруко глядят из-под надвинутого золотого колпака — короны дожей... Один дож смотрит так пристально и лукаво, что чувствуешь невольное смущение от этой проницательности...

П. ПЕРЦОВ. *Венеция 1897*. СПб., 1905, с. 16-17.

На предыдущем развороте:
На площади Сан-Марко. Фото конца XIX в.

525

Гондольер давно стал походить на оборванца с какого-нибудь моста через Темзу... Исчезли все следы национального костюма и у всего другого населения городка, и высшее блаженство кокетливой венецианки, если кто-нибудь ошибется и примет ее по костюму за современную модную парижанку... Все национальности одна за другой должны отжить свой век. Сначала каждая национальность утратит свой костюм, забудет свой язык и усвоит язык своего более сильного соседа, и получится в итоге один вид человека, homo sapiens, питающегося искусственными яйцами и приготовленными в лаборатории мясом и овощами и летающего на воздушном велосипеде вместо того, чтобы ходить по земле. Такой человек будущего даже уничтожит все внешние отличительные признаки в одеянии и жизни мужчины и женщины. Оба будут ходить в одном и том же, признанном за наирациональнейший, костюме, и только по бляхам с №№ можно будет их отличать друг от друга. У мужчин будут четные №№, а у женщин нечетные...

С. ГЛАГОЛЬ. *На юг. Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь, Рим и Венецию*. М., 1900, с. 213-214.

ИНОСТРАНЦЫ В ВЕНЕЦИИ

526

П. ТОЛСТОЙ

1697

Для приезжих иноземцов поделаны постоянные дома, которые итальянским языком называются остарии. В тех домех множество полат; и ежели кто приезжей иноземец в остарии станет, тогда ему там отведут полату особую. В той полате будет изрядная кровать с постелею, и стол, и кресла, и стулы, и ящик на платье, и зеркало великое, и иная всякая нужная потреба. И на всякой день будет ему готов обед и ужин, и на всякую ночь ему свеча салная маканая, также лампада с маслом деревяным. И за все за то тот приезжей человек повинен платить: будет станет есть по-кавалерски, на день по дукату венецкой манеты, а московских денег по 15 алтын в сутки; а буде с ним будет человек ево жить в одной, и за человека своево он же повинен платить на день по две лиры венецкой же

527

манеты, а московских денег будет 5 алтын, и за тою платою и человеку ево будет пища, обед и ужина, чем может быть сыт. И за обедом, и заужиною всем приезжим иноземцам и слугам их питья довольно виноградных вин, красных и белых, за тою же вышеописанною платою; а после обеда и после ужины кто захочет пить, тогда бесплаты не дадут. А пища в тех остариях бывает добрая, мясная и рыбная; и по обеде, и после ужины ставят немало фруктов, а болши употребляют итальянцы в пища трав: салатов, селдерей, капросу и иных, тому подобных. В тех же остариях всякому иноземцу, которые в них стоят, служат тутошние работники: постели перестилают по вся дни и простыни белые стелят на постели через неделю, также полаты метут всегда, и нужные потребы чистят, и за всем служат за тою ж платою. А когда ж которой иноземец из остарии поедет вон, тогда тому работнику, которой ему служил, даст для своей чести, что изволит, бес прошения. И на всякой день в тех остариях бывает в обеде и в ужине за столом человек про сто и болши, для того в тех остариях между полат делают великие сени сажен 20 в длину, иные и болши, и в тех сенях много ставят столов долгих, и четвероугольных, и круглых,



Поездка на гондоле. Фото начала XX в.

за которыми столами едят фарестирь, то есть иноземцы, по розной цене. И когда обед или ужина поспеет, тогда в тех сенях зазвонят в колокол, на то устроенной, тогда все пребывающие иноземцы в том доме идут обедать или ужинать из полат своих в сени, и всякой садится за свой стол, и кто что за себя платит. А в бытности всякому приезжему в тех остариях волность: сколько кто похочет быть, столко будет, хотя год или болши, хотя один день — то в ево воле.

П. А. Толстой. Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе 1697–1699
<Запись 15 июня 1697 г.>. М., 1992, с. 102.

П. ВЯЗЕМСКИЙ

1863

*На Canal Grande леди, миссы
Слетелись, будто саранча;
Под шляпкой образ белобрысый,
А шляпка будто каланча.*

*Плывут; в руке их книга, очи
Прикованы к ее листкам,
Читают все изо всей мочи —
И не глядят по сторонам.*

*Дворцы и храмы идут мимо,
И берега, и острова —
Окаменеv невозмутимо,
Не обернется голова.*

*Пытливый ум их любознатель,
Но не того, что есть: милей
Им знать, что скажет указатель
И подтвердит им лонлакей.*

*Придут ли к статуе, к картине —
Сейчас распрос у них готов:
А сколько футов в той холстине?
А сколько в мраморе пудов?*

В. СУРИКОВ

1884

530

Не знаю, какую-то грусть навевают эти черные, крытые черным кашемиром гондолы. Уж не траур ли это по исчезнувшей свободе и величию Венеции? Хотя на картинах древних художников во время счастья Венеции они черные. А просто, может быть, что не будь этих черных гондол, так и денежные англичане не приедут в Венецию и не будет лишних заработанных денег в кармане гондольеров. На меня по всей Италии отвратительно действуют эти английские форестьеры. Все для них будто бы: и дорогие отели, и гиды с английскими проборами позади, и лакейская услужливость их. Подлые акварели, выставленные в окнах магазинов в Риме, Неаполе, Венеции, — все это для англичан, все это для приплюснутых сзади шляпок и задов. Куда ни сунься, везде эти собачьи, оскаленные зубы.

Письмо П. П. Чистякову, 29 мая 1884 г.

Б. ПАСТЕРНАК

1912

531

Когда перед посадкой в гондолу, нанятую на вокзал, англичане в последний раз задерживаются на пьяцетте в позах, которые были бы естественны при прощании с живым лицом, площадь ревнуешь к ним тем острее, что, как известно, ни одна из европейских культур не подходила к Италии так близко, как английская.

Б. ПАСТЕРНАК. *Охранная грамота 1912, 1929* // Б. ПАСТЕРНАК. *Доктор Живаго. Автобиографическая проза. Избранные письма*. М., 1999, с. 57.

ПРАЗДНИКИ И КАРНАВАЛЫ

532

П. ТОЛСТОЙ

1697

В Венецы бывают оперы и комеди предивные, которых совершенство описать никто не может, и нигде на всем свете таких предивных оперов и комедей нет и не бывает... И приходит в те оперы множество людей в машкарах, по-словенски в харях, чтоб никто никого не познавал, кто в тех операх бывает, для того что многие ходят з женами, также и приезжие иноземцы ходят з девицами; и для того надевают мущины и женщины машкары и платья странное, чтоб друг друга не познавали. Так и все время карнавала ходят все в машкарах: мущины, и жены, и девицы; и гуляют все невозбранно,

533

кто где хочет; и никто никого не знает. И так всегда в Венецы увеселяются и никогда не хотят быть без увеселения, в которых своих веселостях и грешат много. И когда сойдутся в машкарах на площадь к соборному костелу святого Марка, тогда многие девицы берут в машкарах за руки иноземцов приезжих, и гуляют с ними, и забавляются без стыда. Также в то время по многим местам на площадях бывает музыка и танцуют по-итальянски, и танцы итальянские не зело стройны: скачут один против другога вокруг, а за руки не берут друг друга. Также многие забавляются: травят меделянскими сабаками великих быков, и иные всякие потехи чинят, и по морю ездят в гундалах и барках с музыкою. И всегда веселятца, и ни в чем друг друга не зазирают, и ни от кого ни в чем никакого страху никто не имеет: всякой делает по своей воле, кто что хочет. Та волность в Венецы и всегда бывает, и живут венецияне всегда во всяком покое, без страху, и бес обиды, и бес тягостных податей. А когда короновал приходит к окончанию, то есть в останные дни Рождественского мясоеду по римскому календарю, тогда болшие бывают в Венецы забавы и всякое увеселение; а в



А. ГЕРЦЕН

1867

536

останней неделе Рождественского мясоеду в пятницу князь венецкой начнет чинить забавы на помяненной святого Марка площади при своем княжеском дворе, и бывают изрядные вещи в пятницу, и в субботу, и в остатную неделю — и тем скончится короновал и начнется у римлян Великой пост.

П. А. Толстой. *Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе 1697–1699*
<Запись 15 июня 1697 г.>. М., 1992, с. 106–107.

На предыдущем развороте:

Праздник Реденторе в Венеции. С картины Х. Хастлера.

537

Теперь в Венеции карнавал, первый карнавал на воле после семидесятилетнего пленения. Площадь превратилась в залу парижской Оперы. Старый св. Марк весело участвует в празднике с своей иконописью и позолотой, с патриотическими знаменами и своими языческими лошадьми. Одни голуби, являющиеся всякий день в два часа на площадь закусить, сконфужены и перелетают с карниза на карниз, чтоб убедиться, точно ли их столовая в таком беспорядке. Толпа все растет, *le peuple s'amuse* <веселится — *фр.*>, дурачится от души, из всех сил, с большим комическим талантом в декламации и словах, в выговоре и жестах, но без кантаридности <возбуждения> парижских Пьерро, без вульгарной шутки немца, без нашей родной грязи. Отсутствие всего неприличного удивляет, хотя смысл его ясен. Это — шалость, отдых, забава целого народа, а не вахтпарад публичных домов, их сукурсаблей, жительницам которых, снимая многое другое, прибавляют маску, вроде бисмарковой иголки, чтоб усилить и сделать неотразимее выстрелы. Здесь они были бы неуместны; здесь тешится народ, здесь тешится сестра, жена, дочь — и горе тому, кто оскорбит маску. Маска на время карнавала становится для женщины то, чем был

Б. ЗАЙЦЕВ

1920

538

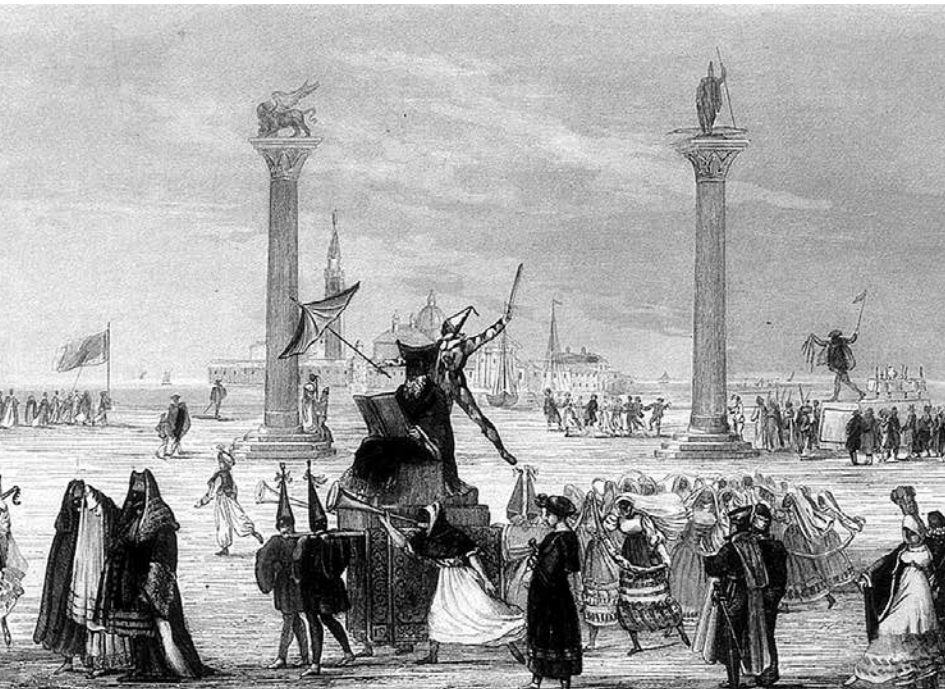
Станислав в петлице для станционного зрителя. Сначала карнавал оставлял меня в покое, но он все рос и при своей стихийной силе должен был утянуть всякого. Мало ли какой вздор может случиться, когда пляска св. Витта овладевает целым населением в шутовских костюмах. В большой зале ресторана сидят сотни, может больше, лилово-белых масок; они проехали по площади на раззолоченном корабле, который тащили быки все сухопутное и четвероногое в Венеции — редкость и роскошь, теперь они пьют и едят. Один из гостей предлагает курьезность и берется ее достать, курьезность эта — я. Господин, едва знакомый со мною, бежит ко мне в Albergo Danieli, умоляет, просит явиться с ним на минуту к маскам. Глупо идти, глупо ломаться, — я иду. Меня встречают “evviva” и полные бокалы. Я раскланиваюсь, говорю вздор, “evviva” сильнее; одни кричат “evviva l’amico di Garibaldi!” < Да здравствует друг Гарибальди! — итал. >, другие — “poeta russo!” < русский поэт — итал. > Боясь, что лилово-белые будут пить за меня, как за “pittore Slavo, scultore e maestro” < славянского художника, скульптора и маэстро — итал. >, я ретируюсь на Piazza di S. Marco. На площади стена людей; я прислонился к пилястру, гордый титулом поэта...

А. И. ГЕРЦЕН. *Venezia la bella 1867. Былое и думы* // Собрание сочинений в 8 тт. М., 1975, т. 7, с. 444-445.

539

Кто бы ни писал Венецию — никто не мог не писать празднеств ее и нарядов. В нарядах родилась Венеция, в нарядах смертный час свой встретит. Бедный, богатый ли, роскошь, простота — все здесь не любят, думается, будничного. Все живет светом, блеском, изяществом, ласковой любви, песней, мгновением. Бывает дождь в Венеции; смутно купается она в тумане, но лишь затем, чтоб ярче возблеснуть при солнце. И хмурости не угнетут народа мягко-сладострастного, изящного, о, сколь живого! Зимой месяцами длились карнавалы в Венеции умершей. Умерла, но жива. За одной выросла другая, и путешественник узнает сразу, что весь смысл, девиз и пафос города есть празднество.

Б. К. ЗАЙЦЕВ. *Венеция 1920* // Собрание сочинений в 7 тт. Петербург; Берлин, 1923, т. 5, с. 12-13.



Н. ЭЙДЕЛЬМАН

1989

542

Множество молодежи, из разных городов Италии, из других стран: добирается кто как может, все это недорого, и ночуют, где придется; с утра уже мелькают маски, к полудню их тысячи, к вечеру — десятки тысяч; площадь Святого Марка не вмещает бурлящую толпу. И она расплзается по тесным каналам... Десятки, сотни изящных молодых людей в камзолах, треуголках и очаровательные синьорины XVII-XVIII столетий. При этом быстро выясняются два любопытных обстоятельства: к концу второго дня считаешь нормальным, современным тот старинный облик; с другой же стороны, как выигрывают кавалеры и особенно дамы от двухвековой маски; иной, иная снимет — и полное разочарование; это, конечно, известно давно вспомним лермонтовский “Маскарад”... Дети в масках, собачки в масках, мужчина и женщина в огромных слоновых личинах идут, помахивая хоботами, прошел отряд драгун под бой старинного барабана, продавцы предлагают портретные маски Рейгана и Горбачева...

Н. Я. Эйде́льман. *Оттуда*. М., 1990, с. 11.

На предыдущем развороте:
Сцены венецианского карнавала. *Рисунки XIX в.*

ВЕНЕЦИЯ
ВЕЧЕРОМ
И НОЧЬЮ

543

В. ЯКОВЛЕВ

1850-е

Венецианская ночь, эта классическая ночь серенад и оргий, стилетов и поцелуев, лишилась также почти всей своей драматичности... Только у неба не отнято ни атома прежнего блеска: оно все также серебрится и сверкает, щедро усыпанное и матовыми и яркими звездами. При прозрачности атмосферы, звезд видно здесь в десять раз более, чем у нас на севере в великолепнейшую морозную ночь. В мраморных дворцах музыка, в лагунах смех и песни слышатся реже; в женщинах как будто недостает любви; в гондолах меньше тайны... Но все-таки венецианская ночь еще может очаровать... по крайней мере, полярное воображение. Я расстаюсь с моим бал-

А. ЧЕХОВ

1891

544

коном весьма поздно. Не могу надышаться воздухом, освеженным на лагунах. Мрамор балюстрад, на который я облокотился, еще не остыл после дневного жара. На пустынной водяной улице темно и тихо. Изредка блуждает по ней огонек... и по фосфорическим искрам, брызжущим из-под весла, я узнаю гондолу; но гребец молчит, как будто боится нарушить аристократический сон мрачных палаццов... Никакому городу не прилично так ночное освещение, как Венеции. Поблекшая красавица, ветхий палаццо значительно выигрывают при лунном полусвете. Когда яркая итальянская луна обливает своим перламутровым светом каменный паркет площади Святого Марка, отбрасывая под ее аркады вавилоны синеватой тени, дивные памятники венецианской архитектуры принимают характер фантастический. Кудреватые мраморные фризы базилики, точно опущенные инеем лианы, вырезаются на светло-синем грунте ночи, и статуи на вершинах их, рисуясь на звездистом небе, при непрерывном мерцании звезд, кажутся магически оживленными.

В. Д. Яковлев. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя.* СПб., 1855, с. 26-27, 56-57.

545

А вечер! Боже ты мой, Господи! Вечером с непривычки можно умереть. Едешь ты на гондоле... Тепло, тихо, звезды... Лошадей в Венеции нет, и потому тишина здесь, как в поле. Вокруг спуют гондолы... Вот плывет гондола, увешанная фонариками. В ней сидят контрабас, скрипки, гитара, мандолина и корнет-а-пистон, две-три барыни, несколько мужчин — и ты слышишь пение и музыку. Поют из опер. Какие голоса! Проехал немного, а там опять лодка с певцами, а там опять, и до самой полночи в воздухе стоит смесь теноров, скрипок и всяких за душу берущих звуков...

Письмо И. П. Чехову, 5 апреля 1891 г.



А. БЕНУА

1894

548

Остановились мы по рекомендации наших родных в “antico Albergo Cavaletto”, стоящем на берегу небольшой водяной площади бассейна как бы в кулисах самой Пьяццы Сан Марко. Как только наши вещи были внесены в номер, так мы, ничего не распаковав, побежали на эту площадь. В тот наш первый венецианский вечер зрелище этой площади выдалось особенно прелестным и великолепным. Ноябрьское солнце уже закатилось, и лишь отблеск его догорал в ажурных, украшенных по краю, закругленных тимпанах, кое-где зажигая золотые искры на мозаиках. Весь низ базилики уже тонул в голубоватом полумраке, а рядом такая прямая, такая массивная Кампанила выделялась более темной массой, уходя острием своим в небо... Через несколько минут все померкло, потухли последние искры, зато стали зажигаться всюду огни под аркадами в магазинах и в кофейнях, а сама площадь осветилась бесчисленными фонарями.

А. БЕНУА. *Мои воспоминания 1894*. М., 1990, кн. 4, с. 40.

На предыдущем развороте:
Ночной салют в Венеции. С картины К. Грубаха.

П. ПЕРЦОВ

1897

549

Но никогда не бывает так хороша Венеция, как на закате, в ясные и тихие последние часы дня. Тогда вся утекает она в ласковом сиянии; между ее дворцами, над ее каналами струится чистый и прозрачный, жемчужный свет. Как блещит и переливает тогда вода ее проливов, как стройно и легко возносятся громады дворцов. Вот я стою на главной набережной, перед широкой полосой рейда. За куполом Santa Maria Salute раскинулось целое зарево. В воздухе фантастическое смешение красок — горят вызолоченные края облаков, бродит розовый дым... Все оттенки, все переливы радуги встретились в этом небе. Золото заката переходит в алый блеск на горизонте, в фиолетовую тьму вверх. Здесь — вся гамма цветов. Глаз едва верит своим впечатлениям, наблюдая и ловя это волшебное зрелище, эту невиданную роскошь... Тени набегают на город и быстро сгущаются. Пора домой. В сотый раз прохожу я по площади св. Марка, среди ее пестрых построек, у пестрого собора, в пестрой толпе. Глаз невольно следит цвета и краски и радуется золоту газовых огней, зажигаемых в синеве сумерек. Я вижу то, чего не видал еще недавно... Потом выходишь к морю. Оно темное, почти черное, качается

Б. ЗАЙЦЕВ

1920

550

и плещет вокруг ступеней. Вверху, в такой же темноте, роятся мелкие серебряные точки. Начинаешь следить за их узорами и находишь нашу Большую Медведицу далеко, за собором, совсем близко к горизонту. Вокруг все знакомо: дворец, колонны, набережная. С этим видом, с этой обстановкою свыкаешься, как со всей этой жизнью. Так можно прожить год, десять лет, всю жизнь — и про-снуться наконец, как в сказке, седым стариком, — все на той же набережной, под той же колонною, у того же вечно тихого, точно сонного моря.

П. ПЕРЦОВ. *Венеция 1897*. СПб., 1905, с. 25, 14.

551

Что ощущает человек в синий вечер венецианский, проходя по площади Святого Марка? О чем скажет ему напев скрипок, благоухание духов, звезд мерцанье? Отчего нежная меланхолия, слабый стон все ясней слышится в словах и горькой складкой проникает душу? Душа взволнована, легко возбуждена, но среди блеска празднества сочит сердце грусть вечную. Привет, привет! Промчатся дни, часы очарований, и от колдовской Венеции слабый след забелеет, как в небе серебро за пролетевшею кометою. А та комета — жизнь — уносит, все уносит... Нет острее ночной меланхолии Венеции, как нет ярче дневного ее очарования. Нет пронзительнее контраста между золотом Тициана и волной хаоса, меж вихрем бала, пенящегося вина, игрой улыбок, нежностью движений и великой безглагольностью полночных вод. Венеция двулика, остро разящая, радостно-скорбная — *memeto mori* над всегдашним карнавалом жизни.

Б. К. ЗАЙЦЕВ. *Венеция 1920* //Собрание сочинений в 7 тт. Петербург; Берлин, 1923, т. 5, с. 15-16.

И. БРОДСКИЙ

1989

552

На закате все города прекрасны. Но некоторые прекраснее. Рельефы становятся мягче, колонны круглее, капители кудрявее, карнизы четче, шпили тверже, ниши глубже, одежды апостолов складчатей, ангелы невесомей. На улицах темнеет, но еще не кончился день для набережных и того гигантского жидкого зеркала, где моторки, катера, гондолы, шлюпки и барки, как раскиданная старая обувь, ревностно топчут барочные и готические фасады, не щадя ни твоего лица, ни мимолетного облака. “Изобрази”, — шепчет зимний свет, налетев на кирпичную стену больницы или вернувшись в родной рай фронтона Сан-Закариа после долгого космического перелета. И ты чувствуешь усталость этого света, отдыхающего в мраморных раковинах Закариа час-другой, пока земля подставляет светилу другую щеку. Таков зимний свет в чистом виде. Ни тепла, ни энергии он не несет, растеряв их где-то во вселенной или в соседних тучах. Единственное желание его частиц — достичь предмета, большого ли малого, и сделать его видимым. Это частный свет, свет Джорджоне или Беллини, а не Тьеполо или Тинторетто. И город нежится в нем, наслаждаясь его касаниями, лаской бесконечности, откуда он явился. В конечном счете, именно предмет и делает бесконечность частной.

И. Бродский. *Fondamenta degli Incurabili*
Набережная неизлечимых 1989. М., 1992, с. 233.

СУДЬБА
ВЕНЕЦИИ

553

П. АННЕНКОВ

1841

Он <Триест> объясняет вам лучше всякого трактата, каким образом в древнем мире цивилизация, торговля и искусства переходили из города в город, из государства в государство, из одной части света в другую. Вот стоит он на десять часов езды по морю от Венеции, имеет, как портофранко <открытый город>, одинаковые права с нею, а между тем вся торговля Адриатического моря у него в руках, и покуда старые дворцы Венеции падают и разрушаются, здесь каждый год воздвигаются новые. Есть какое-то особенное удовольствие видеть в таком

С. УВАРОВ

1843

554

близком расстоянии друг от друга жизнь потухающую и жизнь зарождающуюся! Жаль только, что по чисто практическим элементам своим, по характеру нации, которой принадлежит, никогда не будет иметь Триест той теплоты красок, того яркого колорита и поэтического блеска, какие Венеция сохраняет даже до сих пор.

П. В. Анненков. *Письма из-за границы 1841 // Парижские письма*. М., 1984, с. 18.

555

Не исчисляя всех превосходных картин, которые можно еще видеть в разных местах, по церквам и во дворцах, нельзя удержаться от сожаления при мысли о бесчисленном множестве произведений, в разное время похищенных у Венеции. Вывезли бы и самые дворцы по кусочкам, если бы не воспрепятствовало правительство; даже сваи составляют предмет спекуляции; все это — кедр, дуб или кипарис; все привезено из Леванта или с островов Мореи, и извлечение их из моря представляет огромный барыш. Современный дух промышленничества упражняет свою сметливость на труп Венеции, как возле одра умирающего богача жадный наследник рассчитывает про себя свою долю ожидаемых благ. Изумительные орудия, истинно римские, вскоре должны соединить Венецию с твердою землей: стараются ввести город в систему коммерческих и промышленных путей сообщения с севером Италии; но Триест — возле, и помешает полному успеху плана. Триест — соперник Венеции, и тем кончится, что юный торговый город поглотит старый город аристократический. В видописном отношении, Венеции угрожает опасность лишиться всей своей оригинальности: когда рельсы железной дороги станут

В. ЯКОВЛЕВ

1850-е

556

доставлять путешественников к крыльцу таможни, тень старого Дандоло не будет уже носиться над Венецией и льву Святого Марка останется только слезть с колонны. Флориановский кофейный дом вступит в сообщение с кофейнями Милана, Лондона и Парижа, и дело всешешения совершится. Странное и пагубное свойство новейшего духа — стирать все различия, сближать нравы и расстояния, подводить под один уровень людей и дела и начинать с начала историю Европы, дочисленную до простейшего своего знаменателя! Железная дорога и паровая машина dokonчат затеянные идеями и, будучи сильнее идей, прогонят и самое просвещение сквозь каудинские фуруклы материального прогресса. Но оставим этот важный вопрос мужам политики и науки. Я спешу надеть снова блузу художника и сесть в гондолу, которая повезет нас вокруг островов.

С. УВАРОВ. *Венеция. 1843*. СПб., 1845, с. 21–22.

557

И при всех усилиях сохранить Венецию, она остается набальзамированной красавицей... Венеция, как поблекшая кокетка, требует разорительных расходов на поддержание своих прелестей... Венеция живет за счет своих прелестей, на иждивении обожателей, которые ее не покидают, которых у нее целая толпа... Не то чтобы она тайком не трудилась, но где же возможность поддержать себя фабрикацией лент или стекляруса? А миниатюрные модельки гондолы и плохие эстампы единственных в мире зданий — раскупаются одними туристами. Кто узнает тип древнего, надменного венецианца в жалком потомке, упражняющем свою сметливость в мелких спекуляциях над прекрасным трупом востительницы морей?.. Венеция первая в Италии осветилась газом. Надо прибавить, что газовые огни ей к лицу, как красавице алмазы. Венеция вострепенулась. Дворцы, которыми она уже не дорожила, отдав их во власть разрушению, внезапно приобрели ценность, удостоились реставрации. Надобно желать, чтобы эти изящные чертоги попадались не иначе, как в художественные руки... Освещайте улицы газом, сверлите артезианские колодцы, пожалуй, освежите Площадь Св. Марка фонтаном... Но

А. ГЕРЦЕН

1867

558

воздержитесь от диких или меркантильных проектов: не покушайтесь на расширение здешних улиц-коридоров; такое намерение могло родиться в туманах Лондона или Вены: южному человеку дорога тень, прохлада; не белите мраморных аркад, не заменяйте на мостиках каменных балюстрад чугунными мещанского рисунка в городе, щеголяющем узорами арабских решеток; не заваливайте более каналов: этим вы не сделаете Венецию похожей на Милан, а только затрудните течение воды, и она вам отмстит зловонием.

В. Д. ЯКОВЛЕВ. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя*. СПб., 1855, с. 60–63, 59.

Трудно сказать, что уцелело, кроме великой раковины, и есть ли новая будущность Венеции... Да и в чем будущность Италии вообще? Для Венеции, может, она в Константинополе, в том вырезающемся смутными очерками из-за восточного тумана свободном союзничестве воскресающих славяно-эллинских народностей.

559

А. И. ГЕРЦЕН. *Venezia la bella 1867. Былое и думы*
// Собрание сочинений в 8 тт. М., 1975, т. 7, с. 444.



П. ПЕРЦОВ

1897

562

Внутри государственная система Венеции была построена, можно сказать, “по Достоевскому”, — согласно знаменитой теории, изложенной в “Легенде о Великом Инквизиторе”; то же мудрое разделение общества на счастливое большинство подчиненных и несчастное меньшинство владык; то же “самопожертвование” группы “обреченных”, принявших на свои плечи роковое бремя выбора и решения, оставив массе — человеческому стаду — возможность вести стихийную жизнь. И нельзя сказать, чтобы опыт был неудачен. Венецианские “отцы отечества” в знании человеческой психологии не уступали русскому романисту. Они доводили систему до конца. Опекаемой толпе старались устроить веселую и легкую жизнь, и общественные празднества рассматривались прямо, как средство управления... То же отсутствие специализации, которым была отмечена частная жизнь того времени, сказывалось и здесь. Государство не обратилось еще в сложный, самодовлеющий механизм и, близкое к реальной жизни, сохраняло всю впечатлительность и подвижность организма... Венеция умирала медленно, почти незаметно и для других, и для нее самой. Ее агония была прямым продолжением цве-

тущего периода — между ними не лежит никакой резкой грани, не произошло никакого фатального события, которое в истории других народов наглядно знаменует перелом. Венеция не была сломлена неожиданной болезнью, а медленно угасала от старческого маразма. До самых последних дней все жило легко и беззаботно, все веселилось в веселой республике. Даже чем более стужались тучи на горизонте, тем привольнее, кажется, шла эта жизнь, точно торопясь взять свое у беспощадного времени. Иностранцев — граждан Северной Европы, привыкших к серьезной и суровой жизни своих молодых стран, смущала на первых порах, а затем и увлекала эта праздная и соблазнительная жизнь отжившего государства.

563

П. ПЕРЦОВ. *Венеция 1897*. СПб., 1905, с. 15, 18, 73.

На предыдущем развороте:

Вид на Пьяцетту и остров Сан-Джорджо. Фото конца XIX в.

С. ГЛАГОЛЬ

1900

564

Да, ужасно не идут и эти пароходы, и эти туристы, и эти военные крейсера к этим сказочным пейзажам, к этим дивным контурам S. Giorgio Maggiore, к дворцу дожей и к силуэту высокой Campanill'ы Св. Марка. И все-таки эти парходики и эти лакеи в черных фраках на каждом шагу, и вы чувствуете, что их число с каждым годом растёт, что они заполнили Венецию и скоро не останется здесь ни одной гондолы и ни одного даже такого оборванного gondoliero, как мой старый Джеронимо. Исчезнут и эти дивные желтые, красные и розовые паруса с причудливыми рисунками, и эти разрушающиеся мраморные дворцы, как исчезли голубые и красные вычурные столбы, к которым еще так недавно у каждого дома и по всей лагуне приставали лодки, и как исчезли ажурные разноцветные фонари с этих столбов. Вместо этих столбов с образами и лампадами по всей лагуне уже расставлены форменные смоленые сваи с такими же форменными керосиновыми международными фонарями, какие стоят и в любом нашем уездном городишке; а где нет фарватера, там вместо столбов плавают форменные красные буйки с железным кольцом, точно в Гавре или в Кронштадте... Только одни ветераны-двор-

цы, обрамляющие каналы, несколько старых церквей да легкие гондолы с их зазубренными железным носами уцелели от старой царицы морей; но пройдут годы, развалятся и эти дворцы, которых некому уже и теперь поддерживать, исчезнут гондолы, взамен которых появятся какие-нибудь водяные велосипеды с бензиновыми и электрическими двигателями, и от старой Венеции останется одно воспоминание. Впрочем, предприимчивые американцы тогда, наверное, возьмут и эти лагуны на откуп, настроят здесь бутафорских дворцов, наделают гондол и устроят нечто подобное той Venedig in Wien, на которую так стремились еще недавно венцы... Но мне хочется бросить перо. От всех этих мыслей становится так скверно на душе, а в окно смотрит такая дивная южная ночь, вдали туманным силуэтом рисуется S. Giorgio Maggiore, вправо от него еще более туманные очертания купола Santa Maria della Salute, а перед ними сонные синие воды лагуны с отраженной в них золотым дождем луною. И какая тишина! Шорох шагов, говор толпы, копошащейся там далеко под моим окном на Riva degli Schiavoni, сливается в какой-то однообразный шелест, точно громадный ручей журчит где-то под моим окном.

565

В. РОЗАНОВ

1901

566

Дивная, сказочная страна!.. Нет, читатель, я вовсе не завидую нашим потомкам, которым так придется жить, и рад, что у нас есть и своя родная русская жизнь и что в Венеции есть святой Марк, который веет на меня старой Византией...

С. ГЛАГОЛЬ. *На юг. Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь, Рим и Венецию. М., 1900, с. 212-215.*

567

В каких-нибудь две недели Венеция уже привязывает какой-то человеческой живой связью с прошлым. Ведь она замерла только с Наполеоном, т. е. очень недавно, имея до этого времени всю полноту исторического, и грозного, и прекрасного существования, с нарядами, масками карнавала и судом инквизиторов. Поразительно, до чего Наполеон без усилий справился с нею: трепет и красота веков полетели в Canale Grande, как оловянные солдатики, — и потонули. Легкость и почти безмолвие этого события зависит от того, что выступил — с революцией и Наполеоном — неизмеримо могущественнейший цикл всемирной истории, теперешний наш: социальный, что ли, или социально-политический, или национальный. Не нужно искать формул, когда дело всем понятно. Как новая Россия, Россия Петра — среди множества разных забот и дел смела с лица земли мизинцем “Сечь”, так Венецию смел Наполеон, и около экспедиции в Египет, покорения Италии, почти разрушения Пруссии, унижения Австрии и похода в Россию никто даже не озаботился спросить: “А куда же девалась Венеция?” “Ponte dei sospiri” из “тропинки вздохов” стал только нарядной куколкой, которую рассматривает

В. БРЮСОВ

1902

568

скучающий турист. Неужели подобное и с нами будет? Неужели разовьются и вырастут в истории силы, среди которых если бы пришлось запутаться и погибнуть державе Петра, то это выразилось бы так же бесшумно, незаметно и неинтересно, как гибель Венеции? Но что же это за силы будут? А если не будут, то неужели держава Петра есть грань и конец истории, предел земного величия и значительности?

В. В. Розанов. *Итальянские впечатления 1901*. СПб., 1909, с. 231–232.

569

Ту же простонародную Венецию стало видно на народных празднествах... Присматриваясь к этим празднествам, к убогим сластям, продающимся на них, ко всей закулисной жизни Венеции, я понял, как, в сущности, беден этот мраморный город, где даже нищие спят на мраморных скамьях. В Венеции непомерные цены на разные безделушки, в ней берут деньги за простое указание пути, и вместе с тем в ней труд не ценится ни во что. Для простого рабочего рыба и картофель недоступны по цене; он питается раковинами, которых даже из любезности нельзя назвать устрицами, — жесткими маленькими слизняками, каких немало и в больших реках. Гиды, говорящие на четырех языках, предлагают свои услуги за 50 сантимов, а это меньше двугривенного. Пять сантимов, un soldo, уже значительная монета, а она немногим больше копейки! Венеция бедна, и как могло быть иначе! Это город-паразит, без настоящей жизни, без будущего. В былые века ее положение в лагуне давало ей стратегическое и через то торговое значение. При современной технике войны и при современном строе она — ничто. Жизнь и торговля отхлынули от нее. Венеция производит только ненужные вещи: художествен-

В. ВЕЙДЛЕ

1966

570

ное стекло, мозаику, кружева, мелкие articles de Venise < венецианские поделки — фр. >, которые покупаются на память. Предметы первой необходимости, мясо, овощи, плоды, ткани, металлические изделия — все привозное. Венеция опустела. На улицах, немного удаленных от центра, часто встречаются нежилые дома. Даже на Большом канале есть недостроенные здания: поставлены стены, а внутри разрослась зелень, выросли деревья, целый сад. Новым поколениям слишком просторно в дедовской скорлупке. Венеция не растет более, хотя места еще много. Еще много отмелей, которые можно бы тоже обратить в улицы, но в этом уже нет надобности. Расширяют только кладбище, помещающееся на отдельном островке. Венеция живет иностранцами. Не будь путешественников, Венеция через одно поколение обратилась бы в рыбацкий поселок. И все же нищие и голодные венецианцы со всей страстью любят свой город. Все же это город единственный...

В. БРЮСОВ. *Венеция* <1902> // Русский листок, 1902, № 149.

571

Все, что пленяет нас тут, не нами создано, и создано давно. “Мы”, то есть двадцатый и уже девятнадцатый век, были бы совершенно не способны создать что-либо подобное. И, кроме того, сама эта давность всего пленительного здесь окутывает это всё особой полупрозрачной пеленой, вследствие чего как бы уходит оно вдаль, становясь от этого еще пленительней. Все, что нас тут радует, недостижимо, а благодаря пелене как бы и неосяземо. Да и говорит нам все это: не тронь меня. Чуть начинают что-либо подновлять, даже самый обыкновенный, не такой уж и старый, но старыми средствами и по старым навыкам построенный дом — а без этих домов, из одних парадных зданий не получилось бы Венеции — и тотчас пелена спадает, недостижимость улечивается: живое прошлое становится мертвым настоящим. Живым остается это прошлое под своей пеленой, в отдаленности своей, для тех, кто воскрешает его знанием и, прежде всего, пусть и при малом знании, любовью. Мертвит же его механичность, неотъемлемая от нынешней техники и которая проявляется при всякой замене старых строительных материалов новыми, или хотя бы старой кладки камня, черепицы, кирпича нынешней — слиш-

И. БРОДСКИЙ

1989

572

ком правильной, машинно-равномерной. Так что — не тронь меня, дай мне разрушаться? Почти что так, и уже от этого грусть. Но сладостна эта грусть, покуда разрушающееся не рухнуло... Есть пелена недостижимости, есть дымка времени на всем. Природа на руки взяла, укачала, уложила спать историю. Порой уже не различишь, где кончается искусство и начинается небо, вода, солнечный луч, ветерок. Но все-таки Венецию, ее прошлое, всю ее прожитую жизнь мы благодарим, когда шепчем: да ведь это же чудо, чудо.

В. Вейдле. *Похвала Венеции* // Мосты. Мюнхен, 1966, № 12, с. 138-139, 146.

573

По-моему, Хэзлитт сказал, что единственной вещью, способной превзойти этот водный город, был бы город, построенный в воздухе. Идея в духе Кальвино, и почему знать, освоение космоса может доразвиться до ее реализации. Пока что, кроме высадки на луне, лучшую память по себе наш век заслужил за то, что не тронул этого города, оставил его в покое... Но хочу заметить, что идея превращения Венеции в музей так же нелепа, как и стремление реанимировать ее, влив свежей крови. Во-первых, то, что считается свежей кровью, всегда оказывается в итоге обычной старой мочой. И во-вторых, этот город не годится в музей, так как сам является произведением искусства, величайшим шедевром, созданным нашим видом. Вы ведь не оживляете картину, тем более статую. Вы оставляете их в покое, оберегаете их от вандалов — орды которых могут включать и вас.

И. Бродский. *Fondamenta degli Incurabili*
Набережная неизлечимых 1989. М., 1992, с. 246-247.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КАРА-МУРЗА родился в 1956 г. в Москве. Доктор философских наук, профессор, заведующий сектором философии российской истории Института философии Российской академии наук, заведующий кафедрой политологии Российского государственного университета гуманитарных наук. Специалист в области истории русской философской и политической мысли XVIII–XX вв. Главная тема исследований — “Россия и Европа”, история российского европеизма и либерально-демократического реформаторства в России. Автор около тридцати монографий (“Реформатор. Русские о Петре I”, “Новое варварство как проблема российской цивилизации”, “Между Евразией и Азией”, “Как возможна Россия?” “Интеллектуальные портреты. Очерки о русских политических мыслителях” и др.) и более двухсот научных и публицистических статей. Неоднократно бывал в научных командировках в Италии.

А. А. КАРА-МУРЗА
ЗНАМЕНИТЫЕ
РУССКИЕ О ВЕНЕЦИИ



Директор издательства ОЛЬГА МОРОЗОВА
Редактор АЛЕКСАНДРА ФИНОГЕНОВА
Художественное оформление и макет
ДМИТРИЙ ЧЕРНОГАЕВ

Подписано в печать 16.05.16
Бумага офсетная
Печать офсетная
Формат 84 × 108/32
Тираж 1000 экз.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛЬГИ МОРОЗОВОЙ
103001, Москва, Б. Козихинский пер., д. 22, стр. 1
e-mail: morozovabooks@yandex.ru

По вопросам закупки книг обращаться:
o.morozova.iom@mail.ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного
электронного оригинал-макета
в ОАО "Первая образцовая типография",
филиал, "Дом печати-ВЯТКА"

610033, г. Киров, ул. Московская, д. 122